



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

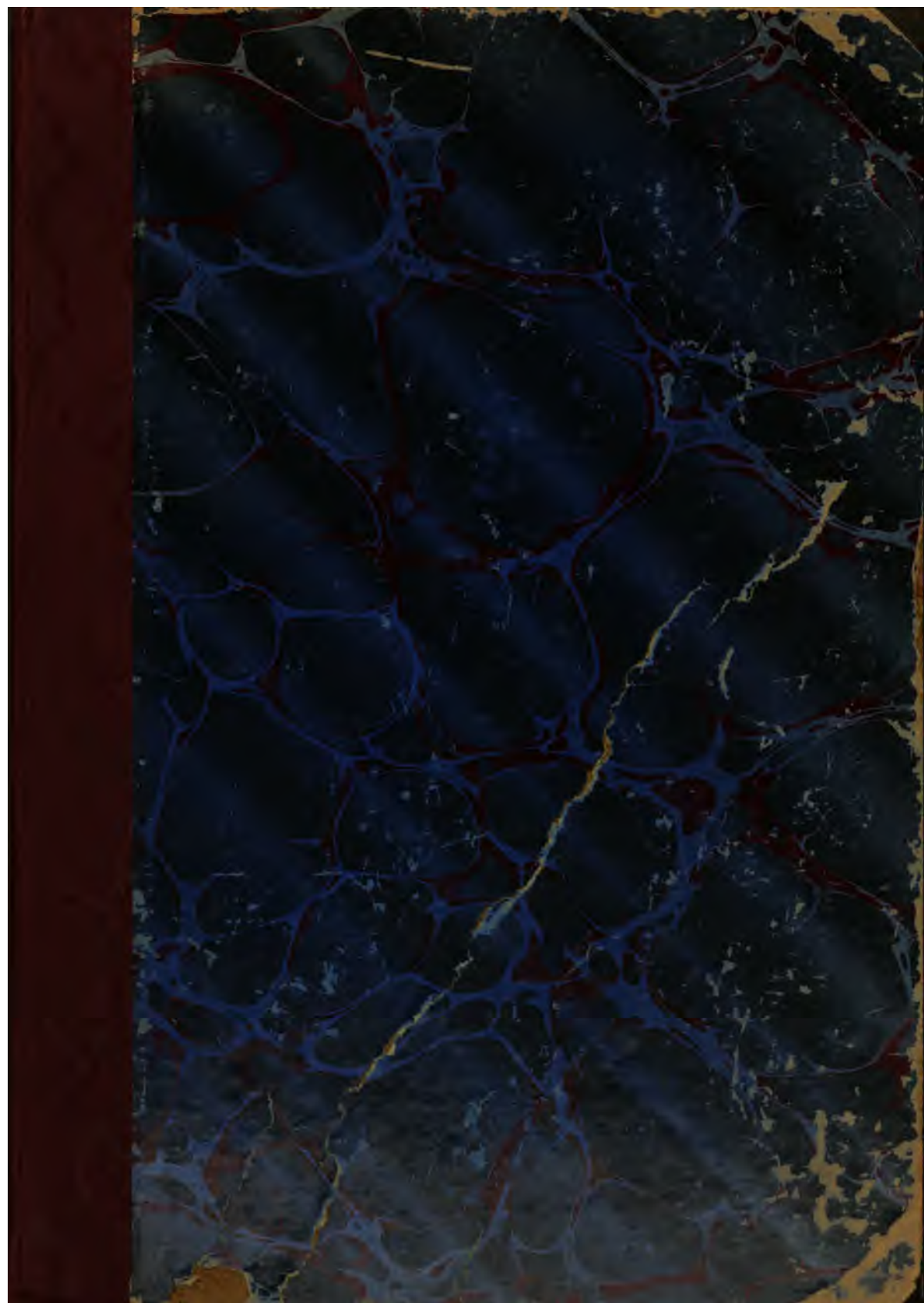
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

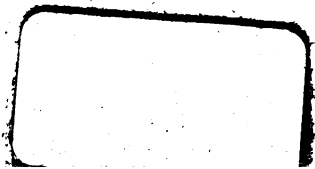
- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

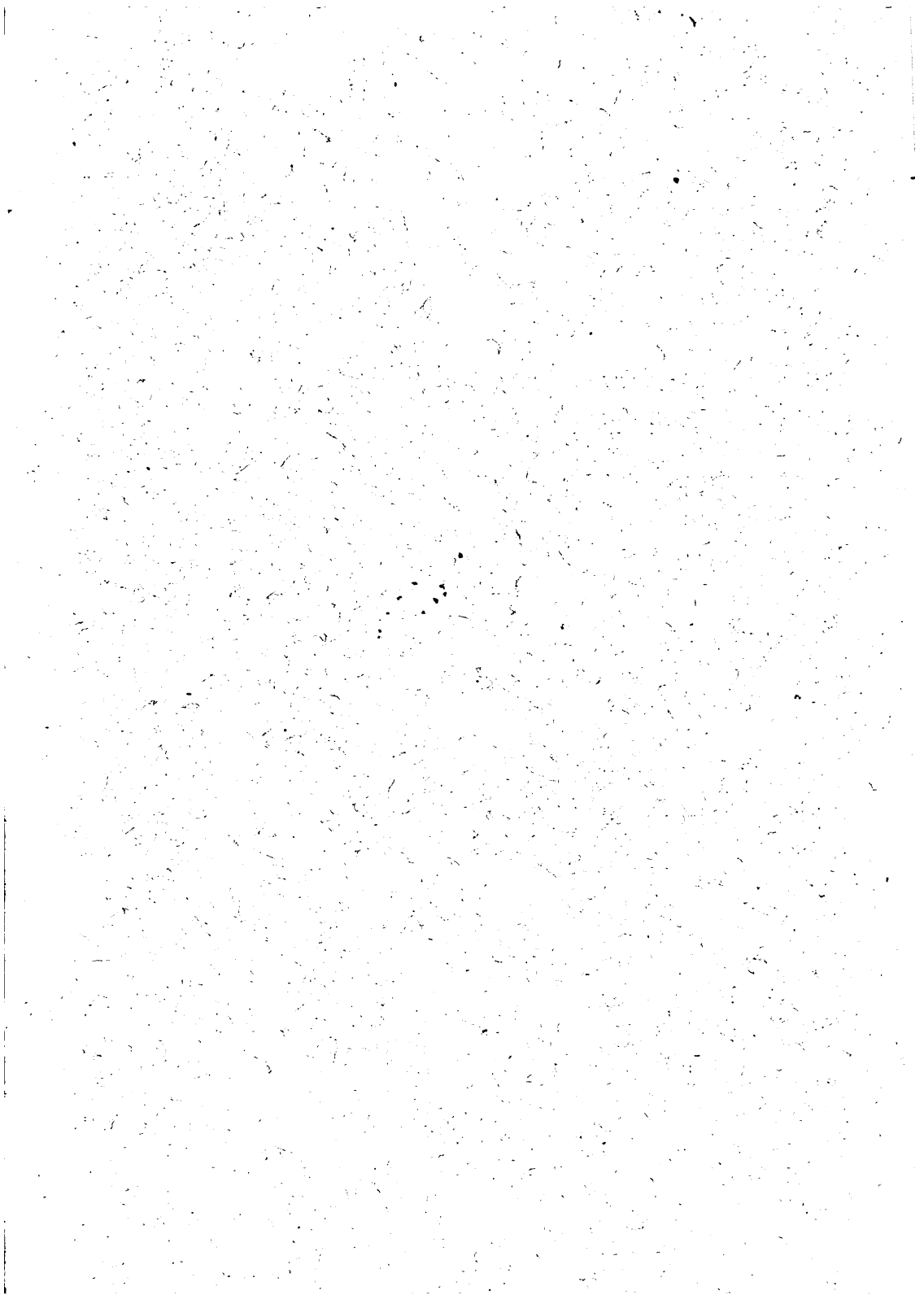
О программе Поиск книг Google

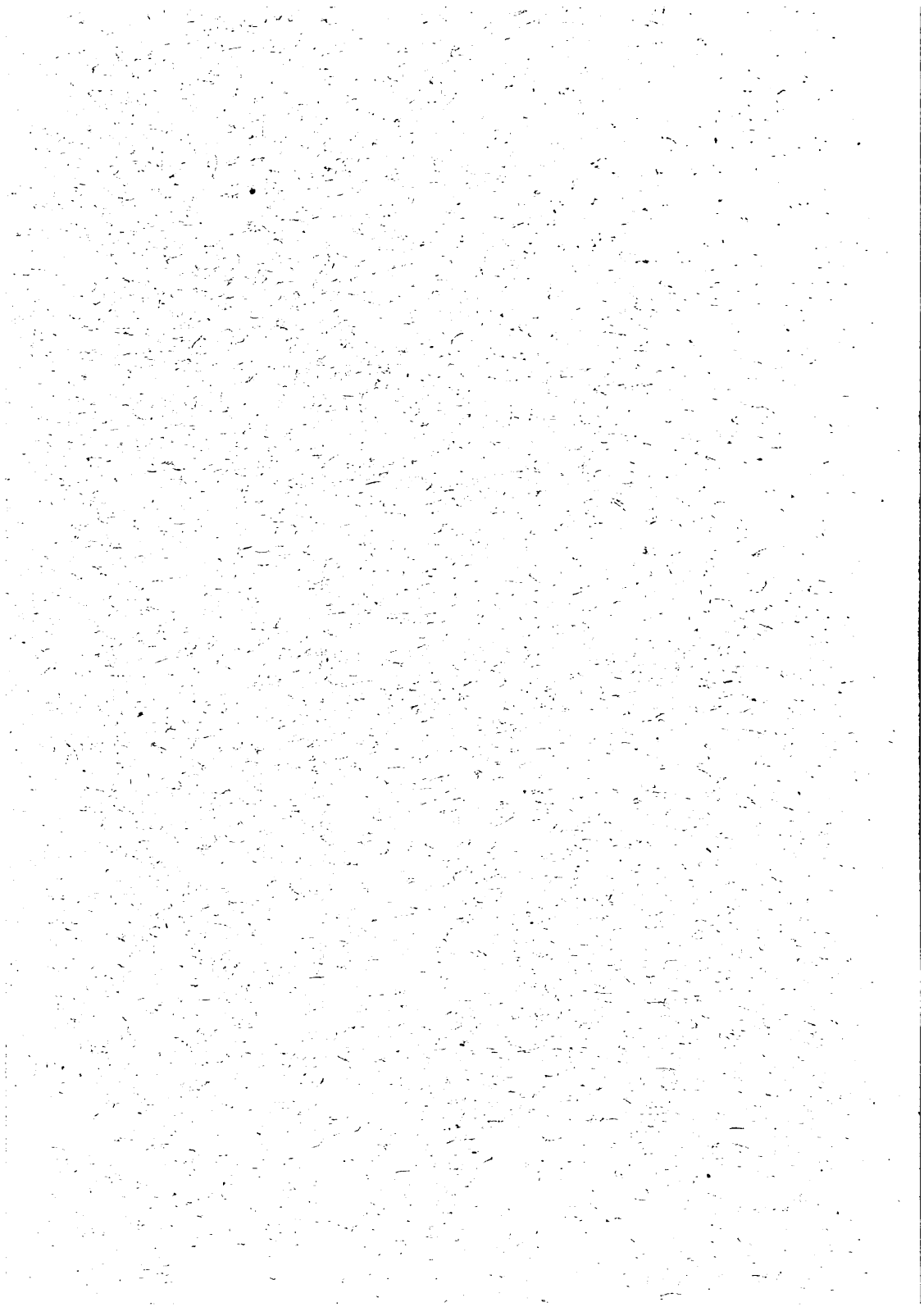
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



81073







Nikiforov, L. P.

"

Съ благотворительною цѣлью.

„НА ДОБРУЮ ПАМЯТЬ

ИЗЪ

РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ“.

КНИГА ДЛЯ СЕМЕЙНАГО ЧТЕНІЯ,

составленная изъ избранныхъ произведеній Альбова, Баранцевича, Вагнера (Кота-Мурлыки), Гоголя, Григоровича, Достоевскаго, Златовратскаго, Короленко, Лѣскова, Мамина, Мачтета, Немировича-Данченко, Поталенко, Станюковича, ЛЬВА ТОЛСТОГО (новый разсказъ), Тургенева, Успенскаго, Чехова, Щедрина и многихъ другихъ.

Составлена Л. П. НИКИФОРОВЫМЪ.



МОСКВА.

Изданіе книгопродавца Д. В. Байкова.

1894.

1.5

PG3226
N 5

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	<i>Стр.</i>
Отъ составителя. Л. Нинифорова	1
Молитесь всѣ, чтобъ Богъ послалъ (изъ Борнса)	4
Жизнь. Н. Гоголя	5
Пророкъ. И. Аксанова	10
Подъ мирными кровлями. М. Альбова	13
Умирающая мать. А. Апухтина	20
Во время войны. Братьямъ. А. Апухтина	21
Братъ. К. Баранцевича	—
Игрушка великанши. Перев. съ нѣм. А. Барыковой	28
Два вѣка. Сказка. Н. Вагнера (Нотъ-Мурлына)	30
Видишь море? Озаряетъ... П. Вейнберга	33
Художники. Отрывокъ. Всеволода Гаршина	—
Дума. (Изъ Т. Г. Шевченко). Н. Гербеля	39
Доля. (Изъ Т. Г. Шевченко). Н. Гербеля	40
Левка. (Изъ запис. доктора Крупова)	41
Намъ жизнь дана, чтобы любить... И. Горбунова-Посадова	52
Карьеристъ. Очеркъ. Д. Григоровича	53
Поединокъ. (Изъ „Брат. Карамазовыхъ“). Ф. Достоевскаго	61
На родинѣ. С. Дрожжина	69
Ночные голоса. С. Дрожжина	—
Заговоръ совѣ. Сказка. П. Засодимскаго	70
Бѣлый старичекъ. (Изъ народ. разск.). Н. Златовратскаго	77
Разбитая ваза. (Изъ Сюлли Прюдомма). П. Кичеева	90
Живой ключъ. Преданіе. Каронина	91
Могильная сосна. П. Козлова	98
Старый звонарь. (Весенняя идиллія). В. Короленка	100
Старый капралъ. (Изъ Беранже). В. Курочкина	105
Безпріютный. А. Левитова	108
Дурачокъ. Разсказъ. Н. Лѣскова	123
Вопросъ. А. Майкова	131
Вольный человѣкъ Яшка. Д. Мамина-Сибиряка	—
„Христосъ воскресъ!“ поютъ во храмѣ... Д. Мережковскаго	142
Кто крестъ однажды хочетъ несть... Н. Минскаго	—

PG3226
N 5

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	<i>Стр.</i>
Отъ составителя. Л. Никифорова	1
Молитесь всѣ, чтобъ Богъ послалъ (изъ Бориса)	4
Жизнь. Н. Гоголя	5
Пророкъ. И. Аксакова.	10
Подъ мирными кровлями. М. Альбова	13
Умирающая мать. А. Апухтина	20
Во время войны. Братьямъ. А. Апухтина	21
Братъ. К. Баранцевича	—
Игрушка великанши. Перев. съ нѣм. А. Барыковой	28
Два вѣка. Сказка. Н. Вагнера (Нотъ-Мурлына)	30
Видишь море? Озаряеть... П. Вейнберга	33
Художники. Отрывокъ. Всеволода Гаршина	—
Дума. (Изъ Т. Г. Шевченко). Н. Гербеля	39
Доля. (Изъ Т. Г. Шевченко). Н. Гербеля	40
Левка. (Изъ запис. доктора Крупова)	41
Намъ жизнь дана, чтобы любить... И. Горбунова-Посадова	52
Карьеристъ. Очеркъ. Д. Григоровича	53
Поединокъ. (Изъ „Брат. Карамазовыхъ“). Ф. Достоевскаго	61
На родинѣ. С. Дрожжина	69
Почные голоса. С. Дрожжина	—
Заговоръ совъ. Сказка. П. Засодимскаго	70
Бѣлый старичекъ. (Изъ народ. разск.). Н. Златовратскаго	77
Разбитая ваза. (Изъ Сюлли Прюдомма). П. Кичеева	90
Живой ключъ. Преданіе. Каронина	91
Могильная сосна. П. Козлова	98
Старый зvonъ. (Весенняя идиллія). Р. Мороленька	100
Старый елъ. (Изъ Веландже). Р. Мороленька	105
Безпріютъ	108
Дурачокъ	123
Вопросъ	131
Вольфъ	—
Хъ	—
Мережковскаго	142
скаго	—

Два корабля. (Изъ Морица Гартмана). М. Михайлова	—
Апостолъ. М. Михайлова	143
Разсказъ писателя. Г. Мачтета	145
Похороны. С. Надсона	155
Чему радовался схимникъ въ соловьиую ночь? (Отрывокъ изъ романа). Вас. Немировича-Данченко	155
Свѣтаеъ, товарищъ... Н. Омулевскаго	162
Легенда. А. Плещеева	163
(Изъ Бурдильена). Я. Полонскаго	—
Данилушка. (Психолог. очеркъ). Н. Помяловскаго	164
Тайна. (Очеркъ). И. Потапенко	180
Въ туманѣ утреннемъ невѣрными шагами... В. Соловьева	193
Между своими. Н. Станюковича	194
Не грусти, что листья... И. Сурикова	209
Горными тихо летѣла душа небесами... А. Толстого	—
Бесѣда досужихъ людей. Л. Толстого	210
Крестникъ. Л. Толстого	214
Отчаянный. (Изъ воспом. своихъ и чужихъ) И. Тургенева	230
Неграмотный. (Изъ Владислава Сыркомли. Л. Трефолева	245
Родіонъ радѣтель Г. Успенскаго	247
Узникъ. А. Фета	270
Капля. К. Фофанова	271
Долго я Бога искалъ К. Фофанова	—
Когда вечернею прохладой. С. Фруга	272
Ванька. А. Чехова	—
Пусть міромъ забыты. О. Чуминой	266
Рождественская сказка. Н. Щедрина	277

ОТЪ СОСТАВИТЕЛЯ.

Какова задача этой книги? Это та же задача, какую преслѣдуютъ и всѣ хорошія хрестоматіи, хотя лучшія изъ нихъ не выполняютъ ее. Задача хрестоматіи—дать хорошую книгу для чтенія, знакомящую не только со стилемъ писателей, но и съ характеромъ и направленіемъ наличныхъ художественныхъ силъ. Но ни одна хрестоматія не даетъ намъ этого. Всѣ онѣ предлагаютъ намъ только отрывки, а живая, творческая мысль, характеръ и направленіе писателя выражаются лишь въ цѣломъ и лучшемъ изъ его произведеній. Но если это такъ, то хрестоматіи не могутъ знакомить и со стилемъ писателя. Стилъ, какъ лицо человѣка, есть выраженіе души самого произведенія. А какъ по мертвому лицу, и тѣмъ болѣе по мертвымъ глазамъ, нельзя судить о душѣ человѣка, такъ немыслимо оцѣнить душу произведенія по мертвому отрывку, выхваченному изъ живаго цѣлаго. Поэтому для того, чтобъ ознакомить даже со стилемъ писателя, нужно дать не отрывокъ, а хотя бы небольшое, но, по возможности, цѣльное произведеніе или, въ крайнемъ случаѣ, рядъ связанныхъ отрывковъ *), и вотъ почему на смѣну хрестоматій должны, по нашему мнѣнію, выступить сборники, знакомящіе съ наличными художественными силами. Такимъ сборникомъ и является настоящая книга. Какъ мы выполнили нашу задачу судить, конечно, не намъ, но мы питаемъ по крайней мѣрѣ надежду, что найдутся люди, которые, согласившись съ нашей основной мыслью, выполнять ее лучше насъ, и мы первые этому порадуемся.

Теперь отвѣтимъ на нѣкоторыя замѣчанія, которыя намъ могутъ быть сдѣланы. Прежде всего насъ могутъ спросить, отчего въ нашей книгѣ не нашлось мѣста для такихъ первоклассныхъ писателей, какъ Пушкинъ, Лермонтовъ, нѣтъ даже Некрасова, а вмѣсто того удѣлено столько страницъ писателямъ, сравнительно второстепеннымъ?

*) Къ сожалѣнію, въ силу существующихъ правъ литературной собственности мы не могли относительно всѣхъ писателей придерживаться этого основнаго правила.

На первую часть этого замѣчанія мы отвѣтимъ, что настоящая книга предназначается не для дѣтей и не для народа, а для семейнаго чтенія русской образованной публики, уже вполне знакомой съ своими первоклассными писателями, знающей наизусть не только Пушкина, но и Некрасова, и потому нѣтъ ни малѣйшаго смысла повторять то, что ей давно извѣстно. На замѣчаніе же, что въ настоящей книгѣ удѣляется много мѣста писателямъ, сравнительно второстепеннымъ, мы прежде всего скажемъ, что у второстепенныхъ писателей, а тѣмъ болѣе у нашихъ современныхъ, найдется не мало драгоценныхъ жемчужинъ, къ которымъ нельзя относиться свысока и небрежно. У каждого изъ этихъ второстепенныхъ писателей есть то свое пережитое, что для читающей публики подчасъ такъ же дорого и полезно, какъ и художественный синтезъ гениальнаго писателя. Гении являются вѣками и освѣщаютъ намъ будущее, второстепенные же писатели тѣмъ завѣтнымъ, что есть въ нихъ, что изливается изъ тайника ихъ души, отвѣчаютъ на запросы настоящаго, а запросы настоящаго не менѣе важны, чѣмъ и предвѣдѣнія будущаго.

Къ тому же всѣ наши современные художники-писатели, за очень немногими исключеніями, принадлежатъ, какъ и громадное большинство читателей, къ средѣ, такъ называемыхъ, разночинцевъ, а эта среда имѣетъ безспорно свою задачу, какъ и свои радости и страданія, придающія основной тонъ всевозможнымъ художественнымъ произведеніямъ, какъ великимъ, такъ и малымъ. Вообще, кто чему радуется, кто о чемъ страдаетъ, тотъ того и ищетъ, тотъ то и воспѣваетъ. Одни поютъ и рассказываютъ о своихъ личныхъ радостяхъ и страданіяхъ, и такіа произведенія мелки, ничтожны и фальшивы. Другіе рисуютъ фривольныя сцены и безнравственныя картины, являющіяся выраженіемъ ихъ животныхъ поползновеній. Такихъ писателей много на западѣ, было не мало у насъ въ 20-хъ и 30-хъ годахъ, найдется, конечно, и теперь. Но не таковы истинные представители нашихъ разночинцевъ. Они уже не поютъ о своихъ личныхъ радостяхъ и страданіяхъ—не потому, что ихъ нѣтъ или что они мелки, — а потому, что ихъ личные радости и страданія поглощаются въ великомъ, глубокомъ морѣ народныхъ радостей и страданій. Это уже громадный шагъ впередъ и представляетъ серьезное знаменіе нашего времени. Если писатели разночинцы или такъ называемые „народные писатели“ и не схватили еще всѣхъ сторонъ народной жизни, то за ними все-таки та неоспоримая заслуга, что они обратили на идеалъ народа (хотя, можетъ быть, и полусознанный) вниманіе всѣхъ слоевъ и представителей русскаго общества, начиная съ высшихъ, правящихъ, и кончая тѣми, которые, выйдя изъ этого, народа думали было ломаться надъ нимъ, какъ и подобаетъ мѣщанамъ въ дворянствѣ. Къ счастью такая мѣщанская литература у насъ не привилась, хотя и появляется иногда на столбцахъ газетной прессы. Но вся наша истинно ху-

дожественная литература, начиная съ двухъ нашихъ титановъ—Пушкина и Льва Толстого,*)—склоняется предъ великимъ идеаломъ народнымъ и ищетъ въ немъ того положительнаго типа, который долженъ выступить на сѣну разныхъ Онегинныхъ, Печоринныхъ и Базаровыхъ. Въ чемъ же заключается этотъ положительный типъ, на отсутствіе котораго такъ часто слышатся серьезныя сѣтованія? Такого цѣльнаго, сложившагося типа литература, правда, еще не дала, но нѣкоторыя черты его уже ясно сказываются въ большинствѣ даже произведеній, вошедшихъ въ настоящій сборникъ. И если-бъ намъ предложили въ немногихъ словахъ охарактеризовать этотъ типъ, мы, кажется, безошибочно могли бы сказать, что существенною его чертой является страстная жажда живого дѣла и нравственнаго подвига. Въмѣсто самодовольныхъ, гордыхъ и изнѣженныхъ Алеко и Печоринныхъ на сѣну являются: „Отчаянные“, „Бѣлые старички“, „Родіоны радѣтели“, „Безпріютные“, въ которыхъ больше нравственной правды и которые въ совокупности даютъ намъ, если не цѣльный еще образъ, то живыя черты будущаго положительнаго типа, типа народнаго, типа чисто христіанскаго. Предвѣдѣніе этого грядущаго типа составляетъ также не малую заслугу нашихъ второстепенныхъ художниковъ, и мы не только не сожалѣемъ, что отводимъ имъ значительную часть настоящаго сборника, но считали бы непростительной съ нашей стороны небрежностью не воспользоваться многими блестящими картинами и произведеніями даровитыхъ нашихъ писателей и писательницъ, не вошедшихъ въ этотъ сборникъ. Считали бы, повторяю, непростительной небрежностью, если-бъ настоящая книга была законченнымъ трудомъ, а не первымъ выпускомъ цѣлаго ряда такихъ сборниковъ, которые надѣмся издавать, если только настоящий первый опытъ оправдаетъ наши надежды и встрѣтитъ сочувствіе читателей.

Въ заключеніе мнѣ отрадно выразить глубокую, сердечную признательность тѣмъ авторамъ и издателямъ, къ которымъ я имѣлъ возможность лично обращаться. Всѣ они отнеслись вполнѣ радушно и сочувственно къ нашему изданію, тѣмъ болѣе, что почти вся прибыль съ него предназначается нуждающимся крестьянамъ моей родины, и не только любезно позволили мнѣ воспользоваться ихъ произведеніями, но и не поскупились на многія цѣнныя для меня указанія.

Л. Никифоровъ.

1-го ноября 93 г.

*) Вспомнимъ знаменательныя его слова: „Русскаго мужика, нашего кормильца, и, хочется сказать, нашего учителя можно и должно описывать, не глумясь и не для оживленія пейзажа, а можно и должно писать во весь ростъ не только съ любовью, но съ уваженіемъ и даже трепетомъ“.—Изъ письма къ Д. В. Григоровичу.

* * *

Молитесь всѣ, чтобъ Богъ послалъ
 Намъ царствіе Его,
Чтобъ честный трудъ на свѣтѣ сталъ
 Почетнѣе всего;
Прежде всего, прежде всего,
 Отъ нынѣ и во вѣкъ,
Чтобъ человѣку человѣкъ
 Былъ братъ прежде всего.

Ж и з н ь.

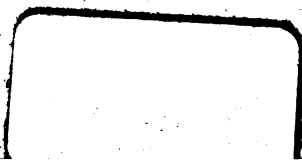
Бѣдному сыну пустыни снился сонъ:

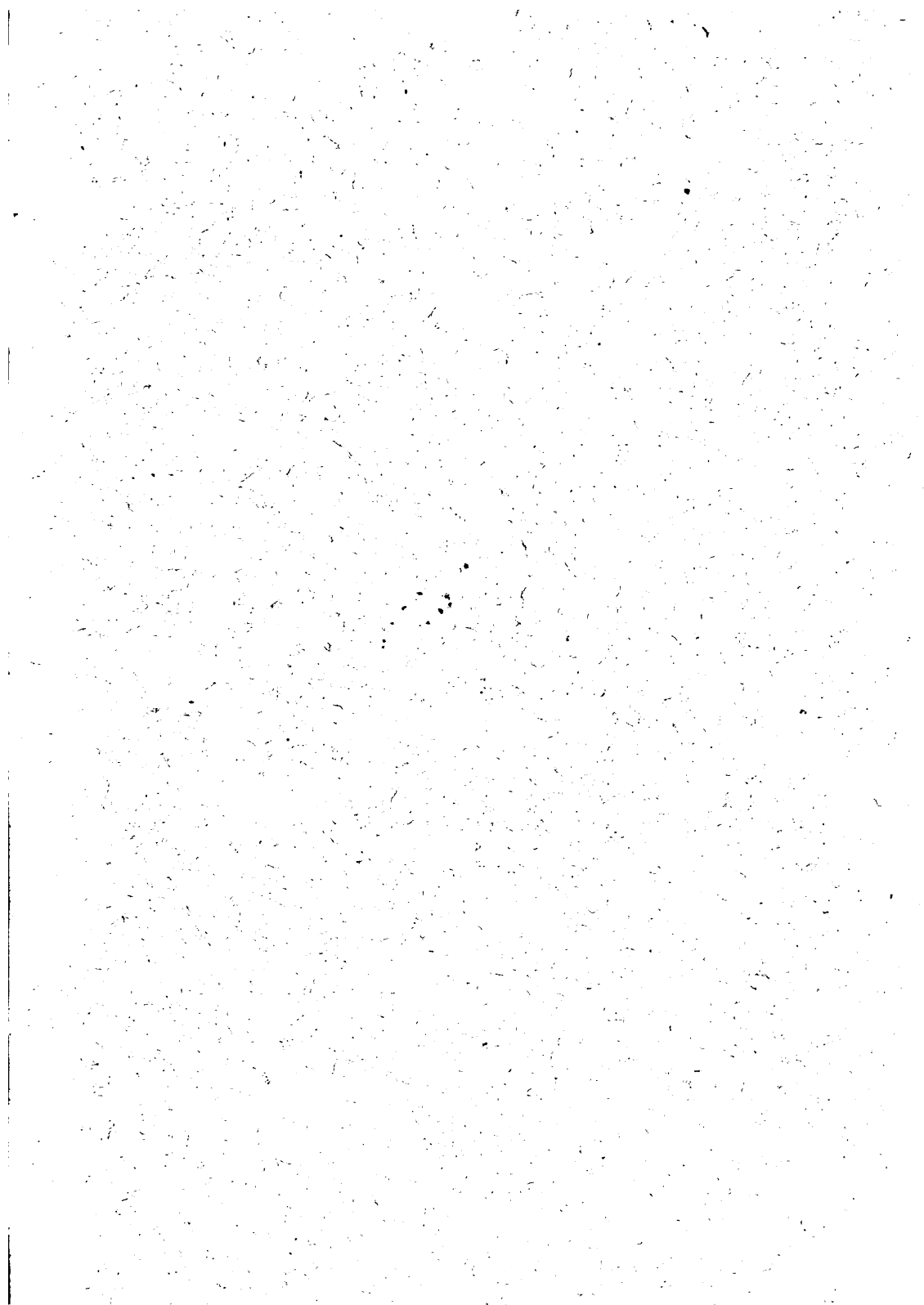
Лежитъ и разстилается великое Средиземное море, и съ трехъ разныхъ сторонъ глядятъ въ него палящіе берега Африки съ тонкими пальмами, сирійскія голыя пустыни и многолюдный, весь изрытый моремъ, берегъ Европы.

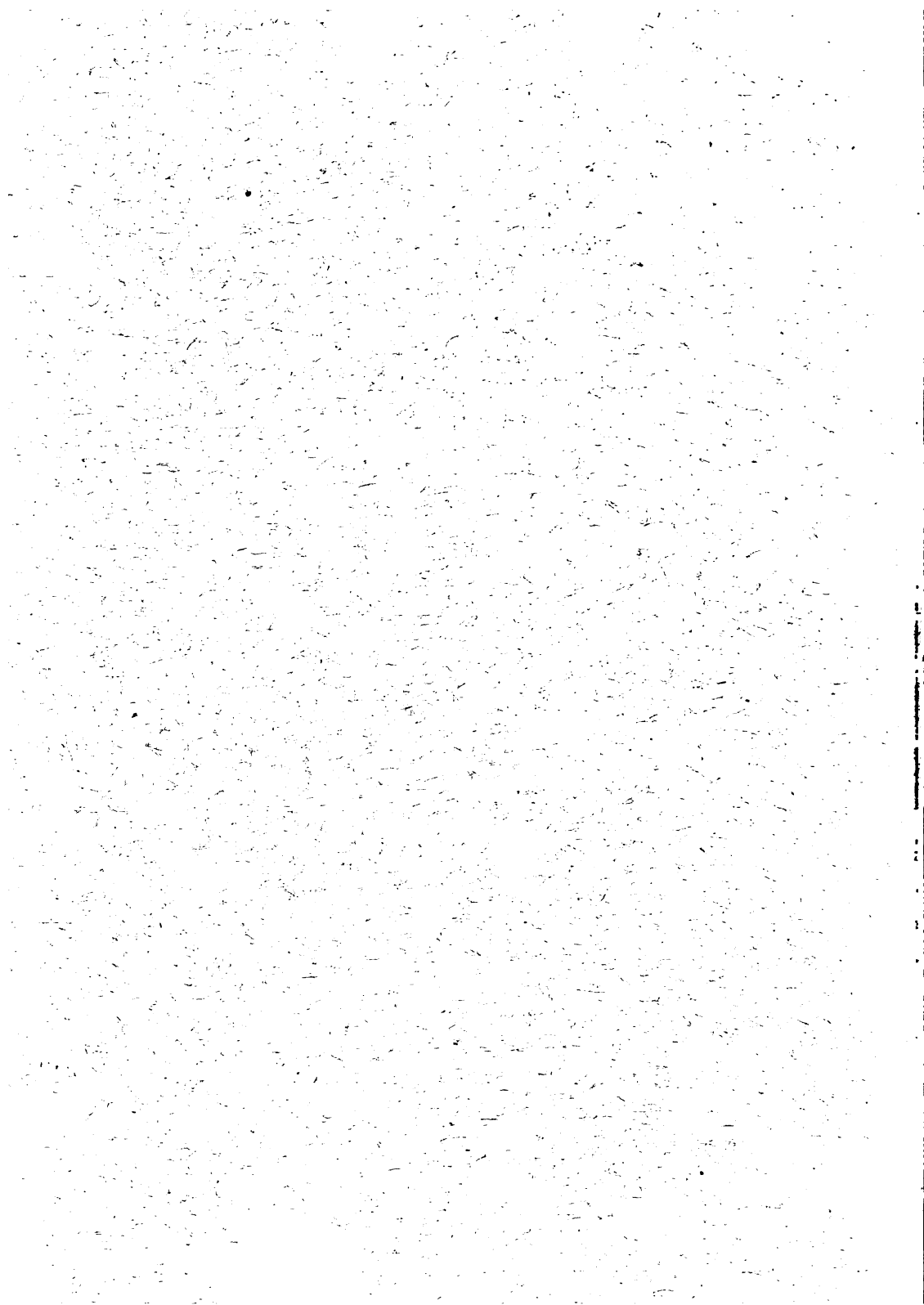
Стоитъ въ углу надъ неподвижнымъ моремъ древній Египетъ. Пирамида надъ пирамидою; граниты глядятъ сѣрыми очами, обтесанные въ сфинксовъ; идутъ безчисленныя ступени. Стоитъ онъ величавый, питаемый великимъ Ниломъ, весь убранный таинственными знаками и священными звѣрями. Стоитъ и неподвиженъ, какъ очарованный, какъ мумія, не сокрушаемая тлѣніемъ.

Раскинула вольныя колоніи веселая Греція, Кипшатъ на Средиземномъ морѣ острова, потопленные зелеными рощами; кинамонъ, виноградныя лозы, смоковницы помаваютъ облитыми медомъ вѣтвями; колонны, бѣлыя какъ перси дѣвы, круглятся въ роскошномъ мракѣ древесномъ; мраморъ страстный дышетъ, зажженный чуднымъ рѣзцомъ, и стыдливо любитъ свою прекрасною наготою; увитый гроздіями, съ тирсами и чашами въ рукахъ, народъ остановился въ шумной пляскѣ. Жрицы, молодыя и стройныя, съ разметанными кудрями, вдохновенно вонзили свои черныя очи. Тростникъ, связанный въ цѣвницу, тимпаны, мусикійскія орудія мелькаютъ, перевилая плещемъ. Корабли какъ мухи толпятся близъ Ро-

81573







Nikiforov, L.P.

"

Съ благотворительною цѣлью.

„НА ДОБРУЮ ПАМЯТЬ

ИЗЪ

РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ“.

КНИГА ДЛЯ СЕМЕЙНАГО ЧТЕНІЯ,

составленная изъ избранныхъ произведеній Альбова, Баранцевича, Вагнера (Кота-Мурлыки), Гоголя, Григоровича, Достоевскаго, Златовратскаго, Короленко, Лѣскова, Мамина, Мачтета, Немировича-Данченко, Потапенко, Станюковича, ЛЬВА ТОЛСТОГО (новый разсказъ), Тургенева, Успенскаго, Чехова, Щедрина и многихъ другихъ.

Составлена Л. П. НИКИФОРОВЫМЪ.



МОСКВА.

Изданіе книгопродавца Д. В. Байкова.

1894.

1.6

PG3226
N 5

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	<i>Стр.</i>
Отъ составителя. Л. Никифорова	1
Молитесь всѣ, чтобъ Богъ послалъ (изъ Борнса)	4
Жизнь. Н. Гоголя	5
Пророкъ. И. Аксакова.	10
Подъ мирными кровлями. М. Альбова	13
Умирающая мать. А. Апухтина	20
Во время войны. Братьямъ. А. Апухтина	21
Братъ. К. Баранцевича	—
Игрушка великанши. Перев. съ нѣм. А. Барыновой	28
Два вѣка. Сказка. Н. Вагнера (Нотъ-Мурлына)	30
Видишь море? Озаряетъ... П. Вейнберга	33
Художники. Отрывокъ. Всеволода Гаршина	—
Дума. (Изъ Т. Г. Шевченко). Н. Гербеля	39
Доля. (Изъ Т. Г. Шевченко). Н. Гербеля	40
Левка. (Изъ запис. доктора Крупова)	41
Намъ жизнь дана, чтобы любить... И. Горбунова-Посадова	52
Карьеристъ. Очеркъ. Д. Григоровича	53
Поединокъ. (Изъ „Брат. Карамазовыхъ“). Ф. Достоевскаго	61
На родинѣ. С. Дрожжина	69
Ночные голоса. С. Дрожжина	—
Заговоръ совѣ. Сказка. П. Засодимскаго	70
Бѣлый старичекъ. (Изъ народ. разск.). Н. Златовратскаго	77
Разбитая ваза. (Изъ Сюлли Прюдомма). П. Кичеева	90
Живой ключъ. Преданіе. Каронина	91
Могильная сосна. П. Козлова	98
Старый звонарь. (Весенняя идиллія). В. Короленка	100
Старый капралъ. (Изъ Беранже). В. Нурочкина	105
Безпріютный. А. Левитова	108
Дурачокъ. Разсказъ. Н. Лѣскова	123
Вопросъ. А. Майкова	131
Вольный человѣкъ Яшка. Д. Мамина-Сибиряка	—
„Христосъ воскресъ!“ поютъ во храмѣ... Д. Мережковскаго	142
Кто крестъ однажды хочетъ несть... Н. Минскаго	—

ная мать и глядитъ на него исполненными слезъ очами; надъ нимъ высоко на небѣ стоитъ звѣзда и весь міръ осіяла чуднымъ свѣтомъ.

Задумался древній Египетъ, увитый іероглифами, понижая ниже свои пирамиды; безпокойно глянула прекрасная Греція; опустилъ очи Римъ на желѣзныя свои копья; приникла ухомъ великая Азія съ народами-пастырями; нагнулся Араратъ, древній прапращуръ земли....

1831.

Н. Гоголь.

Пророкъ.

На встрѣчу вѣщаго пророка
И съ нимъ грядущаго суда, —
Еще въ ночи, — еще востока
Дрожала яркая звѣзда, —
Онъ вышелъ, градъ покинувъ сонный,
Не взявъ ни пищи, ни одеждъ,
Въ тоскѣ святой, неутомонной,
Свершенья чающій надеждъ!
Кругомъ лишь темъ, да влага ночи,
Не скоро свѣтлый день взойдетъ...
Но онъ, во мракъ вонзая очи,
Стоить и ждетъ, стоитъ и ждетъ.

И мыслить: «Чаемый, молимый
День наступаетъ. Близокъ срокъ.
Узрю тебя, досель гонимый,
Но нынѣ судящій пророкъ!
Не призракъ ты: съ костями и кровью,
Какъ мы, въ плоти идешь ты къ намъ...
Съ какимъ стenanьемъ и любовью
Я припаду къ твоимъ ногамъ!
И все, что въ эти дни и годы
Терзаній, мукъ извѣдалъ я,
Все въ этотъ мигъ, пророкъ свободы,
Благословить душа моя!
Какое утро міру встанетъ!

Какая вѣра вспыхнетъ въ немъ!
 Съ какимъ позоромъ зло отпрянетъ
 Передъ святымъ твоимъ челомъ!
 Свершишь ты жертвы очищенья,—
 И въ жизнь одѣнутся слова:
 Освобожденья, обновленья,
 Любви и правды торжества!...

Оттуда путь ему, съ востока...
 Придетъ, смирененъ и могучъ,
 Подъ пыльнымъ рубищемъ пророка
 Скрывая слова острый лучъ!
 О, эту пыль одежды бѣдной
 Какъ я слезами орошу!
 Какою праздничной, побѣдной
 Я пѣсню воздухъ оглашу!
 Но близко, Боже!... Нынѣ, нынѣ!...
 Вся кровь отхлынула въ груди;
 Ужасенъ Ты въ своей святынѣ,
 Великій Богъ!...

Гряди, гряди,
 О, жизни новое начало,
 О царства новаго разсвѣтъ!...

Заря пылаетъ. Солнце встало,
 Проснулся долъ. Пророка нѣтъ.

— «Нѣтъ! но придетъ онъ въ срокъ скоромъ,
 Я вѣрно знаю — онъ придетъ!»
 И смотреть, даль пытая взоромъ...
 Смѣнился день. Пророкъ неидетъ.
 Но, сердцемъ скорбь принявъ покорнымъ,
 Онъ все зоветъ, онъ все глядитъ;
 Все тѣмъ же гордымъ и упорнымъ
 Въ немъ вѣра пламенемъ горитъ.
 И дни бѣгутъ, за днями — годы

Неудержимой чередой;
Надъ нимъ бушуютъ непогоды,
Его сжигаетъ солнца зной;
Онъ мигъ за мигомъ время мѣрить,
Мольбу призывную твердя,
И съ каждымъ мигомъ ждетъ и вѣрить,
Очей съ востока не сводя.

И лѣтъ несчетныхъ рядъ промчался...
Онъ старцемъ сталъ. Отъ мужа силъ
Одинъ лишь остовъ воздвигался.
Какъ тѣнь, какъ выходецъ могиль,
Снѣдаемъ тайною тоскою —
Видали странники — порой
Дрожащей, старческой рукою
Онъ тусклый взоръ прикроетъ свой.
Но вѣры пламенной гордыни
Душа не свергнула его:
Стоять до днесь онъ средъ пустыни
И ждетъ пророка своего!

Безумецъ! страстными мольбами
Вотще зовешь пророка ты!
Давно онъ ходитъ между вами,
Но скрыты вамъ его черты.
Какъ знать — съ полудня-ль, иль съ востока,
Въ началѣ-ль дня, или въ концѣ, —
Но онъ не въ рубицѣ пророка,
Пришелъ не въ царственномъ вѣнцѣ!
И рѣчь его не идетъ мимо,
И править царство онъ свое,
И міра нашего незримо
Преображаетъ бытіе!...
Когда ты къ встрѣчѣ насъ готовилъ,
Онъ близъ тебя, съ тобою былъ;
Когда ты пѣлъ и словословилъ,

Не онъ ли пѣснь тебѣ внушалъ?
Когда ты ждалъ зари начала,
Чтобъ новой жизни встрѣтить день, —
Ужъ цѣлый вѣкъ заря пылала,
Ночи вѣковъ сгоняя тѣнь!

Взгляни назадъ. Смотри, въ то время,
Пока ты взоръ стремилъ впередъ,
Взошло посѣянное сѣмя, —
Не тѣ ужъ люди, міръ не тотъ!
Безумецъ, тайный ходъ творенья
Какъ подстеречь и уловить,
Въ предѣлы зыбкіе мгновенья
Жизнь міра вѣчную втѣснить?
А ты хотѣлъ чертой отмѣтить
Начало новыхъ, лучшихъ дней
И пѣснь пропѣть, и громко встрѣтить,
Упится радостью своой!...
Нѣтъ, вѣрь, кто Божье слово сѣетъ,
Что, какъ древесное зерно,
Оно не слышно, тихо зрѣетъ
И всходитъ медленно оно,
И туго стебель подымаетъ,
Пока корней живой объемъ
Охватить міръ... Но міръ не знаетъ,
Какая сила зрѣетъ въ немъ.

И. Ансаковъ.

Подъ мирными кровлями.

Утро. Невѣдомая улица проснулась давно, отзвучавъ своими обычными звуками. Давно проигралъ на трубѣ пастухъ свою трель, проводивъ въ «поле» коровъ, давно прогалѣла толпа рабочихъ, отправляясь на фабрику, и гудокъ, своею унылою и протяжною нотой рѣзавшій воздухъ, тоже замолкъ ужъ давно. Давно разбрелось въ городъ по разнымъ «присутствіямъ» и все служащее населеніе Невѣдомой улицы. Вся прекрасная половина его занята лихорадочною дѣятельностью по хозяйству, о чемъ свидѣлствуютъ столбы дыма, тянущіеся изъ трубы каждаго дома.

Въ воздухѣ мутно. Кажется, собирается дождь. Сѣрыя, пузатые тучи зловѣще скопляются сплошною толпой, какъ бы ведя между собою тихій заговоръ обрушиться соединенными силами на Невѣдомую улицу стремительнымъ ливнемъ. А между тѣмъ солнечный лучъ все же силится, отъ времени до времени, гдѣ можно, пробраться между ними и хоть минуту взглянуть на міръ Божій, и тогда онъ яркими золотистыми пятнами ложится, между прочимъ, и на этотъ уголокъ забора, на которомъ, Богъ вѣсть для чего, съ незапамятныхъ временъ торчитъ доска съ надписью: «курить табакъ строго воспрещается», хотя Невѣдомая улица давно уже вступила въ болѣе либеральный періодъ исторіи; ложится лучъ солнца и на бокъ огромнаго престарѣлаго пса, аборигена Невѣдомой улицы, носящаго совершенно не по заслугамъ кличку Звонка, и кстати ужъ, какъ бы изъ одного снисхожденія, заглядываетъ даже въ подвальное окно во дворъ того дома, гдѣ помѣщается трактирное заведеніе «Отрада», въ каморку семьи Бергамотовыхъ. Теперь этотъ лучъ освѣщаетъ вихоръ единственнаго отпрыска послѣдней, десятилѣтняго сына — Егорки, который, сидя за неокрашеннымъ сосновымъ столомъ, торопливо уплетаетъ за обѣ щеки толстый ломоть ситнаго хлѣба, въ то же время обжигая губы горячею

бурою жидкостью, известною въ семьѣ подь именемъ кофія, которую мальчикъ со свистомъ прихлебываетъ изъ большой старой чашки съ отбитою ручкой.

— Не торопись, не торопись... Ахъ, пострѣлъ какой! Уй- деть, что ли, твоя улица-то? Небось, не уйдетъ... Чего рыло то воротишь? Сколько разъ я тебя училъ, какъ ты долж- онъ слушать отца... Слышь ты, что я тебѣ говорю, а? Соврась!

Это бубнить изъ угла каморки заспанный голосъ человѣка, лежащаго на широкой самодѣльной кровати. Строго говоря, можно разсмотрѣть только однѣ босыя ноги въ опоркахъ, да рукавъ ситцевой рубахи, такъ какъ вся остальная фигура про- падаетъ въ густомъ облакѣ дыма махорки. Выпустивъ еще струю дыма, въ которомъ на этотъ разъ лежащая фигура ис- чезла совсѣмъ, она продолжаетъ:

— Ты должонъ завсегда почитать, что тебѣ говорятъ... Кто тебя породилъ, вскормилъ, воспиталъ, а? Нѣтъ, ты скажи...

— Ну, чего ты муштруешь, то? — откликается вдругъ отъ плиты Бергамотиха, тщетно сисясь водворить посредствомъ ухвата горшокъ на его надлежащее мѣсто. — Чего ты на ре- бенка то набросился? То молчить—молчить... Кушай, батюшка, не слушай его. Не налить ли тебѣ еще кофейку-то?...

— Не хочу,—съ полнымъ ртомъ отвѣчаетъ Егорка.

Затѣмъ онъ быстро вскидывается съ мѣста, мимоходомъ схва- тываетъ со скамейки шапчонку и, нахлобучивъ ее на вихоръ, устремляется въ дверь, на улицу, такъ какъ глаза его давно уже запримѣтили поджидавшаго его у воротъ Самсонку Трын- кина, съ нетерпѣливыми жестами предъявлявшаго ему издали удивительную свинчатку, о которой Самсонка вчера еще ему говорилъ... Егорка устремился на улицу съ тѣмъ беззаботнымъ увлеченіемъ, которое имѣло источникомъ перспективу утѣхъ невиннаго дѣтскаго возраста, ждавшихъ его на улицѣ въ ком- паніи Трынкина и прочихъ товарищей, а между тѣмъ надъ его вихромъ скоплялась ужъ мрачная туча, которая должна бы- ла разразиться къ вечеру неописуемымъ горемъ и запечатлѣть этотъ день въ его памяти...

Но прежде, чѣмъ приступить къ изображенію этого, я долженъ сказать нѣсколько предварительныхъ словъ.

Тятенька Егорки, или «тянька», какъ звалъ онъ родителя въ золотые дни дѣтства, былъ отпущенный на волю дворовый человѣкъ, не имѣвшій опредѣленныхъ занятій и наполнявшій свое время самымъ широкимъ примѣненіемъ евангельскаго афоризма: «довлѣетъ дневи злоба его». Маменька Егорки была прачка.

Первыя сѣмена воспитанія были брошены въ Егоркину душу въ этомъ самомъ низенькомъ, закоптѣломъ подвалѣ въ одно окно, глядѣвшее на помойную яму. Здѣсь онъ получилъ бытіе и воспринялъ первыя свои впечатлѣнія.

По утрамъ, открывъ только глаза, онъ видѣлъ мать, плотную, коренастую женщину, съ раскраснѣвшимся лицомъ и космами волосъ, выбившимися изъ-подъ краснаго платка съ полинялыми разводами, которая суетливо возилась передъ закоптѣлою печкой, бросавшей яркое зарево на всю каморку и, между прочимъ, на заспанную фізіономію Бергамотова, который только-что освободился отъ сладкихъ оковъ предразсвѣтнаго сна и нѣжилъ на скрипучей сосновой кровати, подъ старой облѣзлою шубой, представлявшею довольно удовлетворительный суррогатъ одѣяла. Потомъ онъ вставалъ; неторопливо окутывалъ ноги портянками, натягивалъ сапоги, жилетку съ тремя стеклянными, вѣчно-болтавшимися на ниточкахъ пуговицами, и прочую свою сбрую, садился на табуретку у печки и погружался въ сосредоточенное куреніе трубки, сплевывая струйкою и затемняя каморку густыми оолаками ѣдкаго дыма. Въ этомъ сидѣніи передъ печкой и куренія трубки состояли преимущественно всѣ занятія Егоркина родителя. Онъ измѣнялъ этому бездѣйствію только въ тѣхъ случаяхъ, когда жена обращалась къ нему съ какимъ-нибудь порученіемъ:

— А ты бы, замѣсто того, чтобы за соску свою спозаранку приниматься, щепокъ накололъ, по крайности!..— замѣчала она съ раздраженіемъ, и отецъ Егорки, методически выколотивъ трубку, вставалъ и покорно исполнялъ приказанное.

Разговоры рѣдко завязывались между супругами. Занятая своимъ дѣломъ, мать какъ будто не замѣчала присутствія мужа.

иногда даже попадала ему прямо въ носъ локтемъ или концомъ ухвата. Но по временамъ, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда у нея дѣло не спорилось, или не въ духѣ она была, она обращалась къ сожителю съ болѣе или менѣе рѣзкими замѣчаніями:

— Ишь, напустилъ табачища, — сквозь зубы шептала она, сражаясь съ горшкомъ, и затѣмъ измѣняла шепотъ на полный голосъ:—Хоть бы съ мѣста то ты сдвинулся, одеръ эдакій! Хоть бы разъ ты за что-нибудь принялся! Жрать небось твое дѣло, а какая отъ тебя мнѣ подмога? Идолъ настоящій, прости, Господи, мое согрѣшеніе!

Отецъ оторопѣло вскидывалъ глаза на жену, вставалъ и, пробормотавъ: «ну, ну, ты... поѣхала!» — уходилъ съ трубкой въ сѣни, гдѣ и дымилъ всласть, на свободѣ, до тѣхъ поръ, пока жена не прокричитъ ему черезъ дверь:

— Иди, штоль, кофій-то пить!... Баринъ!!

Отъ времени до времени, въ сѣни ставилась лохань и тамъ поднималась стирка бѣлья. Густой паръ валилъ въ каморку. Стирка была единственнымъ ресурсомъ, поддерживавшимъ существованіе семьи Бергамотовыхъ.

Отецъ былъ неразговорчивъ и самого спокойнаго темперамента. Почти все время проводилъ онъ или лежа на кровати, или сидя на стулѣ за столомъ у окошка, опершись на локоть своимъ тугодумнымъ лбомъ, развлекаясь трубочкой и созерцая помойную яму, прогуливающійся гаремъ проживающаго на дворѣ пѣтуха, да невинныя игры собакъ... Иногда онъ отлучался изъ каморки и просиживалъ до самого запора въ нижнемъ отдѣленіи «Отрады», помѣщавшемся о-бокъ съ его квартирой. Тамъ онъ тоже курилъ и молчалъ, слушая, что говорятъ другіе, и смотря какъ пьютъ другіе. Жена не была противъ этихъ отлучекъ: «табачищемъ своимъ не чадить, по крайности...» Иногда приходилъ онъ домой и пьяненькимъ, но и во хмѣлю оставался такимъ же спокойнымъ и молчаливымъ, не шумѣлъ и не бурлилъ, а укладывался и храпѣлъ.

Тѣмъ болѣе должно быть казаться необычайнымъ сегодняшнее его поведеніе, въ смыслѣ морали на тему о сыновней по-

читательности, которую прочиталъ онъ Егоркѣ. Обыкновенно, всѣ его отношенія къ послѣднему ограничивались тѣмъ, что онъ иногда погладить по головкѣ Егорку, когда тотъ, набѣгавшись по улицѣ, сидитъ за столомъ и торопливо ѣсть, боясь упустить дорогія мгновенья, и промолвить при этомъ:

— Умаялся, пострѣлъ? Небось, голодъ-то тоже тово... такъ-то, братъ! — или что-нибудь въ подобномъ родѣ, тоже не отличающееся особеннымъ смысломъ, но все же до извѣстной степени могущее служить выраженіемъ родительской нѣжности.

Да и вообще необходимо замѣтить, что Бергамотовъ-отецъ, еще съ утра, только-что проснувшись, началъ вести себя съ сосредоточеннымъ достоинствомъ человѣка, котораго не понимаютъ. Лежа еще на кровати, онъ иногда прорывался таинственными намеками на то, что «вотъ, молъ, какъ ни вертись, а мужское дѣло не то, что бабье... Ей тамъ горшокъ щей, или другое что, а въ такомъ дѣлѣ, гдѣ голова требуется, можетъ ли баба супротивъ мужчины что-нибудь путное сдѣлать?... Никакъ ве можетъ!»

Тутъ Бергамотовъ умолкалъ на минуту, величественно сосалъ трубку и сплевывалъ, а затѣмъ опять бросалъ намекъ:

— Опять же, ежели теперь къ примѣру братъ: кто завсегда больше о семействѣ заботится, какъ не мужъ? Н-н-да, ужъ какъ тутъ ни финти, а на то выходить, что бабье дѣло около горшка, а не другое что!

Можетъ-быть всѣ эти намеки такъ бы и пропали втунѣ, — по крайней мѣрѣ, они пролетали, повидимому, мимо ушей сожительницы, не задѣвая ея вниманія, — еслибы самъ Бергамотовъ не высказался опредѣленно. Это произошло уже вечеромъ, именно, когда мать Егорки, съ подоткнутымъ подоломъ и сбившимся на бокъ платкомъ, предалась мытью пола, а отецъ, лежа на кровати, пускалъ облака табачнаго дыма. На этотъ разъ онъ курилъ съ самоуслажденіемъ человѣка, питающаго въ груди ему одному, до поры до времени, вѣдомые планы... Нѣкоторое время онъ безмолствовалъ, а потомъ сказалъ:

— Гдѣ мальчуганъ то?

Вопросъ былъ объ Егоркѣ. Вопросъ этотъ былъ совершенно праздный, такъ-какъ Егоркѣ негдѣ было обрѣтаться, иначе какъ на улицѣ. Въ теченіе дня онъ нѣсколько разъ появлялся, какъ метеоръ, и опять исчезалъ. Вѣроятно, считала это вопросъ празднымъ и та, кому онъ былъ предложенъ, потому что она продолжала молча плескать изъ испаряющагося ведра горячую воду и ёрзать на корачкахъ по каморкѣ.

Бергамотовъ курнулъ еще раза два, медленно и съ разстановкой, а затѣмъ продолжалъ рѣчь съ суровымъ апломбомъ:

— Балуется онъ у насъ до экого времени... Ровно бы, пора ему и перестать... Что хорошаго? Всякій скажетъ...

— Что-жь, мѣшаетъ онъ тебѣ, что ли соску то сосать?— отозвалась, наконецъ, прачка.

— А ты слушай. Онъ вотъ теперь баклуши бьетъ — и это ему вредъ, потому—что тутъ похвальнаго? Всякій скажетъ, что не порядокъ! Какъ ежели я отецъ однажды, довольно мнѣ должно быть обидно, если за родное мое дѣтище, единокровное, можно сказать, чужіе люди меня укорять учнутъ. Ежели онъ не при дѣлѣ, выходить, онъ—лишній ротъ... И нѣтъ ему другого названія!

— Да ты съ чего это бобы то началъ разводить? Дѣлецъ!!

Бергамотовъ затянулся, выпустилъ дымъ и выстрѣлилъ слюною въ видѣ тонкой струи.

— А ты не пыли! Потому никакихъ такихъ высокихъ дѣловъ, по своему бабьему уму, ты понимать не можешь... То-то вотъ оно!—Я отецъ однажды, и я должнъ о своемъ рожденіи, можно сказать, всячески заботиться... Я, вотъ, Егорку въ науку отдамъ... И отдамъ! Потому ежели ужъ чужіе люди теперича мнѣ говорятъ: «что, молъ, твой сынъ какъ соврасъ?... И очень это мнѣ должно быть обидно!

Очевидно, предположеніе Бергамотова отдать сына «въ науку» поразило своею новизною его сожительницу. Оно еще болѣе ее поразило, — до того поразило, что она перестала мыть полъ и остановилась посреди каморки, съ мочалкой въ рукѣ, глядя во всѣ глаза на мужа, — когда онъ присовокупилъ:

— Я всю эту механику почитай-что обработалъ... Вотъ ты и знай! Кто бы о немъ позаботился, коли бы не я?... Вчерась въ трактирѣ Григорій говоритъ мнѣ...

— Это отъ Шишкина?

— Отъ Шишкина. Закройщикъ опъ... Говоритъ мнѣ Григорій: «хозяинъ, говоритъ, ученика ищетъ»... Вотъ, думаю...

— Такъ что-жь ты молчалъ-то съ утра?

— А я въ мысляхъ все держалъ...

— Ну, и вышель дуракъ! Господи милосливый, этакое дѣло, а онъ хоть бы слово! И что ты за человѣкъ такой есть на свѣтѣ? «Въ мысляхъ держалъ»... Дубина стоеросовая! Да онъ, поди, и нашелъ ужъ теперь!—волновалась Бергамотиха.

— Ну, это нѣтъ... Это не тово... Нѣтъ!—бормоталъ Бергамотовъ, усиленно затягиваясь трубкой.

— Бьютъ вѣдь только ребятъ у хозяевъ спервоначалу-то... Поди, каковъ-то онъ еще, Шишкинъ то самъ...— молвила задумчиво, послѣ небольшой паузы, прачка.

— Я и на этотъ счетъ съ Григорьемъ очень основательно поговорилъ,—заявилъ съ торжествомъ Бергамотовъ. — «Бьютъ, говоритъ, бьютъ, это точно... И никакъ, говоритъ, безъ битья невозможно: наука!» Онъ же и про хозяина своо онъ говорилъ: «очень, говоритъ, отличный человѣкъ! Нельзя сказать, чтобы обижалъ, а кормить, говоритъ ничего-таки...! хорошо кормить!...» Я ему пива поставилъ,—заключилъ Бергамотовъ.

— То-то оно и видно!—замѣтила презрительно прачка, склоняясь опять на корачкахъ къ ведру и принимаясь плескать изъ него горячую воду на полъ каморки.

Какъ бы то ни было, съ этимъ вопросомъ, въ принципѣ, было покончено; затѣмъ, послѣ того, какъ прачка отмыла полъ, она вмѣстѣ съ мужемъ, принарядившимся по этому случаю въ свое лучшее платье, отправилась къ Шишкину, послѣ чего уже окончательно приговоръ надъ судьбою Егорки получилъ, такъ сказать, свою санкцію.

Объ этомъ узналъ онъ только-что вернувшись домой, гдѣ его сразу охватила атмосфера какой-то торжественности, царившей въ подвалѣ. Во-первыхъ, у образа горѣла лампадка,

разливая трепещущій свѣтъ на каморку. Мать сидѣла подѣ этой лампадкой, прижавъ руки подѣ грудью, причемѣ правая, поставленная локтемѣ на ладонѣ лѣвой, упиралась въ ея подбородокѣ. Она была задумчива. Отецѣ, все еще одѣтый по-праздничному, сидѣлъ у стола и курилѣ свою трубку величественно. Изѣ-за всего этого на Егорку выглядывало что-то смутно-зловѣщее...

— Ну, братѣ, ужѣ капутѣ теперь твоей улицѣ... Ндда! Завтра ужѣ не поскачешь, шалишь!—нарушилѣ, наконецѣ, молчаніе Бергамотовѣ.

— Ну, чего ты ребенка-то пугаешь? голова съ мозгомѣ! — воскликнула прачка.

Но дѣло было ужѣ сдѣлано. Егорка почувствовалѣ, что надѣ нимѣ вѣетѣ своими мрачными крыльями какая-то бѣда неминуемая. И когда, наконецѣ, онѣ узналѣ, чтѣ значатѣ эти слова, чтѣ скрывается подѣ всей этой торжественностью, когда, наконецѣ, передѣ нимѣ возникѣ во-очію грозный призракѣ «науки», онѣ залился отчаяннымѣ рѣвомѣ...

М. Альбовѣ.

Умирающая мать.

«Что, умерла? жива? Потіше говорите,

Быть-можетѣ, удалось на время ей заснуть...»

И кто-то предложилѣ: ребенка принесите

И положите ей на грудь.

И вотѣ на мѣстѣ томѣ, гдѣ прежде сердце билось,

Ребенокѣ съ плачемѣ скрылѣ лице свое...

О, если и теперь она не пробудилась,—

Все кончено: молитесь за нее.

А. Апухтинѣ.

Во время войны. Братьямъ.

Свѣтаетъ... Не въ силахъ тоски превозмочь,
 Заснуть я не могъ въ эту бурную ночь.
 Чрезъ рѣки и горы, и степи просторъ
 Васъ, братья далекіе, ищетъ мой взоръ.
 Что съ вами? Дрожите-ли вы подъ дождемъ
 Въ убогой палаткѣ, прикрывшись плащемъ,
 Вы стонете-ль въ ранахъ, томитесь въ плѣну,
 Иль пали въ бою за родную страну,
 И жизнь отлетѣла отъ лицъ дорогихъ,
 И голосъ вашъ милый навѣки затихъ?..
 О, Господи! Лютой пылая враждой,
 Два стана давно ужъ стоятъ предъ Тобой;
 О помощи молятъ Тебя ихъ уста,
 Одинъ за Аллаха, другой за Христа;
 Безъ устали, дружно во имя Твое
 Работаютъ пушка, и штыкъ, и ружье...
 Но, Боже, Одинъ Ты, и вѣра одна,
 Кровавая жертва Тебѣ не нужна!
 Яви-же борцамъ негодующій ликъ,
 Скажи имъ, что міръ Твой хорошъ и великъ,
 И слово забытое братской любви
 Въ сердцахъ, омраченныхъ враждой, оживи!

А. Апухтинъ.

Б р а т ь.

Петръ Платоновичъ присѣлъ къ столу и протянулъ руку къ
 цѣлому вороху только-что принесенныхъ писемъ.

— А!—произнесъ онъ,—вотъ оно что!

Онъ раскидалъ пачку изящныхъ глазированныхъ конвертовъ
 съ анаграммами, съ надписями по-нѣмецки и по-англійски, съ
 разноцвѣтными марками иностранныхъ государствъ, и снизу

вытащилъ одно, въ простомъ конвертѣ изъ сѣрой бумаги, аляповато запечатанное сургучомъ и снабженное адресомъ, написаннымъ крупными, безграмотными каракулями.

Брови Петра Платоновича сдвинулись, онъ сердито повелъ плечами и слегка дрожавшими пальцами распечаталъ письмо.

На полулистѣ бумаги, тѣми же каракулями, было изображено слѣдующее:

«Милосливому государю и лагодѣтелю Петру Платоновичу, въ первыхъ строкахъ посылаю нижайшій поклонъ и желаю щастія и благополучія, поздравляю съ наступающимъ праздникомъ Рождества Христова. А нащотъ братца вашего, Дмитрея Платоновича, имѣю честь предъяснить, что они не поладивши на заводѣ и съ большими непріятностями противу властей и начальствующихъ лицъ, на прошлой недѣли изволили отбыть въ городъ Санктъ-Петербургъ...»

Петръ Платоновичъ не сталъ читать далѣе; онъ швырнулъ отъ себя письмо, словно оно обожгло ему руки, и, откинувшись въ кресло, задумчиво началъ крутить роскошныя русыя бакенбарды.

— Гм!... Слѣдовало ожидать' —прошепталъ Петръ Платоновичъ,—опять старая исторія! Не утомонился.

Презрительная усмѣшка скосила его губы.

— «Изволили отбыть!» Да когда же будетъ конецъ этому? Вѣдь это чортъ знаетъ чтò такое!

Петръ Платоновичъ вспылилъ. Съ визгомъ откатилось кресло отъ стола, Петръ Платоновичъ всталъ и принялся шагать по кабинету, разрывая злополучное письмо на мелкіе кусочки и покрывая ими роскошный, пушистый коверъ съ блѣдно-розовыми букетами.

— И кому это нужно? Народу? Ха! Народу нуженъ кабакъ!— со злобой размышлялъ онъ, остановившись у широкаго венеціанскаго окна, откуда, сквозь сизый туманъ зимнихъ сумерокъ, открывался унылый видъ на группу покрытыхъ снѣгомъ заводскихъ крышъ съ высокими, цилиндрическими трубами,— кабакъ и палка! Сумасшедшій ідиотъ! Маньякъ! Маньякъ, который можетъ навредить! Нѣтъ, чортъ возьми, нужно принять мѣры... Можетъ-быть ужъ онъ тутъ... Можетъ-быть...

Легкій стукъ въ дверь прервалъ размышленія Петра Платоновича.

— Войдите!—сказалъ онъ.

Дверь отворилась и въ кабинетъ вошелъ молодой человѣкъ, изящной наружности, въ очкахъ, съ портфелемъ подъ мышкой.

— А, Сергѣй Владиміровичъ!—небрежно процѣдилъ сквозъ зубы хозяинъ,—садитесь! Что новаго?

— Ничего особеннаго,—отвѣчалъ молодой человѣкъ, почтительно пожимая руку хозяина,—работы прекращены, вечеромъ контора будетъ выдавать расчетъ,—молодой человѣкъ порылся въ портфель и сталъ вынимать бумагу за бумагою.— Вотъ смѣта праздничныхъ, а это вѣдомость чернорабочихъ дней, вѣдомость прогуловъ и штрафовъ...

— Хорошо. Положите сюда,—я разберу потомъ, а вы потрудитесь просмотрѣть корреспонденцію отъ нашихъ агентовъ.

Петръ Платоновичъ отобралъ нѣсколько конвертовъ на иностранныхъ языкахъ и подаль молодому человѣку.

— Да, вотъ еще! Въ машинномъ отдѣленіи случилось маленькое несчастье,—спокойнымъ тономъ началъ управляющій,—смазчикъ, при снятіи шкива, попалъ рукою въ колесо.

— Ну, и что же?—также спокойно спросилъ Петръ Платоновичъ.

— Помяло.

— Онъ, конечно, въ больницѣ?

— Да. Рабочіе раздуваютъ этотъ случай, но по заключенію врача...

— «Рабочіе раздуваютъ»—съ раздраженіемъ воскликнулъ Петръ Платоновичъ,—скажите на милость! А кто виноватъ? Вѣроятно, онъ полѣзъ во время дѣйствія машины?

— Да, машина была въ ходу.

— Ну, такъ и есть! Сколько разъ было говорено! Вывѣшены аншлаги, приняты предосторожности! Отчего не была остановлена машина?

— Не знаю!—спокойно отвѣчалъ управляющій.

— Разслѣдуйте этотъ случай! Послѣ-завтра я буду самъ. Виновный долженъ быть строго наказанъ.

— И окажется, что виновный—самъ пострадавшій. Всегда такъ! Что вы будете дѣлать съ народомъ? Не угодно ли взглянуть: только-что кончили работать... и почти всѣ пьяны!—замѣтилъ управляющій.

Петръ Платоновичъ пристально посмотрѣлъ на него. Тотъ сидѣлъ хотя и въ почтительной, но при этомъ въ совершенно свободной позѣ, держался съ сознаніемъ собственного достоинства и походилъ скорѣе на гостя!

«Этотъ не изъ такихъ!—подумалъ Петръ Платоновичъ,—съ этимъ можно быть спокойнымъ, онъ поладитъ!»

— Хорошо!—сказалъ Петръ Платоновичъ;—я просмотрю отчеты. Теперь четыре часа, зайдите часа черезъ два...

Управляющій всталъ и, отвѣсивъ поклонъ, удалился. Петръ Платоновичъ прошелся по кабинету и снова остановился у окна. Сумерки сгущались. Кое-гдѣ, въ домахъ, засвѣтились огоньки. По улицамъ торопливо мелькали темные силуэты прохожихъ.

Чувство какого-то неопредѣленнаго недовольства самимъ собою закралось въ душу всегда бодрого Петра Платоновича. Мысль о братѣ не покидала его. Онъ отошелъ отъ окна, сдѣлалъ еще нѣсколько шаговъ по кабинету, потомъ вышелъ въ гостиную и оттуда, по узенькой лѣстницѣ съ перилами изъ краснаго дерева и со ступеньками, обитыми сукномъ, сошелъ въ зимній садъ.

Это былъ его любимый уголокъ, гдѣ онъ отдыхалъ послѣ многочисленныхъ занятій, и былъ хотя не великъ, но хорошо устроенъ и содержался прекрасно. Петръ Платоновичъ сѣлъ въ особо-устроенное кресло-качалку, подвинулъ къ себѣ курительный столикъ и, за благовонной регаліей, предался покою.

Кругомъ было тихо. Цѣпкія орхидеи ползли по стѣнамъ изъ туфа, тамъ и сямъ выказывая свои желтые пахучіе цвѣты, перистая арка и узорчатый кентій въ неподвижномъ воздухѣ протягивали неподвижные листья. Акантофениксъ, съ его красноватымъ стволемъ, усыяннымъ черными иглами, величественно возвышался надъ самой головой Петра Платоновича. Маленькій фонтанчикъ чуть слышно журчалъ, какъ бы убаюкивая своими однообразнымъ звуками...

Но мысли Петра Платоновича были мрачны и тревожны. Письмо на сѣрой бумагѣ не давало ему ни минуты покоя. Вспоминался ему городишка, гдѣ жилъ его братъ рабочимъ на заводѣ, вспоминалась ему высокая фигура въ полшубкѣ и высокихъ сапогахъ...

Петръ Платоновичъ съ досадой бросилъ сигару. А воспоминанія опять поплыли своимъ чередомъ и мало-помалу мысли Петра Платоновича перенеслись къ тому времени, когда оба они съ братомъ кончали курсъ въ одномъ техническомъ заведеніи. Какъ круто разошлись ихъ дороги! Вотъ онъ достигъ цѣли жизни,—онъ богатъ, принять въ лучшемъ обществѣ, женатъ на аристократкѣ, а братъ... Гдѣ-то онъ теперь?...

Сумерки все болѣе и болѣе сгущались, окутывая мракомъ садъ, въ которомъ пальмы протягивали свои вѣтви, походившія на гигантскія мохнатыя руки. Эти руки со всѣхъ сторонъ тянулись къ Петру Платоновичу, какъ бы силясь отнять отъ него все его благополучіе, стоившее ему многихъ сдѣлокъ съ совѣстью, многихъ лѣтъ борьбы, усилій.

«Мы переживаемъ время розни!»—вспомнилась ему фраза одного оратора на какомъ-то парадномъ обѣдѣ.

— Рознь?—прошепталъ Петръ Платоновичъ,—пожалуй, правда. Отношенія портятся,—времена не тѣ. Но что дѣлать? Вотъ вопросъ!...

Онъ глубже опустилсѣ въ кресло и медленно обвелъ глазами вокругъ, какъ бы ища отвѣта. Было совсѣмъ темно и въ темнотѣ съ трудомъ различались предметы. Отъ оконъ еще шелъ сѣроватый отливъ свѣта, но и онъ постепенно сгущался во мракъ. Неподвижными черными гигантами стояли пальмы, какъ бы готовясь каждую минуту раздавить того, кто находился у ихъ подножія.

Петру Платоновичу снова вспомнился братъ.

«Не сливаться же въ самомъ дѣлѣ съ народомъ, какъ это дѣлаетъ онъ. Какой вздоръ!»—рѣшилъ Петръ Платоновичъ, дѣлая попытку разсмѣяться. Но смѣха не вышло. Назойливо лѣзли въ голову воспоминанія прошлыхъ лѣтъ; лица близкихъ игкогда людей мелькали передъ глазами.

«А можетъ-быть,—онъ правъ?—задалъ себѣ вопросъ Петръ Платоновичъ,—нужно принимать болѣе близкое участіе въ ихъ судьбѣ, заходить иногда, когда не ждутъ, истолковать, разспросить»...

И вдругъ въ немъ явилось странное желаніе побывать теперь же на заводѣ. Конечно, нужно было сдѣлать такъ, чтобы не быть никѣмъ узаннымъ...

Петръ Платоновичъ моментально сообразилъ планъ своего путешествія. Онъ тихонько прошелъ въ спальню, надѣлъ охотничій полушубокъ, высокіе сапоги и, никѣмъ не замѣченный, вышелъ на улицу.

Въ слабомъ освѣщеніи масляныхъ фонарей мелькали темныя фигуры рабочихъ... Нѣкоторые были пьяны и шли, покачиваясь изъ стороны въ сторону. Звуки гармоники, бабій визгъ и мужицкая ругань оглашали воздухъ.

Петръ Платоновичъ направился къ своему заводу. Зловѣщій красный свѣтъ фонаря, прикрѣпленнаго къ стѣнѣ заводскаго корпуса, указывалъ ему путь.

И вотъ Петръ Платоновичъ идетъ по широкому двору, окруженному съ четырехъ сторонъ высокими кирпичными стѣнами. Какъ гулко раздается эхо его шаговъ.

Но зачѣмъ онъ идетъ сюда, что ему нужно? Петръ Платоновичъ вспомнилъ, что онъ идетъ къ рабочему, которому помяло машиной руку.

Его обдало вонючими испареніями рабочаго жилья. На рукахъ у грязной старухи пицалъ ребенокъ. Это было нѣчто среднее между обезьяной и человѣкомъ. Маленькое, худое личико, все въ морщинахъ, огромная, словно налитая, почти сквозная голова, раздутый животъ и совершенно высохшія, какъ плети повисшія, руки и ноги.

Петръ Платоновичъ взглянулъ на старуху и узналъ ее. Это та самая старуха, у которой братъ жилъ на квартирѣ; у ней желтое, какъ пергаментъ, лицо, обрамленное космами сѣдыхъ волосъ, и сухія, длинныя руки. Но какъ она попала сюда?

Петръ Платоновичъ хотеть что-то сказать, но старуха ма-

нить его за собою. Петръ Платоновичъ послушно идетъ за нею: онъ знаетъ, что она приведетъ его въ тотъ темный уголъ, гдѣ на койкѣ, въ кучѣ лахмотьевъ, лежитъ какой-то длинный, темный предметъ.

Да, несомнѣнно, это человѣкъ! Вотъ онъ даже слегка шевелится...

Петръ Платоновичъ приблизился, взглянулъ и вдругъ увидѣлъ торчащій наружу кусокъ истерзаннаго, покрытаго запекшеюся кровью мяса, по формѣ нѣсколько напоминающаго руку! Но какъ ее раздуло! Какъ измяло, искрошило эти крѣпкіе, рабочіе мускулы! Изъ порванныхъ сухожилій бѣлыми острыми торчатъ раздробленныя кости.

О, какой ужасъ!

Петръ Платоновичъ бросился къ грудѣ тряпокъ, сталъ срывать ихъ одну за другой и разбрасывать на полъ,—онъ хочетъ видѣть лицо искалѣченнаго человѣка во что бы то ни стало,—онъ хочетъ его видѣть!

Вотъ ужъ онъ добрался до его головы, обѣими руками взялъ за нее, съ усиленіемъ повернулъ къ себѣ лицомъ...

«Братъ».

.

Петръ Платоновичъ проснулся.

Цѣлые снопы свѣта ворвались въ зимній садъ сквозь распахнутыя настежь двери въ столовую, гдѣ сверкали въ се-ребрѣ грани хрустала роскошной сервировки.

Старинные, бронзовые часы на каминѣ мелодично пробили семь. Величественный лакей остановился на порогѣ въ позѣ, исполненной благороднаго достоинства.

— Ваше превосходительство, кушать подано!—провозгласилъ онъ.

Петръ Платоновичъ съ трудомъ пришелъ въ себя. Холодный потъ выступалъ у него на лбу, сердце шибко билось, пальцы, державшіе сигару, дрожали.

— Сергѣя Владиміровича... въ кабинетъ!—приказалъ онъ лакею.

Лакей ушелъ. Петръ Платоновичъ всталъ, прошелся немного и по той же лѣстницѣ поднялся въ кабинетъ.

Управляющій его ждалъ.

— Вы были тамъ... у этого рабочаго? Узнали? Что онъ, очень пострадалъ?—закидалъ его вопросами Петръ Платоновичъ.

— Пострадалъ неособенно... По собственной неосторожности,—спокойно доносилъ управляющій.

— Такъ, такъ! Но это нужно все-таки устроить, чтобы тамъ никакихъ... понимаете? Поѣзжайте сейчасъ же и отвезите его къ женѣ... Онъ женатъ?

— И дѣти есть.

— Ага! Такъ отвезите имъ отъ меня... ну, тамъ, на елку, что ли, сто рублей,—Петръ Платоновичъ подумалъ немного.— Нѣтъ, не сто, полтора! Слышите?

Управляющій съ удивленіемъ посмотрѣлъ на хозяина.

— Помилуйте,—началъ онъ.

— Прошу исполнить мое порученіе!—съ удареніемъ произнесъ Петръ Платоновичъ, выходя изъ кабинета.

Управляющій пожалъ ему вслѣдъ плечами.

— Съ ума онъ сошелъ, что ли?—бормоталъ онъ въ передней, облекаясь въ шубу.—Вотъ они всѣ таковы, самодуры! Чортъ бы его побралъ, даже обѣдать не оставилъ! Это ужъ совсѣмъ гадость!

Н. Баранцевичъ.

Игрушка великанши.

(Переводъ съ нѣмецкаго).

Въ преданіяхъ Эльзаса о старинѣ сѣдой
Извѣстенъ замокъ Нидекъ, высокій и большой.
Стоялъ онъ на вершинѣ, закутанный въ туманъ,
Надъ мирною долиной, и жилъ въ немъ великанъ.
Теперь разрушенъ замокъ, заросъ къ нему и слѣдъ;
Всѣ знаютъ: великановъ давно на свѣтѣ нѣтъ.
У великана дочка красавица росла.
Ребенокъ-великанша, рѣзва и весела;
Изъ замка выходила порой она гулять,

Глядѣла внизъ съ вершины: хотѣлось ей узнать,
 Что тамъ внизу творится, въ цвѣтущей глубинѣ;
 Ей было любопытно, кто тамъ живетъ на днѣ.
 Разъ быстрыми шагами сбѣжала съ вышины
 И лѣсъ перешагнула; невѣдомой страны
 Увидѣла внезапно деревни, города,
 Луга, сады и пашни: все то, что никогда
 Дотолѣ не видала. И вдругъ, у самыхъ погъ,
 Явились ей: лошадка, да мужичекъ—съ вершокъ.
 Пахаль онъ; плугъ на солнцѣ блестѣлъ какъ золотой.
 «Ахъ! Чудная игрушка! Снесу ее домой!»
 Сказала великанша. Накинула платокъ—
 И мужика съ лошадкой связала въ узелокъ.
 Поспѣшно, запыхавшись, веселое дитя
 Бѣжитъ въ родимый замокъ, наверхъ стрѣлой летя.
 Кричитъ: «Отецъ! игрушку нашла я подъ горой!
 «Взгляни, какая прелесть! Взгляни, какой смѣшной!»
 Старикъ сидѣлъ въ столовой за кружкою вина
 И дочкѣ улыбнулся, когда вошла она.
 Ну, что тамъ копошишься? Чего ты принесла?
 «Открой! Какую рѣдкость ты подъ горой нашла!»
 И ласково смѣется сквозь усы сѣдой старикъ.
 Вотъ узелокъ развязанъ. И лошадь и мужикъ
 На столъ предъ великаномъ поставлены. Полна
 Восторга великанша, въ ладоши бьетъ она.
 Насупилъ старый брови, качая головой.
 «Чего ты натворила, шалунья! Богъ съ тобой!
 «Какая онъ игрушка? Онъ труженикъ-мужикъ,
 «Онъ всѣхъ насъ хлѣбомъ кормить,
 Хотъ малъ онъ—да великъ!
 «Знай: всѣ мы великаны, живемъ его трудомъ,
 «Всѣ отъ мужицкой крови свой знатный родъ ведемъ...
 «Снеси жъ его на пашню, да слово помани:
 «Мужикъ намъ не игрушка
 Господь оборони!»
 Задумалася дочка надъ словомъ старика

И отнесла тихонько на пашню мужика.
 Теперь разрушенъ замокъ, пропалъ къ нему и слѣдъ;
 Всѣ знаютъ: великановъ давно на свѣтѣ нѣтъ.

А. Барынова.

Два вѣка.

(Сказка).

Сидитъ старый, добрый вѣкъ, сидитъ на заваленкѣ, свою жизнь доживаючи. Не грѣтъ его дряхлыя кости солнце красное. Сидитъ онъ, дрожить, слезно плачетъ—сокрушается.

— Какъ въ мое-то время все было новое, молодое да крѣпкое, доброе да хорошее. Были дубы старые, вѣковые, коренастые, — теперь стали они дуплявые, да и немного ихъ. Охъ, немного осталось! Были лѣса густые, зеленые, — всѣ-то лѣса теперь порублены. Были озера глубокія, рѣки широкія, — теперь все повысохло. Одни болота остались. Охъ, много, много болотъ непроходимыхъ! Было дичи — гибель, видимо-невидимо звѣря всякаго дикаго, вольнаго, — все перебили! Было золото, серебро, — все растерялося! Были берега кисельные, текли рѣки медовыя, — все прахомъ пошло! Обѣднѣлъ, обнищалъ народъ... Тяжело, тяжело ему жить на бездольицѣ...

Но бѣжить—шумитъ новый вѣкъ, надъ старымъ вѣкомъ тѣшится—похваляется:

— Эхъ ты, старче, старче древній! Изживешь ты свой срокъ, отойдешь въ вѣчность—успокоишься... А останется послѣ насъ съ тобою вѣчно юный родъ людской, въ немъ же безсмертная жизнь кипитъ, какъ волна весенняя. Не стало теперь ни дубравъ, ни боровъ, ни широкихъ рѣкъ, за то вездѣ рощи, да парки, пруды, да фонтаны брызжутъ, шумятъ — вѣкъ свой славятъ, наслаждаются. У меня ли, у новаго вѣка, бока стальные, чугунные. Летаю я молніей по проволокамъ мѣднымъ и выросли у меня крылья воздушныя. Дышу я паромъ, огнемъ и свѣтомъ, что блеститъ и сіяетъ ярче солнца красного.

— Охъ!—говорить старый вѣкъ,—хорошо ты живешь, да неладно творишь. Силенъ ты да крѣпокъ, богатъ и свѣтель, гремишь и летаешь, да выросъ ты словно коршунъ злой на костяхъ силы народной. Промоталъ ты ее, извелъ всю на жизнь твою вольготную, да красивую. Не понимаетъ онъ, народъ честной, младенецъ Божій, что отнял ты его отъ земли и бросилъ на путь погибельный.

Но отвѣчаетъ новый юный вѣкъ:

— Нѣтъ, не губилъ я силу народную. Встань, протри ты глаза твои старые, оглянись кругомъ. Въ уздѣ держу я народную силушку. Погибаетъ все слабое, что не можетъ бороться съ нуждой и неволей злой. Выживаетъ все сильное, да крѣпкое, все, что идетъ впередъ, что тянется ко мнѣ, вѣку молодому, красивому. И земля сырая матушка идетъ мнѣ на помощь, пособице. За старыми ключами, родниками пересохшими—открываются ключи новые, быстрые. Вмѣсто угля древеснаго открыла мнѣ мать земля уголь каменный, что сберегла она для меня за тысячи лѣтъ въ своихъ кладовыхъ подземныхъ. Вмѣсто льна тяжелаго, что растеть съ трудомъ по мокрымъ мѣстамъ, выростила мнѣ земля хлопокъ легкій, какъ пухъ, и тку я его быстро и споро на прядильныхъ машинахъ большихъ. Пусть онъ скоро носится, да за то и обновится скорѣй. Вмѣсто дерюги пасконной, набойки простой я холстинки да ситцы цвѣтные завежъ. Вмѣсто кружевъ—ручныхъ плетешковъ—завелъ я машинныя блонды, гипюры — и машина всюду и шьетъ и ткеть, и гремитъ и стучить, и поетъ она силѣ народной пѣснь упокойную:

Ужъ ты лягъ да усни, силушка народная,
Къ спорой работѣ совѣмъ непригодная,—
За тебя ли я, сила, всласть и съ охотою,
Напашу, наряду, натку, наработаю.

А вмѣсто силы народной создалъ я силы новыя — силу пара, силу электричества. Не затынетъ теперь бурлакъ пѣсню тяжелую:

Эхъ ты Волга, ты Волга широкая,
Я твои-ль побережья сыпучія
Своими лаптями топталъ, да утаптывалъ,
Поливалъ ихъ потомъ кровавымъ, тяжелымъ,
Обмылъ ихъ слезами моими горячими...

— Эхъ, лежалъ бы ты, старче, у себя на печи, на заваленкѣ досиживалъ бы. А ко мнѣ пусть идетъ все, что рвется впередъ, что вѣчно молодѣетъ и живетъ юной жизнью, не старѣющей.

Покачалъ головой, горько усмѣхнулся старый вѣкъ.

— Упокоишь,—проворчалъ онъ, — ты силу народную вѣкъ премудрый, корыстный, всякую силу вынуждающій. Изсушилъ, изморилъ ты мать сыру землю — кормилицу. Кто же будетъ поить-кормить тебя?! Все дорожаетъ въ три-дорога. Каждая копѣйка гвоздемъ желѣзнымъ прибита. Можно теперь дышать только ворами да корыстникамъ. Они и орутъ, и сѣютъ, и всю землю Божью въ полонъ берутъ.

Засмѣялся вѣкъ молодой.

— Эхъ ты, старче, старче древній,—сказалъ онъ!—Ничего ты, старче, дальше носу не видишь. Развѣ могу я изсушить, изморить землю Божью, могу ли я потребить, истерять воздухъ и воды, моря-океаны глубокіе. Можетъ ли когда-нибудь изсякнуть неизсякаемое?! Проживу я, какъ ты, старче, свой срокъ, а за мной идетъ новый, юный вѣкъ и несетъ онъ новыя силы. Новыя земли изъ морей поднимутся, новыя волны людскія зальютъ, населятъ ихъ. Не старѣетъ вѣчно юный родъ Человѣческій.

Всталъ, поднялся старый вѣкъ съ заваленки. Во весь ростъ всталъ онъ, расправился.

— А скажи ты мнѣ,—вопросилъ онъ, — скажи мнѣ, вѣкъ молодой, премудрый, до всего доходящій своимъ умомъ-разумомъ: будутъ ли новыя люди любить другъ друга, и будетъ ли весь домъ людской на этой любви, какъ на камнѣ крѣпкомъ, построенъ, и не размоютъ его дожди, не распатаютъ вѣтры буйныя?!

Ничего не отвѣтилъ вѣкъ молодой.

Посмотрѣлъ онъ на югъ, посмотрѣлъ на полночь, посмотрѣлъ на закатъ и восходъ... и застучалъ, загремѣлъ, улетѣлъ весь дымомъ и паромъ разостлался, разсѣялся...

Н. Вагнеръ. (Ночь-Мурлыка).

Видишь море? Озаряетъ
Волны солнца красота;
Но на днѣ его глубокоу,
Какъ въ могилѣ, темнота.
Я—какъ море. Духъ мой гордо
Катитъ волны, и на нихъ
Золотымъ играютъ солнцемъ
Звуки пѣсенокъ моихъ,
Ярко блещутъ, полны нѣги,
Свѣжей силы и любви;
Но въ груди моей безмолвно
Сердце плаваетъ въ крови..

П. Вейнбергъ.

Художники.

(Отрывокъ).

Рябининъ.

Я живу въ пятнадцатой линіи, на Среднемъ проспектѣ, и четыре раза въ день прохожу по набережной, гдѣ пристають иностранные пароходы. Я люблю это мѣсто за его пестроту, оживленіе, толкотню и шумъ,—за то, что оно дало мнѣ много матеріала. Здѣсь, смотря на поденщиковъ, таскающихъ кули, вертящихъ воротъ и лебедки, возящихъ телѣжки со всякою кладью, я научился рисовать трудящагося человѣка.

Я шель домой съ Дѣдовымъ, пейзажистомъ. Добрый и невинный, какъ самъ пейзажъ, человѣкъ и страстно влюбленъ въ свое искусство. Вотъ для пего такъ ужъ нѣтъ никакихъ сомнѣній; пишетъ, что видитъ: увидетьъ рѣку, и пишетъ рѣку, увидетьъ болото съ осокою, и пишетъ болото съ осокою. За-

чѣмъ ему эта рѣка и это болото, онъ никогда не задумывается. Онъ, кажется, образованный человѣкъ; по крайней мѣрѣ, кончилъ курсъ инженеромъ. Службу бросилъ, благо явилось какое-то наслѣдство, дающее ему возможность существовать безъ труда. Теперь онъ пишетъ и пишетъ: лѣтомъ сидитъ, съ утра до вечера, на полѣ или въ лѣсу за этюдами, зимой безъ устали компануетъ закаты, восходы, полдни, начала и концы дождя, зимы, весны и прочее. Инженерство свое забылъ и не желѣетъ объ этомъ. Только, когда мы проходимъ мимо пристани, онъ часто объясняетъ мнѣ значеніе огромныхъ чугунныхъ и стальныхъ массъ: частей машинъ, котловъ и разныхъ разностей, выгруженныхъ съ парохода на берегъ.

— Посмотрите, какой котлище притащили, — сказалъ онъ мнѣ вчера, ударивъ тростью въ звонкій котелъ.

— Неужели у насъ не умѣютъ ихъ дѣлать? — спросилъ я.

— Дѣлаютъ и у насъ, да мало, не хватаетъ. Видите, какую кучу привезли. И скверная работа; придется здѣсь чинить: видите, шовъ расходится? Вотъ тутъ тоже заклепки распатались. Знаете ли, какъ эта штука дѣлается? Это, я вамъ скажу, адская работа. Человѣкъ садится въ котелъ и держитъ заклепку изнутри клещами, что есть силы напирая на нихъ грудью, а снаружи мастеръ колотитъ по заклепкѣ молотомъ и выдѣлываетъ вотъ такую шляпку.

Онъ показалъ мнѣ на длинный рядъ выпуклыхъ металлическихъ кружковъ, идущій по шву котла.

— Дѣдовъ, вѣдь это все равно, что по груди бить?

— Все равно. Я разъ попробовалъ было забраться въ котелъ, такъ послѣ четырехъ заклепокъ еле выбрался. Совсѣмъ разбило грудь. А эти какъ-то ухитряются привыкать. Правда, и мрутъ они какъ мухи: годъ-два вынесетъ, а потомъ, если и живъ, то рѣдко куда-нибудь годенъ. Извольте-ка цѣлый день выносить грудью удары здороваго молота по груди, да еще въ котлѣ, въ духотѣ, согнувшись въ три погибели. Зимой желѣзо мерзнетъ, холодъ, а онъ сидитъ или лежитъ на желѣзѣ. Вонъ въ томъ котлѣ, — видите, красный, узкій, — такъ и сидѣтъ

нельзя: лежи на боку, да подставляй грудь. Трудная работа этимъ глухарямъ.

— Глухарямъ?

— Ну, да, рабочіе ихъ такъ прозвали. Отъ этого трезвона они часто гложутъ. И вы думаете, много они получаютъ за такую каторжную работу? Гроши! Потому что тутъ ни навыка, ни искусства не требуется, а только мясо... Сколько тяжелыхъ впечатлѣній на всѣхъ этихъ заводахъ, Рябининъ, еслибы вы знали! Я такъ радъ, что раздѣлался съ ними навсегда. Просто жить тяжело было сначала, смотря на эти страданія.. То ли дѣло съ природою! Она не обижаетъ, да и ее не нужно обижать, чтобы эксплуатировать ее, какъ мы, художники... Поглядите-ка, поглядите, каковъ сѣроватый тонъ!—вдругъ перебилъ онъ самъ себя, показывая на уголокъ неба:—пониже, вонъ тамъ, подъ облачкомъ... прелесть! Съ зеленоватымъ оттѣнкомъ. Вѣдь вотъ напиши такъ,—ну, точно такъ,—не повѣрятъ! А вѣдь не дурно, а?

Я выразилъ свое одобреніе, хотя, по правдѣ сказать, не видѣлъ никакой прелести въ грязно-зеленомъ клочкѣ петербургскаго неба, и перебилъ Дѣдова, начавшаго восхищаться еще какимъ-то «тонкомъ» около другого облачка.

— Скажите мнѣ, гдѣ можно посмотрѣть такого глухаря?

— Поѣдьте вмѣстѣ на заводъ; я вамъ покажу всякую штуку. Если хотите, даже завтра. Да ужъ не вздумалось ли вамъ писать этого глухаря? Бросьте,—не стоить; неужели нѣтъ ничего повеселѣе? А на заводъ, если хотите, хоть завтра.

Сегодня мы поѣхали на заводъ и осмотрѣли все. Видѣли и глухаря. Онъ сидѣлъ, согнувшись въ комокъ, въ углу котла и подставлялъ свою грудь подъ удары молота. Я смотрѣлъ на него полчаса; молотъ поднялся и опустился сотни разъ. Глухарь корчился. Я его напишу.

Дѣдовъ.

Рябининъ выдумалъ такую глупость, что я не знаю, что о немъ и думать. Третьяго дня я возилъ его на металлическій заводъ; мы провели тамъ цѣлый день, осмотрѣли все, причемъ

я объяснилъ ему всякія производства (къ удивленію моему, я забылъ очень немногое изъ своей профессіи), наконецъ я привелъ его въ котельное отдѣленіе. Тамъ, въ это время, работали надъ огромнѣйшимъ котломъ. Рябининъ влѣзъ въ котель и полчаса смотрѣлъ, какъ работникъ держитъ заклепки клещами. Вылѣзъ оттуда блѣдный и разстроенный; всю дорогу назадъ молчалъ. А сегодня объявляетъ мнѣ, что уже началъ писать этого рабочаго-глухаря. Что за идея! Что за поэзія въ грязи! Здѣсь я могу сказать, никого и ничего не стѣсняясь, то, чего, конечно, не сказалъ бы при всѣхъ: по-моему, вся эта мужичья полоса въ искусствѣ—чистое уродство. Кому нужны эти пресловутые Рѣпинскіе «Бурлаки»? Написаны они прекрасно, нѣтъ спора; но вѣдь и только. Гдѣ здѣсь красота, гармонія, изящное? А не для воспроизведенія ли изящнаго въ природѣ и существуетъ искусство?

То ли дѣло у меня! Еще нѣсколько дней работы—и будетъ кончено мое тихое «Майское утро». Чуть колышется вода въ прудѣ, ивы склонили на него свои вѣтви; востокъ загорается; мелкія перистыя облачка окрасились въ розовый цвѣтъ. Женская фигурка идетъ съ крутого берега съ ведромъ за водой, спугивая стаю утокъ. Вотъ и все; кажется, просто, а между тѣмъ я ясно чувствую, что поэзіи въ картинѣ выпло пропасть. Вотъ это—искусство! Оно настраиваетъ человѣка на тихую, кроткую задумчивость, смягчаетъ душу. А Рябининскій «Глухарь» ни на кого не подѣйствуетъ уже потому, что всякій постарается поскорѣе убѣжать отъ него, чтобы только не мозолить себѣ глаза этими безобразными тряпками и этой грязной рожей. Странное дѣло, вѣдь вотъ въ музыкѣ не допускаются, рѣжущія ухо, непріятныя созвучія; отчего-жь у насъ въ живописи можно воспроизводить положительно безобразные, отталкивающіе образы? Нужно поговорить объ этомъ съ Л.; онъ напишетъ статейку и, кстати, прокатитъ Рябинина за его картину. И стоять.

Рябининъ.

Уже двѣ недѣли, какъ я пересталъ ходить въ академію: сижу дома и пишу. Работа совершенно измучила меня, хотя

идеть успѣшно. Слѣдовало бы сказать не *хотя*, а *тѣмъ болѣе*, что идти успѣшно. Чѣмъ ближе она подвигается къ концу, тѣмъ все страшнѣе и страшнѣе кажется мнѣ то, что я написалъ. И кажется мнѣ еще, что это — моя послѣдняя картина.

Вотъ онъ сидитъ передо мною въ темномъ углу котла, скорчившійся въ три погибели, одѣтый въ лохмотья, задыхающійся отъ усталости человѣкъ. Его совсѣмъ не было бы видно, если бы не свѣтъ, проходящій сквозь круглыя дыры, просверленные для заклепокъ. Кружки этого свѣта пестрятъ его одежду и лицо, свѣтятся золотыми пятнами на его лохмотьяхъ, на включенной и закопченной бородѣ и волосахъ, на багрово-красномъ лицѣ, по которому струится потъ, смѣшанный съ грязью, на жилистыхъ надорванныхъ рукахъ и на измученной широкой и впалой груди. Постоянно повторяющійся страшный удар обрушивается на котелъ и заставляетъ несчастнаго глухаря напрягать всѣ свои силы, чтобы удержаться въ своей невѣроятной позѣ. Насколько можно было выразить это напряженное усиліе, я выразилъ.

Иногда я кладу палитру и кисти и усаживаюсь подальше отъ картины, прямо противъ нея. Я доволенъ ею; ничто мнѣ такъ не удавалось, какъ эта ужасная вещь. Бѣда только въ томъ, что это довольство не ласкаетъ меня, а мучаетъ. Это — не написанная картина, это — созрѣвшая болѣзнь. Чѣмъ она разрѣшится, я не знаю; но чувствую, что послѣ этой картины мнѣ нечего уже будетъ писать. Птицеловы, рыболовы, охотники со всякими экспрессіями и типичнѣйшими фیزیоміями, вся эта «богатая область жанра» — на что мнѣ теперь она? Я ничѣмъ уже не подѣйствую такъ, какъ этимъ глухаремъ, если только подѣйствую...

Сдѣлалъ опытъ: позвалъ Дѣдова и показалъ ему картину. Онъ сказалъ только: «ну, батенька!» — и развелъ руками. Усѣлся, смотрѣлъ полчаса, потомъ молча простился и ушелъ. Кажется, подѣйствовало... Но вѣдь онъ все-таки художникъ.

И я сижу передъ своей картиной, и на меня она дѣйствуетъ. Смотришь и не можешь оторваться, чувствуешь за эту изму-

ченную фигуру. Иногда мнѣ даже слышатся удары молота... Я отъ него сойду съ ума. Нужно его завѣсить.

Полотно покрыло мольбертъ съ картиной, а я все сижу передъ нимъ, думая все о томъ же неопредѣленномъ и страшномъ, что такъ мучаетъ меня. Солнце заходитъ и бросаетъ ко-сую желтую полосу свѣта сквозь пыльные стекла на мольбертъ, завѣшанный холстомъ. Точно человѣческая фигура. Точно Духъ земли въ «Фаустѣ»; какъ его изображаютъ нѣмецкіе актеры.

...Wer ruft mir?

Кто позвалъ тебя? Я, я самъ создалъ тебя здѣсь. Я вызвалъ тебя, только не изъ какой-нибудь «сферы», а изъ душевнаго, темнаго котла, чтобы ты ужаснулъ своимъ видомъ эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Прийди, силою моей власти прикованный къ полотну, смотри съ него на эти фраки и трѣны, крикни имъ: я—язва растущая! Ударь ихъ въ сердце, лиши ихъ сна, стань передъ ихъ глазами призракомъ. Убей ихъ спокойствіе, какъ ты убилъ мое...

Да, какъ бы не такъ!... Картина кончена, вставлена въ золотую раму; два сторожа потащатъ ее на головахъ въ академію на выставку. И вотъ она стоитъ среди «полдней» и «закатовъ», рядомъ съ «дѣвочкой и кошкой», недалеко отъ какого-нибудь трехсаженнаго «Іоанна Грознаго, вонзающаго посохъ въ ногу Васьки Шибанова». Нельзя сказать, чтобы на нее не смотрѣли, будутъ смотрѣть и даже хвалить. Художники начнутъ разбирать рисунокъ. Рецензенты, прислушиваясь къ нимъ, будутъ чиркать карандашиками въ своихъ записныхъ книжкахъ. Одинъ г. В. С. выше заимствованій! онъ смотритъ, одобряетъ, превозноситъ, пожимаетъ мнѣ руку. Художественный критикъ Л. съ яростью набросится на бѣднаго глухаря, будетъ кричать: но гдѣ же тутъ изящное, скажите, гдѣ тутъ изящное?—и разругаетъ меня на всѣ корки. Публика... Публика проходитъ мимо безстрастно или съ непріятною гримасой, дамы—тѣ только скажутъ: «ah, comme il est laid ce глухарь», и поплывутъ къ слѣдующей картинѣ, къ «дѣвочкѣ съ кошкой», смотря на которую, скажутъ: «очень, очень мило», или что-нибудь по-

добное. Солидные господа съ бычьими глазами поглазбуютъ, потупятъ взоры въ каталогъ, испустятъ не то мычанье, не то сопѣнье и благополучно прослѣдуютъ далѣе. И развѣ только какой-нибудь юноша или молодая дѣвушка останются со вниманіемъ и прочтутъ въ измученныхъ глазахъ, страдальчески смотрящихъ съ полотна, вопль, вложенный мною въ нихъ.

Ну, а дальше? Картина выставлена, куплена и увезена. Что-жь будетъ со мною? То, что я пережилъ въ послѣдніе дни, погибнетъ ли безслѣдно? Кончится ли все только однимъ волненіемъ, послѣ котораго наступитъ отдыхъ съ исканіемъ невинныхъ сюжетовъ?... Невинные сюжеты... Вдругъ вспомнилось мнѣ, какъ одинъ знакомый хранитель галлерей, составляя каталогъ, кричалъ писцу:

— Мартыновъ, пиши! № 112. Первая любовная сцена: дѣвушка срываетъ розу.

— Мартыновъ, еще пиши! № 113. Вторая любовная сцена: дѣвушка нюхаетъ розу.

Буду ли я попрежнему нюхать розу? Или сойду съ рельсовъ?

Всеволодъ Гаршинъ.

Д у м а.

(Изъ Т. Г. Шевченко).

Льется рѣчка въ сине море,
 Да не вытекаетъ;
 Ищетъ доли козачина,
 Долюшки не знаетъ.
 И пошелъ казакъ по свѣту...
 Бьется сине-море,
 Бьется сердце въ немъ, а дума
 Говоритъ про горе:
 «Ты куда идешь—не спросишь?
 На кого покинуть
 Мать, отца, красу-дѣвицу?
 Бросилъ все—и сгинулъ?»

«Тамъ не тѣ—иные люди;
 Тяжко жить межъ ними:
 Нѣ съ кѣмъ будетъ подѣлиться
 Думами своими».
 И сидитъ казакъ надъ моремъ..
 Бьется сине-море.
 Думалъ, доля повстрѣчаетъ,—
 Повстрѣчало горе.
 Журавли домой несутся
 Цѣлыми стадами.
 Зарыдалъ казакъ: дороги
 Поросли терніями.

Н. Гербель.

Д о л я.

(Изъ Т. Г. Шевченко).

Ты не лукавила со мною;
 Ты другомъ, братомъ и сестрою
 Была бѣднягѣ. Ты взяла,
 Еще дитѣй, меня за руку
 И въ школу, мальчика, свела
 Къ дьячку разгульному въ науку.
 «Учись! Современемъ, дитя,
 Людьюми мы будемъ», ты сказала.
 Я сталъ учиться,—вѣрилъ я,—
 И научился... Ты-жь солгала:
 Что мы за люди?... Нужды нѣтъ!
 Мы не лукавили съ тобою,
 Мы прямо шли—и за ссбою
 У насъ зерна неправды нѣтъ.
 О, доля, да, ты не лукава,
 Тебѣ, какъ другу, вѣрю я!
 Идемъ же дальше,—дальше слава,
 А слава—заповѣдь моя.

Н. Гербель.

Лёвка.

(Изъ записокъ доктора Крупова).

Un auteur anglais a dit avec raison, que le déluge universel a peut-être autant dérangé le monde moral que le monde physique et que les cervelles humaines conservent encore l'empreinte des chocs qu'elles ont alors reçus.

Я родился въ одномъ помѣщичьемъ селеніи на берегу Оки. Отецъ мой былъ діакономъ. Возлѣ нашего домика жилъ пономарь, человѣкъ хилый, бѣдный и обремененный огромной семьей. Въ числѣ восьми дѣтей, которыми Богъ наградила пономаря, былъ одинъ ровесникъ мнѣ; мы съ нимъ вмѣстѣ росли, всякій день вмѣстѣ играли на огородѣ, на погостѣ или передъ нашимъ домомъ. Я ужасно привязался къ товарищу, дѣлился съ нимъ всякими лакомствами, которыя мнѣ давали, даже кралъ для него спрятанные куски пирога, кашу — и передавалъ черезъ плетень. Пріятеля моего всѣ звали «косой Лёвка» — и онъ дѣйствительно немного косилъ глазами. Чѣмъ болѣе я возвращаюсь къ воспоминаніямъ о немъ, чѣмъ внимательнѣе перебираю ихъ, тѣмъ яснѣе мнѣ становится, что пономаревъ сынъ былъ ребенокъ необыкновенный: шести лѣтъ онъ плавалъ въ Окѣ какъ рыба, лазилъ на самыя большія деревья, уходилъ за нѣсколько верстъ изъ дома одинъ-одинѣхонекъ и въ то же время былъ чрезвычайно непонятливъ, разсѣянъ, даже тупъ. Лѣтъ восьми насъ стали учить грамотѣ; я чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ бѣгло читалъ псалтырь, а Лёвка не дошелъ и до складовъ. Азбука сдѣлала переворотъ въ его жизни. Отецъ его употреблялъ всевозможныя средства, чтобы развить умственныя способности сына — и не кормилъ дня по два, и сѣкъ такъ, что недѣли двѣ рубцы были видны, и половину волосъ выдралъ ему, и запиралъ въ темный чуланъ на сутки — все было тщетно: грамота Лёвкѣ не давалась; по безжалостное обращеніе онъ понималъ, ожесточился и выносилъ все, что съ нимъ дѣлали, съ какой-

то злой сосредоточенностью; это ему не дешево стоило: онъ исхудалъ, видъ его, выражавшій прежде дѣтскую кротость, совершеннѣйшую беззаботность, сталъ выражать дикость запуганнаго звѣря; на отца онъ не могъ смотрѣть безъ ужаса и отвращенія; еще года два побился пономарь съ сыномъ, убѣдился наконецъ, что онъ глупопорожденный, и предоставилъ ему полную волю. Освобожденный Лѣвка сталъ пропадать цѣлые дни, приходилъ домой грѣться или укрываться отъ непогоды, молчалъ, сидѣлъ въ углу, и иногда бормоталъ про себя разныя слова и велъ дружбу только съ двумя существами — со мной и съ своей собачонкой. Собачонку эту онъ приобрѣлъ неотъемлемымъ правомъ. Разъ, когда Лѣвка лежалъ на пескѣ у рѣки, крестьянскій мальчикъ вынесъ щенка, привязалъ ему камень на шею и, подойдя къ крутому берегу, гдѣ рѣка была поглубже, бросилъ туда собачонку; въ одинъ мигъ Лѣвка отправился за нею, нырнулъ и черезъ минуту явился на поверхности со щенкомъ: съ тѣхъ поръ они не разлучались.

Лѣтъ двѣнадцати меня отправили въ семинарію. Два года я не былъ дома, на третій я пріѣхалъ провести вакаціонное время къ отцу. На другой день утромъ рано я надѣлъ свой затрапезный халатъ и хотѣлъ идти осматривать знакомыя мѣста; только я вышелъ на дворъ, у плетня стоитъ Лѣвка, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ бывало я ему давалъ пироги; онъ бросился ко мнѣ съ такою радостію, что у меня слезы навернулись. «Сенька, — говорилъ онъ: — я всю ночь ждалъ Сеньку. Груша вчера молвила: Сенька пріѣхалъ...» и онъ ласкался ко мнѣ какъ звѣрокъ, съ какимъ-то подобоострастіемъ: смотрѣлъ мнѣ въ глаза и спрашивалъ:—«ты не сердись на меня? Всѣ сердиты на Левку,—не сердись, Сенька,—я плакать буду; не сердись,—я тебѣ векшу поймаю».—Я бросился обнимать Лѣвку; это такъ ново, такъ необыкновенно было для него, что онъ просто зарыдалъ и, схвативши мою руку, цѣловалъ ее; я не могъ отдернуть руки,—такъ крѣпко онъ держалъ ее. — «Пойдемъ-ка въ лѣсъ»,—сказалъ я ему.—«Пойдемъ далеко, хорошо будетъ, очень хорошо», отвѣчалъ онъ.—Мы пошли. Онъ велъ версты четыре лѣскомъ, подымавшимся въ гору, и вдругъ вы-

велъ на открытое мѣсто: внизу текла Ока, кругомъ верстъ на двадцать одинъ изъ превосходнѣйшихъ сельскихъ видовъ Великороссіи.—«Здѣсь хорошо,—говорилъ Левка: здѣсь хорошо.—Что же хорошо?—спросилъ я его, желая испытать, что онъ скажетъ. Онъ остановилъ на мнѣ какой-то невѣрный взглядъ, лицо его приняло другое, болѣзненное выраженіе, онъ грустно покачалъ головой и сказалъ: «Левка не знаетъ, такъ хорошо!» Мнѣ стало стыдно... Левка сопровождалъ меня почти на всѣхъ прогулкахъ: его безграничная преданность, его непрерывное вниманіе трогали меня.—Привязанность его ко мнѣ была понятна,—одинъ я обходился съ нимъ ласково. Въ семьѣ имъ гнушались, стыдились его; крестьянскіе мальчики дразнили его, даже взрослые мужики дѣлали ему всякаго рода обиды и оскорбленія, приговаривая: юродиваго обижать не надо; юродивый—Божій человѣкъ. Онъ обыкновенно ходилъ задомъ села; когда же ему случалось идти улицей, однѣ собаки обходились съ нимъ по-человѣчески: онѣ, издали завидя его, виляли хвостомъ, прыгали на шею, лизали лицо и ласкались до того, что Лѣвка, тронутый до слезъ, садился середь дороги и цѣлые часы занималъ изъ благодарности своихъ пріятелей до тѣхъ поръ, пока какой-нибудь крестьянскій мальчишка пускалъ камень на удачу, въ собакъ ли попадетъ, или въ бѣднаго мальчика: тогда онъ вставалъ и убѣгалъ въ лѣсъ.

Передъ сельскимъ праздникомъ мой отецъ, видя, что Лѣвка весь въ лохмотьяхъ, велѣлъ моей матери сшить ему длинную рубашку и отдать ее сестрамъ шить. Управитель, услышавши объ этомъ, отпустилъ толстаго домашняго сукна для него на кафтанъ, показавши двойное число аршинъ въ расходной книгѣ, вѣроятно, отъ разсѣянности. При господскомъ домѣ былъ приставленъ одинъ старикъ лакей; онъ былъ приставленъ не столько по способности смотрѣть за чѣмъ-нибудь, сколько за пьянство; этотъ лакей, фельдшеръ и портной, весьма затруднился, когда онъ получилъ отъ управляющаго приказаніе шить Лѣвкѣ кафтанъ, какъ сшить дурацкій кафтанъ; сколько онъ ни думалъ, все выходилъ довольно обыкновенный кафтанъ, а потому онъ и рѣшился на отчаянное средство—пришить къ нему красный

воротникъ изъ остатковъ какой-то старинной ливреи. Лёвка былъ ужасно радъ и новой рубашкѣ, и кафтану, и красному воротнику, хотя, по правдѣ сказать, радоваться было нечему. Доселѣ крестьянскіе мальчишки нѣсколько удерживались, но когда на Лёвку надѣли парадный мундиръ дурака, тогда гоненія и насмѣшки удвоились. Однѣ женщины были на сторонѣ Лёвки: подавали ему лепешки, квасу и браги, и говорили иногда привѣтливое слово. Мудрено-ли, впрочемъ, что бабы и дѣвки, пользовавшіяся патріархальнымъ покровомъ мужниной и отцовской власти, сочувствовали безвинно гонимому мальчику. Мнѣ было чрезвычайно жаль Лёвку, но помочь было ему трудно; унижая его, добрые люди, казалось, росли въ своихъ собственныхъ глазахъ; серьезно съ нимъ никто слова не молвилъ, даже мой отецъ, отъ природы вовсе не злой человѣкъ, хотя исполненный предразсудковъ и лишенный всякаго снисхожденія,—и тотъ иначе не могъ обращаться съ Лёвкой, какъ унижая его и возвышая себя.

— А что, Лёвка, — говаривалъ онъ ему, — любишь ли ты кого-нибудь больше этого пса смердящаго?

— Люблю, — отвѣчалъ Левка. — Сеньку люблю больше.

— Видишь, губа-то не дура... Ну, а еще кого любишь?

— Никого, — простодушно отвѣчалъ Левка.

— Ахъ, глупорожденный, глупорожденный! Ха, ха, ха... А мать родную меньше любишь развѣ?

— Меньше, — отвѣчалъ Левка.

— А отца твоего?

— Совсѣмъ не люблю.

— О, Господи Боже мой... Чти отца твоего и мать твою, а ты дуракъ что? Безсмысленныя животныя — и тѣ любятъ родителей; какъ же разумному подобію Божію не любить ихъ?

— Какія животныя?

— Ну, какія? — псы, лошади... всякія.

— Вотъ наша кошка Машка любитъ моего Шарика больше всѣхъ.

И батюшка мой хохоталъ отъ души, прибавляя: «блаженни нищіе духомъ!»

Я уже тогда оканчивалъ риторикѣ, и потому не трудно понять, отчего мнѣ въ голову пришло написать «Слово о богопротивномъ обращеніи людей съ глупорожденными». Желая расположить мое сочиненіе по всѣмъ квинтилиановскимъ правиламъ, съ соблюденіемъ законовъ хриіа, я, обдумывая его, пошелъ по дорогѣ; шелъ, шелъ и, не замѣчая того, очутился въ лѣсу; такъ какъ я вошелъ въ него безъ вниманія, то и неудивительно, что потерялъ дорогу; искалъ, искалъ и еще болѣе терялся въ лѣсу, — вдругъ слышу знакомый лай Лѣвкиной собаки; я пошелъ въ ту сторону, откуда раздавался онъ, и вскорѣ былъ встрѣченъ Шарикомъ; шагахъ въ пятнадцать отъ него подъ большимъ деревомъ спалъ Лѣвка. — Я тихо подошелъ къ нему и остановился, — какъ кротко, какъ спокойно спалъ онъ! — Онъ былъ дурень собой на первый взглядъ; бѣлые волосы прямо падали съ головы странной формы, онъ былъ блѣденъ, съ бѣлыми рѣсницами и къ тому же съ нѣсколько косившимися глазами. Но никто никогда не далъ труда себѣ взглянуть въ его лицо, отталкивающее съ перваго раза. Это странное лицо вовсе не было лишено своей красоты, особенно теперь, какъ онъ спалъ: щеки его немного раскраснѣлись, косые глаза не были видны, черты его выражали такой миръ душевный, такое спокойствіе, что становилось завидно. Тутъ, стоя передъ этимъ спящимъ дурачкомъ, меня поразила мысль, которая преслѣдовала всю жизнь: «Съ чего люди, окружающіе его, воображаютъ, что они лучше его? Съ чего считаютъ себя вправѣ презирать, гнать это существо, тихое, доброе, — никогда никому не сдѣлавшее вреда?» И какой-то таинственный голосъ шепталъ мнѣ: оттого, что и всѣ остальные — юродивые, только на свой ладъ, и сердятся, что Лѣвка глупъ по своему. Странная мысль эта выгнала изъ головы у меня хриіа и метафоры; я оставилъ спящаго Лѣвку и пошелъ на удачу бродить по лѣсу, съ какой-то внутреннею боязнью перевертывая и вглядываясь въ новую мысль. Въ самомъ дѣлѣ, думалось мнѣ, чѣмъ Лѣвка хуже другихъ, — *тѣмъ*, что онъ не приноситъ никакой пользы? Ну, а пятьдесятъ поколѣній, которыя жили только для того на этомъ клочкѣ земли, чтобъ ихъ дѣти не умерли съ голоду

сегодня, и чтобъ никто не зналъ, зачѣмъ они жили, и для чего они жили,— гдѣ же польза ихъ существованія? *Наслажденіе жизнию?*—Да они ею никогда не наслаждались, по крайней мѣрѣ гораздо менѣе Лёвки. Для нихъ жизнь была тяжелая ноша и скучный обрядъ. Дѣти?—Дѣти могутъ быть и у Лёвки: это дѣло не хитрое.—Зачѣмъ Лёвка не работаетъ?—Да что же за бѣда, онъ ни у кого ничего не просить, кое-какъ сытъ. Чѣмъ же онъ хуже умниковъ, которые, несмотря на то, что работаютъ денно и нощно, не богаче его? Работа—не наслажденіе какое-нибудь: кто можетъ обойтись безъ работы, тотъ не работаетъ. Да вотъ чего далеко искать: одинъ человѣкъ, дѣлающій пользу, т.-е. не вообще пользу, а хоть себѣ, Ѳедоръ Григорьевичъ, во все ничего не дѣлаетъ, польза сама дѣлается для него. Чѣмъ Лёвка сытъ, я не понимаю, но знаю одно, что какъ онъ ни тупъ, но если наберетъ ягодъ или грибовъ, то его не такъ легко убѣдить, что онъ можетъ ѣсть однѣ неспѣлыя ягоды, да сыроѣшки, а что вкусныя ягоды и бѣлые грибы принадлежать... ну, хоть отцу Василью. Лёвка никогда дома не живетъ, не исполняетъ обязанностей сына, брата. Ну, а тѣ, которые дома, развѣ исполняютъ? У него есть еще семь братьевъ и сестеръ, живущихъ въ постоянной ссорѣ между собой, которая длится вродѣ тридцатилѣтней войны... И я постоянно возвращался къ основной мысли, что причина всѣхъ гоненій на Лёвку состоитъ въ томъ, что Лёвка глупъ на свой особенный салтыкъ, а другіе *повально глупы*; и такъ какъ картежники не любятъ неиграющихъ, и пьяницы непьющихъ, такъ и они ненавидятъ бѣднаго Лёвку. Однако диссертациі я не писалъ; для меня, ученика семинаріи, казалось труднымъ и неприличнымъ писать о такихъ предметахъ. Насъ учили все эксординъ, экспозиціи и перорациі писать о предметахъ возвышенныхъ.

Вакаціонное время прошло, пора мнѣ было возвращаться. Когда батюшка мой заложилъ пѣгую лошадку въ телѣгу, чтобъ отвезть меня, Лёвка пришелъ опять къ плетню; онъ не совался впередъ, а прислонившись къ веревѣ, обтиралъ по временамъ грязнымъ, спущеннымъ рукавомъ рубашки слезы. Мнѣ было очень грустно его оставить; я подарилъ ему всякихъ бездѣлу-

шекъ; онъ на все смотрѣлъ печально. Когда же я сталъ садиться въ телѣгу, Лёвка подошелъ ко мнѣ и такъ печально, такъ грустно сказалъ мнѣ: «Сенька, прощай!» а потомъ подаль мнѣ Шарика и сказалъ: «возьми, Сенька, Шарика себѣ». Дороже предмета у Лёвки не было и онъ отдавалъ его! Я насили уговорилъ его оставить Шарика у себя, что пусть онъ будетъ мой, но живетъ у него. Мы поѣхали. Лёвка побѣждалъ лѣсомъ и выбѣжалъ на гору, мимо которой шла дорога; я увидѣлъ его и сталъ махать платкомъ. Онъ стоялъ неподвижно на горѣ, опираясь на свою палку.

Мысль о Лёвкѣ, о причинѣ его страннаго развитія не выходила изъ головы моей. Она мѣшала мнѣ вполне предаваться учению, она не давала мнѣ покою. Хотя я твердо зналъ ничтожность всего тѣлеснаго и суетность всего физическаго, но мало-по-малу во мнѣ развилось непреодолимое желаніе изучать медицину. Когда я впервые заикнулся объ этомъ отцу моему, онъ вошелъ въ неописанный гнѣвъ: «Ахъ, ты баловень презорный!—кричалъ онъ на меня:—вотъ какъ схвачу за вихры, такъ ты у меня и узнаешь, гдѣ раки зимуютъ. Дѣды твои и отцы не хуже тебя были, да не выходили изъ своего званія... Думалъ ли я подъ старость дожить до такого сраму? Вотъ и радость, приносимая сыномъ, отъ плоти моей рожденнымъ! Не одинъ виднѣ пономарь посѣщенъ Богомъ, не даромъ съ дуракомъ валандается: вѣдь свой своему поневолѣ братъ... А все ты, малодушная баба, испортила его», прибавилъ батюшка, обращаясь къ матушкѣ. Почему именно матушка была виновата, что я хотѣлъ учиться медицинѣ, этого я не знаю.—Господи!—думалъ я:—да что же я сдѣлалъ такое? Мнѣ хочется заняться медициной, а кто послушаетъ батюшку, право подумаетъ, что я просился на большую дорогу людей рѣзать.—Даль я мѣсто родительскому гнѣву, промолчалъ: черезъ мѣсяць завелъ-было опять рѣчь: куда ты! Съ перваго слова такъ его лицо и зардѣло. Дѣлать нечего, жду особаго случая, а самъ только и занимаюсь латынью. Отецъ ректоръ славно зналъ латинскій языкъ и полюбилъ меня за мои успѣхи. Я выбралъ минуту добрую, да въ ноги ему; онъ такъ кротко и благо-

склонно сказалъ: «встань, сынъ мой, встань, что тебѣ надобно, говори просто?» Я разсказалъ ему о моемъ желаніи и просилъ замолвить батюшкѣ. Отецъ-ректоръ покачалъ головой и много говорилъ со мною, убѣждая кротко оставить мое намѣреніе, совѣтовалъ болѣе молиться, чтобы Богъ послалъ силы противостоять искушенію, отвлекающему отъ лѣченія духовнаго къ лѣченію плотскому,—о важности сана, которому я посвященъ самимъ рожденіемъ. Потомъ напомнилъ четвертую заповѣдь и далъ прочесть сочиненіе Нила Сорскаго о монашескомъ житіи. Я все исполнилъ въ точности, но не могъ переломить влеченія къ медицинѣ. На вакаціи поѣхалъ я опять домой. Лѣвка еще болѣе одичалъ: онъ добровольно помогалъ пастуху пасти стадо и почти никогда не ходилъ домой. Меня однако онъ принялъ съ прежней безграничной, нечеловѣческой привязанностью; грустно мнѣ было на него смотрѣть, особенно потому, что языкъ у него какъ-то сдѣлался невнятенъ, сбивчивъ и взглядъ сталъ еще страшнѣе. Черезъ годъ мнѣ приходилось окончить курсъ, времени было нечего: батюшка уже готовилъ мнѣ мѣсто. Что было дѣлать? Утопающій за соломенку хватается. Слышалъ я отъ дворовыхъ людей, что сынъ нашего помѣщика (они жили это лѣто въ деревнѣ) добрый баринъ, ласковый, — я и подумалъ: еслибъ онъ черезъ Ѳедора Григорыча попросилъ обо мнѣ моего отца, можетъ-быть тотъ, видя такое высокое ходатайство, и согласился бы. Почему не сдѣлать опыта. Надѣлъ я свой нанковый сюртукъ, тщательно вычистилъ сапоги, повязалъ голубой шейный платокъ и пошелъ въ господскій домъ. На дорогѣ попался Лѣвка.—Сенька,—кричалъ онъ мнѣ,—въ лѣсъ: Лѣвка гнѣздо нашелъ, птички маленькія, едва пушокъ, матери нѣтъ, грѣть надо, кормить надо.

— Нельзя, братъ, иду вонъ туда.

— Куда?

— Въ барскій домъ.

— У... у!..—сказалъ Лѣвка поморщившись,—у... у!.. Знаешь дядю Захара? Весной дядю Захара били, Лѣвка смотрѣлъ, дядя Захаръ здоровый, сильный, стоитъ — его бьютъ, онъ ничего. Дядя Захаръ, дуракъ, сильный, большой. Не ходи, Сенька!—

Нѣтъ, не бось, меня никто не прибьетъ.—Онъ долго смотрѣлъ мнѣ въ слѣдъ, потомъ свиснулъ своей собакѣ и побѣжалъ къ лѣсу,—но едва я успѣлъ сдѣлать двадцать шаговъ, Лѣвка нагналъ меня. — Лѣвка идетъ туда, Сеньку бить будутъ, Лѣвка камнемъ пустить. При этомъ онъ мнѣ показалъ булыжникъ величиною съ индѣйче яйцо. Но мѣры его были не нужны; люди отказали, говоря, что господа чай кушаютъ. Потомъ я раза три приходилъ,—все недосугъ молодому барину; послѣ третьяго раза я не пошелъ больше. И чѣмъ же это молодой баринъ такъ занятъ? Вѣчно ходить или съ ружьемъ, или такъ просто безъ всякаго дѣла ходить по полямъ, особенно гдѣ крестьянскія дѣвки работаютъ; неужели не могъ оторваться на полчаса? Судьба, наконецъ, показала выходъ, хотя и очень горестный. Въ селѣ Порѣчѣѣ, верстѣ восемь отъ насъ, былъ храмовой праздникъ; село Порѣчье казенное, торговое, побогаче нашего, праздникъ у нихъ справлялся отлично. Тамошній священникъ (онъ же и благочинный) приглашалъ насъ всѣхъ. Мы отправились наканунѣ: отецъ Василій съ попадѣй, батюшка одинъ, причетники и я — для того, чтобъ отслужить всенощную соборнѣ. Праздникъ былъ великолѣпный, фабричныя пѣли на клиросѣ.—Во время литургіи на другой день пріѣхалъ самъ капитанъ-исправникъ съ супругой и двумя засѣдателями. Голова за мѣсяцъ собиралъ по двадцати пяти копѣекъ серебромъ съ тягла начальству на закуску. Словомъ сказать, было весело и шумно; одинъ я грустилъ; грустилъ я и потому, что намѣренія мои не удавались, и по непривычкѣ къ многолюдію; вина я тогда еще въ ротъ не бралъ, въ хороводахъ ходить не умѣлъ, а пуще всего мнѣ досадно было, что всѣ перемигивались, глядя на меня и на дочь порѣчинскаго священника. Я приглянулся ея отцу и онъ предлагалъ, какъ только кончу курсъ, женить на дочери, а онъ мѣсто уступить и обзаведеніе: самому-де на отдыхъ пора. А дочь-то его, несмотря на то, что ей было не болѣе 18 или 19 лѣтъ, была похожа не на человѣка, а на нѣсколько животныхъ, неправильно сложенныхъ, такъ что она напоминала образъ и подобіе аладій. Такимъ образомъ поскучавъ въ Порѣчѣѣ до вечера, я вышелъ на берегъ рѣки,—откуда ни

возьмись, Лёвка тутъ: и онъ бѣдняга приходилъ на праздникъ, самъ не замѣчая зачѣмъ. Стоитъ лодочка, причаленная на берегу, и покачивается; давно я не катался,—смерть захотѣлось мнѣ ѣхать домой по водѣ. На берегу нѣсколько мужичковъ лежали въ синихъ кафтанахъ, въ новыхъ поярковыхъ пляпахъ съ лентами; выпивши, они лихо пѣли пѣсни во все молодецкое горло (по счастью въ селѣ Порѣчѣе не было слабонервной барыни).

— Позвольте, молъ, православные, лодочку взять прокатиться до Раздеришина?—сказалъ я имъ.—«Съ нашимъ удовольствіемъ, мы-де вашего батюшку знаемъ, извольте взять». И двое парней бросились съ величайшею готовностію отвязывать лодку. Я сѣлъ править, а Лёвка грести, и поѣхали мы по Окѣ рѣкѣ, чудо какъ весело. Между тѣмъ смерклося и мѣсяцъ взошелъ, съ одной стороны было такъ свѣтло, а съ другой черныя тѣни береговъ бѣжали на лодку. Подымавшаяся роса, какъ дымъ огромнаго пожара, бѣжала на лунномъ свѣтѣ и колебалась по водѣ, будто отдираясь отъ нея. Пѣсни празднующихъ Порѣчанъ раздавались, носимыя вѣтромъ, то тише, то громче. Лёвка былъ доволенъ, мочилъ безпрестанно свою голову водою и стряхивалъ мокрые волосы, падавшіе въ глаза «Сенька, хорошо?» говорилъ онъ, спрашивая, и когда я отвѣчалъ ему:—очень, очень хорошо, — онъ былъ въ неопisanномъ восторгѣ. Лёвка умѣлъ мастерски грести; онъ отдавался въ какомъ-то опьяненіи ритму разсѣкаемыхъ волнъ и вдругъ подымалъ оба весла и лодка тихо-тихо скользила по волнамъ, и тишина, заступавшая мѣрные удары, клонила къ какому-то полусну. Мы приѣхали поздно ночью. Лёвка отправился съ лодкой назадъ, а я—домой. Только-что я легъ спать, слышу—подъѣзжаетъ телѣга къ нашему дому; матушка (она не ѣздила на праздникъ, ей что-то не здоровилось) послушала, да и говоритъ: «это не нашей телѣги скрипъ»; стучать въ ворота: «треба, молъ, вѣрно какая-нибудь. Не вставайте, матушка, я схожу посмотрѣть», да и вышелъ; отворяю калитку, порѣчинскій голова стоитъ, немпожко хмѣльной.—«Что ты, Макаръ Лукичъ?»—Да что, говоритъ, дѣлю-

то неладно, вотъ что. — «Какое дѣло?» — спросилъ я, а самъ дрожу всѣмъ тѣломъ, какъ въ лихорадкѣ. — Вѣстимо насчетъ отца діакона. — Я бросился къ телѣгѣ: на ней лежалъ батюшка безъ движенія. «Что съ нимъ такое?» — А Богъ его вѣдаетъ, все былъ здоровъ, да вдругъ что ни есть прилучилось. — Мы внесли батюшку въ комнату; лицо его посинѣло, я теръ его руки, спрыскивалъ водой; мнѣ показалось, что онъ хрипитъ; я за пьянымъ портнымъ, — на этотъ разъ онъ еще былъ довольно трезвъ; схватилъ ланцетъ, бинтъ и побѣждалъ со мною. Раза три просѣкъ руку, кровь не идетъ; я стоялъ ни живой, ни мертвый. Портной вынулъ табакерку, понюхалъ, потомъ началъ грязнымъ платкомъ обтирать инструментъ. — Что? — спросилъ я какимъ-то не своимъ голосомъ. — Не нашего ума дѣло-сь. Кондрашка-то сильно хватилъ вашего батюшку, — отвѣчалъ онъ. — Матушка упала безъ чувствъ, у меня сдѣлался ознобъ, а ноги такъ и подкашивались.

Послѣ смерти отца матушка не препятствовала, и я выхлопоталъ себѣ наконецъ увольненіе изъ семинаріи и вступилъ въ медико-хирургическую академію студентомъ. Читая печатную программу лекцій, я увидѣлъ, что адъюнктъ, если останется время, будетъ читать студентамъ, оканчивающимъ курсъ, *общую психіатрію*. Что такое психіатрія? Товарищи объяснили мнѣ, что это наука о душевныхъ болѣзняхъ. Я съ нетерпѣніемъ ждалъ конца года и хотя еще мнѣ не приходилось слушать психіатрію, явился на первую лекцію адъюнкта. Но я тогда такъ мало былъ образованъ по медицинской части, что почти ничего не понималъ, хотя и, слушалъ съ такимъ вниманіемъ, что до сихъ поръ помню краснорѣчивое вступленіе адъюнкта. «Психіатрія, — говорилъ онъ, — безспорно самая трудная часть врачебной науки, самая необъясненная, самая необъяснимая; но за то нравственное вліяніе ея самое благотворное. Ни метафизика, ни философія не могутъ такъ ясно доказать независимость души отъ тѣла, какъ психіатрія. Она учитъ, что всѣ душевныя болѣзни — разстройства тѣлесныя, она учитъ, слѣдовательно, что безъ тѣла, безъ этой скудельной оболочки, духъ былъ бы вѣчно здравъ», и проч. Я уже въ семи-

нарія зналъ Вольфіеву философію, но совершенно ясно изложенія адъюнкта не понималъ, хотя и радовался, что самая медицина служить доказательствомъ высшихъ метафизическихъ соображеній.

Когда я порядкомъ изучилъ пріуготовительныя части, я сталъ мало-по-малу дѣлать собственныя наблюденія надъ одержимыми душевными болѣзнями, тщательно записывая все видѣнное въ особую книгу. Воскресные и праздничные дни проводилъ я почти всегда въ домѣ умалишенныхъ. И всѣ наблюденія мои вели постоянно къ мысли, поразившей меня при созерцаніи спящаго Лѣвки, т.-е. что официальные, патентованные сумасшедшіе въ сущности и не глупѣе и не поврежденнѣе всѣхъ остальныхъ, но только самобытнѣе, сосредоточеннѣе, независимѣе, оригинальнѣе, даже, можно сказать, геніальнѣе. Станные поступки безумныхъ, ихъ раздражительную злобу объяснялъ я себѣ тѣмъ, что все окружающее нарочно сердить ихъ и ожесточаетъ непрерывнымъ противорѣчіемъ, жесткимъ отрицаніемъ ихъ *idée fixe*. Замѣчательно, что люди дѣлаютъ все это только въ домахъ умалишенныхъ: внѣ ихъ существуетъ между больными какое-то тайное соглашеніе, какая-то патологическая деликатность, по которой безумные взаимно признають пункты помѣшательства другъ въ другѣ. Да, все несчастіе явно-безумныхъ — ихъ гордая самобытность и упрямая неуступчивость, за которую по-вально-поврежденные мстятъ имъ со всею злобою слабыхъ характеровъ, запирають въ клѣтки отклонившихся отъ общаго безумія и поливають ихъ холодною водой.

Намъ жизнь дана, чтобы любить,
Любить безъ мѣры, безъ предѣла,
И всѣмъ страдальцамъ посвятить
Свой разумъ, кровь свою и тѣло.

Намъ жизнь дана, чтобъ утѣшать
Униженныхъ и оскорбленныхъ,
И согрѣвать, и насыщать
Нуждой и скорбью угнетенныхъ.

Намъ жизнь дана, чтобъ до конца
Бороться съ тьмой, бороться съ ложью,
И сѣять въ братскія сердца
Одну святую правду Божью.

А правда въ томъ, чтобы любить,
Любить безъ мѣры, безъ предѣла,
И всѣмъ страдальцамъ посвятить
Свой разумъ, кровь свою и тѣло.

И. Горбуновъ-Посадовъ.

Карьеристъ.

(ОЧЕРКЪ).

Я познакомился съ нимъ въ гимназiи, гдѣ мы вмѣстѣ учились. Тогда еще сталъ онъ обращать на себя вниманiе товарищей. Ничѣмъ не отличаясь, повидимому, отъ другихъ мальчиковъ, маленький Ягозинъ (такъ его звали) всегда, между тѣмъ, былъ отличаеми начальниками. Въ концѣ перваго года онъ такъ подружился съ сыномъ директора, что былъ принятъ у послѣдняго наравнѣ съ сыномъ, — ставился даже въ примѣръ ему. Директорша была безъ памяти отъ маленькаго Ягозина.

Помню, разъ, въ началѣ лѣта, нѣсколькихъ воспитанниковъ взяли на дачу. Мы разбѣжались немедленно по лѣсу и начали объѣдаться земляникой. Ягозинъ не съѣлъ ягоды; тщательно выбирая кусточки съ лучшими ягодами, онъ составилъ изъ нихъ маленький букетъ, перевязалъ его красиво ниточкой и, тайно ускользнувъ отъ насъ, вернулся на дачу и преподнесъ свой букетъ директоршѣ; мы узнали объ этомъ послѣ, во время обѣда, отъ самой начальницы.

Шестнадцать лѣтъ можно было его видѣть, въ день именинъ директора, сидящаго за роялемъ рядомъ съ его дочерью и разыгрывающимъ въ четыре руки какую-то сонату, нарочно сочиненную для этого торжественнаго случая.

Откуда взялись вдругъ музыкальныя способности? Гдѣ вы-

учился онъ играть? Гдѣ, наконецъ, пашель для этого время?... все это оставалось совершенно покрыто мракомъ.

Вечеромъ, въ тотъ же день, во время бала, онъ танцеваль съ такою ловкостью, съ такимъ юношескимъ увлеченіемъ вскрикивалъ:—«*Les dames en avant, s'il vous plait*»,—что рѣшительно обворожилъ всѣхъ присутствовавшихъ.

Мы перешли затѣмъ въ университетъ и провели тамъ съ грѣхомъ пополамъ четыре года. Учились мы посредственно.

Послѣ выпускнаго экзамена всѣ разбрелись въ разныя стороны; Ягозинъ остался въ Петербургѣ и былъ немедленно кѣмъ-то опредѣленъ на дѣйствительную службу.

Тутъ на нѣкоторое время я потерялъ его изъ виду. Но прошло три-четыре года, я узналъ,—онъ сдѣлался необходимымъ лицомъ у новой своей начальницы: состоялъ, должно быть, по особымъ порученіямъ. Мимо службы онъ занималъ еще мѣсто секретаря двухъ дамскихъ благотворительныхъ комитетовъ; одного,—«имѣющаго цѣлью снабженія даровымъ мыломъ бѣдныхъ трубочистовъ», другого—«по снабженію нюхательнымъ табакомъ бѣдныхъ слѣпыхъ старухъ»; сверхъ того, онъ управлялъ танцами чуть ли не на всѣхъ балахъ столицы.

Встрѣтись съ нимъ въ этотъ періодъ его жизни, я выразилъ наивно удивленіе: какимъ образомъ ухитрился онъ, чтобы пропикнуть такъ скоро въ большой свѣтъ.

— Любезный другъ!—возразилъ онъ, прищуриваясь и поглядывая куда-то своими сѣрыми глазками (что доказывало, что въ эту минуту онъ вовсе обо мнѣ не думалъ),—любезный другъ! надо провинчиваться въ люди, *il faut se pousser au monde!*... прибавилъ онъ и быстро пустился догонять какого-то важнаго сановника, проходившаго по другой сторонѣ улицы.

Не знаю, въ чемъ собственно заключались служебныя обязанности Ягозина; я встрѣчалъ его всюду, на всѣхъ пунктахъ, гдѣ только въ урочный часъ показывается «высшее дворянство», какъ печаталось когда-то въ афишахъ увеселительныхъ садовъ: на Дворцовой набережной, на мосткахъ Лѣтнаго сада, въ соборахъ при торжественныхъ молебствіяхъ (больше впрочемъ на виду при выходѣ изъ церкви), въ ложахъ театра во время

антрактовъ, въ креслахъ во время представленія, на вечерахъ играющимъ вмѣстѣ со старушками, на балахъ танцующимъ всегда въ видной парѣ. Тамъ имѣлъ онъ почтительный, какой-то наклоненный видъ; здѣсь, во время танцевъ, лицо его отражало юношескую восторженность... Подпрыгивая и перевертываясь съ замѣчательною ловкостью, онъ и здѣсь впрочемъ, въ танцахъ, находилъ возможность придавать лицу что-то солидное, сдержанное и почтительное, когда проносился мимо особъ существеннаго вѣса; словомъ, онъ былъ вездѣ, поспѣвалъ всюду, являлся во всѣхъ видахъ, такъ что меня ни мало бы не удивило, если-бъ сказали, что, подобно знаменитому Пинетти, онъ въ одну и ту же минуту выѣхалъ изъ всѣхъ заставъ Петербурга.

Его физическая подвижность, сама по себѣ уже весьма замѣчательная, была ничтожна передъ способностью передвигаться нравственно.

Дѣйствуетъ ли такъ сырой климатъ Петербурга или скрываются другія болѣе сложныя причины, но вы замѣтили, вѣроятно, что въ большинствѣ петербургскихъ жителей присутствуетъ что-то разварное и раскислое, преобладаетъ какая-то разслабленность и черносливность, хотя тутъ же надо сказать—и вы, вѣроятно, также это замѣтили—свойства эти нисколько не мѣшаютъ служить съ успѣхомъ и приносить пользу себѣ и отечеству.

Не смотря на то, что Ягозинъ былъ кровнымъ дѣтищемъ Петербурга, дышалъ со дня рожденія воздухомъ Невскаго проспекта и сосалъ молоко охтенской кормилицы, онъ весь тѣмъ не менѣ состоялъ изъ одной быстроты и прыткости. Встрѣчаются иногда нѣмцы такого темперамента, — особенно часто между берлинскими маклерами, комиссіонерами всякаго рода и старшими кельнерами: приземистые, бѣлокурые съ бѣловатыми рѣсницами на красной кожѣ, а между тѣмъ такъ вотъ и прыгаютъ, какъ стрекоза, готовые, кажется, вскочить въ зрачки, прежде чѣмъ вскочутъ вамъ въ карманъ.

Противъ такихъ нѣмцевъ Ягозинъ тѣмъ отличался, что могъ сдерживать свою быстроту по желанію; въ крайнихъ случаяхъ

могъ даже сосредоточить [ее въ своихъ сѣрыхъ,— чисто уже славянскихъ глазахъ; они выражали тогда попеременно все, что подходило къ случаю: юношескую, почти дѣтскую откровенность, пониманіе самаго тонкаго, неуловимаго намека, безпредѣльное повиновеніе, преданность, восторженное благоговѣніе передъ старшими, стремительное желаніе исполнить трудное порученіе... Но всего не перечестъ, что могли выражать глаза Ягозина. Онъ, конечно, много надъ собою работалъ, чтобы приобрѣсти такія способности; но надо быть справедливымъ: много также дано было ему самой природой.

* Быстрое повышение Ягозина удивляло многихъ; меня удивляло другое: я не понималъ, когда находилъ онъ время для исполненія служебныхъ обязанностей. Оставивъ скоро за собою всѣхъ своихъ товарищей по службѣ, онъ, помнится, тогда еще составилъ себѣ репутацію молодого человѣка съ большимъ тактомъ и замѣчательными практическими способностями. Лица, которыя приписывали его успѣхи одной юркости, которыя называли его «Петербургскимъ Леотаромъ, съ тою разницей, что Леотаръ упражнялся въ циркѣ и надо было тратить деньги, чтобы его видѣть, тогда какъ Ягозинымъ можно было любоваться всюду и притомъ даромъ», — такія лица, я увѣренъ, говорили только изъ зависти.

Прошло еще три-четыре года. Ягозинъ занималъ уже видное мѣсто при одной высокопоставленной особѣ. Форма службы Ягозина нисколько не измѣнилась; онъ и прежде, замѣтьте, не столько служилъ собственно, какъ это дѣлали его товарищи, сколько всегда состоялъ при комъ-нибудь и всегда скорѣе въ качествѣ приближеннаго, домашняго человѣка, чѣмъ чиновника.

Но здѣсь, главнымъ образомъ, отражалось на Ягозинѣ высокое вліятельное положеніе его начальника.

— И вотъ,—говорилъ Ягозинъ при каждомъ новомъ повышеніи,—и говорилъ всегда голосомъ невинности съ оттѣнкомъ чего-то скорбнаго противъ людскаго недоброжелательства,—вотъ непремѣнно скажутъ, что я тутъ интриговалъ, добивался!... А я... я и не зналъ даже! Все это вышло совершенно случайно;

я тутъ столько же виновать, сколько... сколько какой-нибудь Воскресенскій мостъ...

Разъ какъ-то, въ этотъ самый періодъ его карьеры, отправилъ я къ нему общаго нашего товарища по университету, — человѣка въ высшей степени смиреннаго, хотя и выпедшаго изъ университета первымъ кандидатомъ съ золотой медалью; по протекціи у него не было, онъ попалъ съ перваго шага на службу въ провинцію, и тамъ, какъ это нерѣдко случается, завязъ и засорился. Обстоятельства заставили его искать мѣста въ Петербургѣ. Опредѣленіе зависѣло отъ начальника Ягозина, т. е. какъ зависѣло? — сказать слово — и дѣло сдѣлано. Я совѣтовалъ ему обратиться прежде къ Ягозину: — и товарищъ дѣтства, и человѣкъ вліятельный.

— Ну, что? — спросилъ я, когда онъ вернулся ко мнѣ на другой день.

— Сомнѣваюсь въ успѣхѣ! — отвѣчалъ онъ, тяжело опускаясь въ кресло.

— Какъ? отчего?...

— Начать съ того, я, кажется, попалъ не во-время. Хотя Ягозинъ принималъ меня ласково, но я не могъ не замѣтить въ его приѣмѣ присутствіе чего-то... Точно его обезпокоили... Его, вѣроятно, ждали, или онъ ждалъ кого-нибудь, или просто былъ очень занятъ, какъ всѣ здѣсь у васъ въ Петербургѣ, и я помѣшалъ ему... Онъ обѣщалъ однако жъ. Но все это вообще было какъ-то странно... очень странно!... прибавилъ товарищъ заботливо пожимая губами.

— Что-жъ онъ сказалъ?

— Стали мы уже прощаться, онъ и говорить мнѣ: «Я, любезный другъ, скажу тебѣ откровенно, какъ старому товарищу: ты, пожалуйста, не сердись... Но есть такое обстоятельство... Оно, если хочешь, ничтожно, но все таки оно не совсѣмъ ладно... Оно можетъ, при твоёмъ представленіи, неблагоприятно повліять на начальника...

« — Что-жъ такое? — спрашиваю.

« — Ты знаешь, говоритъ онъ, въ этихъ случаяхъ весьма важно первое впечатлѣніе... Откровенно скажу тебѣ боюсь затвой ростъ...

«Я удивился.

«— Какъ, ростъ?—спрашиваю.

«— Да, любезный другъ, долженъ предупредить тебя: онъ, т.-е. начальникъ, имѣетъ предубѣжденіе противъ людей высокаго роста... Что-жъ дѣлать! у этихъ лицъ есть также свои слабости. Потомъ, говорить, еще другое обстоятельство...

«— Что?—спрашиваю.

«— Да вотъ, говорить, этотъ басъ.

«— Какой басъ?—спрашиваю, ничего уже не понимая.

«— У тебя, говорить, такой густой басъ;—этого онъ также не выносить: громкій голосъ дѣйствуетъ на него раздражительно. Оно, если хочешь, весьма понятно; самъ посуди: съ утра до вечера комитеты, аудіенціи, засѣданія, совѣщанія, доклады, представленія... поневолѣ нервы раздражатся!... Но, пожалуй, и это бы еще ничего, если-бы...

«— Развѣ еще что? Боже мой!...—спрашиваю.

«— Извини, прошу тебя, говорить онъ,—не надо смотрѣть на вещи настоящимъ образомъ; у всякаго человѣка есть свои слабости... ну, а этимъ лицамъ онъ и подавно извинительны. Я желаю тебѣ добра, и потому только рѣшаюсь предупредить тебя: я замѣтилъ, когда ты начинаешь объясняться, ты поминутно дѣлаешь нервныя движенія, дергаешь головою и даже махаешь руками...

«— Да, говорю, правда... ну, такъ что-жъ?...

«— Ничего, рѣшительно ничего,—поспѣшно возразилъ Ягозинъ:—только вотъ этого-то онъ особенно не выносить... Состоя, понимаешь, темперамента сыраго, онъ любитъ прежде всего спокойствіе. Предупреждаю тебя: когда будешь ему представляться,—войди тихо; не начинай говорить, прежде чѣмъ тебя не спросятъ; спросятъ—отвѣчай, понижая голосъ насколько возможно; — отвѣчай коротко, сжато; словомъ, говори какъ можно меньше; больше слушай и старайся стоять спокойно, даже, если можешь, съ опущенными глазами... Что-жъ дѣлать! говорить, и тутъ началъ похлопывать меня по плечу.—Что-жъ дѣлать, не намъ, говорить, передѣлывать свѣтъ; надо, братецъ, говорить,—жить со свѣтомъ!!»...

— Сомнѣваюсь въ успѣхѣ!—заклучилъ товарищъ.

И, дѣйствительно, онъ былъ правъ. Ему не удалось даже представиться; съ того самаго дня не было даже возможности добиться вторичнаго свиданія съ Ягозинымъ.

Вскорѣ весь служебный людъ столицы заговорилъ о новомъ назначеніи Ягозина.

Разсматривая это назначеніе съ точки зрѣнія обыкновенной логики, — оно, по своей специальности, не имѣло ничего общаго съ прежней служебной дѣятельностью Ягозина, діаметрально даже съ нею расходилось. Но здѣсь руководствомъ служили другія, болѣе основательныя соображенія: прежде всего здѣсь нуженъ былъ человѣкъ надежный, вѣрный и преданный. Къ тому же лицо, занимавшее прежде мѣсто, давно надоѣло, прискучило; въ его управленіи найдены были нѣкоторыя запущенія; говорилось даже о злоупотребленіяхъ. Лицо это, конечно, было немедленно повышено, ему дали аренду, оставили полный окладъ прежняго содержанія и перевели въ другое вѣдомство. Ягозинъ занялъ его мѣсто.

Со свойственною ему ловкостью онъ окружилъ себя специалистами, и здѣсь точно такъ же,—благодаря своимъ помощникамъ,—не замедлилъ обратить на себя вниманіе начальства.

Два года спустя, вспомнивъ обо мнѣ случайно, онъ пригласилъ меня къ себѣ на свадьбу: онъ женился на свояченицѣ новаго своего начальника, дѣвицѣ красивой и богатой, но имѣвшей несчастье обставить себя въ глазахъ свѣта какой-то таинственной, романической исторіей.

Ягозинъ, переѣхавъ въ домъ жены, отдѣлалъ его съ большимъ вкусомъ и началъ давать обѣды, получившіе въ скоромъ времени извѣстность.

Мимо гастрономическихъ качествъ и рѣдкости винъ, обѣды эти отличались еще внимательнымъ подборомъ гостей, въ силу тѣхъ пріятныхъ или полезныхъ отношеній, которыя могли послѣдовать какъ для гостей, такъ и для хозяина дома.

Если вы были нужны Ягозину, вы непременно встрѣтили бы у него за обѣдомъ только тѣхъ лицъ, которыя, по его соображеніямъ, были вамъ нужны или пріятны особеннымъ

образомъ. Если вы вовсе не были нужны хозяину или даже были ему непріятны, но, по соображеніямъ его, могли доставить удовольствіе лицу, которое было ему нужно, вы также непременно приглашались.

Въ Петербургѣ, гдѣ каждому болѣе или менѣе всегда что-нибудь очень нужно,—всѣ ѣздили на обѣды Ягозина съ большимъ увлеченіемъ. Выходя отъ него, часто бранили его съ такимъ же увлеченіемъ, находя, напримѣръ, что онъ ничего больше, какъ выскочка, и спаржа его несравненно тоньше, чѣмъ вчера у княгини Зинзивѣвой; но Ягозинъ приобрѣлъ съ лѣтами философскую складку ума и мало обращалъ вниманія на такія мелкія пересуды. Замѣтивъ успѣхъ своихъ обѣдовъ, онъ сдѣлался строже въ выборѣ своихъ гостей; разумѣется, это только прибавило къ числу желающихъ получать приглашеніе.

Въ этотъ періодъ времени Ягозинъ уже давно пересталъ танцовать; быстрота была въ немъ все та же, не смотря на нѣкоторую округленность живота; но она скорѣе перешла и установилась въ его нравственной природѣ. Къ тому же танцы не шли уже къ звѣздѣ, камергерскому ключу и лентѣ, которую со свойственнымъ ему тактомъ носилъ онъ скромно подъ жилетомъ. Въ свѣтѣ отдавался онъ висту; на балахъ предпочиталъ бесѣду, умѣя ее разнообразить до виртуозности; онъ могъ начать съ игриваго скабрёзнаго анекдота, перейти къ глубокому въ пратическомъ смыслѣ замѣчанію и кончить даже поэтической мыслью. Все зависѣло отъ собесѣдника.

— М-г Ягозинъ,—сказала ему на балѣ подлѣ меня графиня Ливенская, указывая на вальсирующую молодежь,—что вы на это скажете?...

— Да, графиня,—возразилъ онъ, подавляя вздохъ и съ чувствомъ разслабленной нѣжности въ голосъ,—да, и мы когда-то съ вами такъ танцовали; теперь смотрю и восхищаюсь этой маленькой волшебницей, которую зовутъ вашей дочкой...

— Vous êtes toujours charmant!—проговорила старая графиня, думая сейчасъ же пригласить Ягозина присѣсть на видное мѣсто и приступить съ умнымъ человѣкомъ къ пріятной

бесѣдѣ. Но умный человѣкъ быстро юркнулъ въ толпу, гибко, какъ вьюнъ, скользнулъ между тѣсными рядами зрителей,—и вдругъ... вдругъ остановился, придавъ своему лицу выраженіе смиренной кротости и глубокаго благоговѣнія... Я посмотрѣлъ въ ту сторону: изъ дверей выступала сановитая вліятельная особа...

Такимъ видѣлъ я Ягозина въ послѣдній разъ передъ моимъ отъѣздомъ изъ Петербурга.

Д. Григоровичъ.

Поединокъ.

(Изъ «Братьевъ Карамазовыхъ»).

Въ Петербургѣ, въ кадетскомъ корпусѣ пробылъ я долго, почти восемь лѣтъ, и съ новымъ воспитаніемъ многое заглушилъ изъ впечатлѣній дѣтскихъ, хотя и не забылъ ничего. Взамѣнъ того принялъ столько новыхъ привычекъ, и даже мнѣній, что преобразился въ существо почти дикое, жестокое и нелѣпое. Лоскъ учтивости и свѣтскаго обращенія вмѣстѣ съ французскимъ языкомъ приобрѣлъ, а служившихъ намъ въ корпусѣ солдатъ считали мы всѣ какъ за совершенныхъ скотовъ, и я тоже. Я то можетъ быть, больше всѣхъ, ибо изъ всѣхъ товарищей былъ на все воспріимчивѣе. Когда вышли мы офицерами, то готовы были проливать свою кровь за оскорбленную полковую честь нашу, о настоящей же чести почти никто изъ насъ и не зналъ, что она такое есть, а узналъ бы, такъ осмѣялъ бы ее тотчасъ же самъ первый. Пьянствомъ, дебоширствомъ и ухарствомъ чуть не гордились. Не скажу, чтобы были скверные; всѣ эти молодые люди были хорошіе, да вели то себя скверно, а пуще всѣхъ я. Главное то, что у меня объявился свой капиталъ, а потому и пустился я жить въ свое удовольствіе, со всѣмъ юнымъ стремленіемъ, безъ удержу, попылъ на всѣхъ парусахъ. Но вотъ что дивно: читалъ я тогда и книги, и даже съ большимъ удовольствіемъ; Библію же одну никогда почти въ то время не развертывалъ, но никогда и не разставался съ нею, а возилъ ее по-

всюду съ собой: во истину берегъ эту книгу, самъ того не вѣдая, «на день и часть, на мѣсяцъ и годъ». Прослуживъ этакъ года четыре, очутился я, наконецъ, въ городѣ К., гдѣ стоялъ тогда нашъ полкъ. Общество городское было разнообразное, многослюдное и веселое, гостепріимное и богатое, принимали же меня вездѣ хорошо, ибо былъ я отъ роду нрава веселаго, да къ тому же и слылъ не за бѣднаго, что въ свѣтѣ значить не мало. Вотъ и случилось одно обстоятельство, послужившее началомъ всему. Привязался я къ одной молодой и прекрасной дѣвицѣ, умной и достойной, характера свѣтлаго, благороднаго, дочери почтенныхъ родителей. Люди были не малые, имѣли богатство, вліяніе и силу, меня принимали ласково и радушно. И вотъ покажись мнѣ, что дѣвица расположена ко мнѣ сердечно,—разгорѣлось мое сердце при таковой мечтѣ. Потомъ ужъ самъ постигъ, и вполне догадался, что, можетъ быть, вовсе я ея и не любилъ съ такой силой, а только чтилъ ея умъ и характеръ возвышенный, чего не могло не быть. Себялюбіе, однако же, помѣшало мнѣ сдѣлать предложеніе руки въ то время: тяжело и страшно показалось разстаться съ соблазнами развратной, холостой и вольной жизни въ такихъ юныхъ лѣтахъ, имѣя вдобавокъ и деньги. Намеки, однако-жъ, я сдѣлалъ. Во всякомъ случаѣ отложилъ на малое время всякій рѣшительный шагъ. А тутъ вдругъ случись командировка въ другой уѣздъ на два мѣсяца. Возвращаюсь я черезъ два мѣсяца, и вдругъ узнаю, что дѣвица уже замужемъ, за богатымъ пригороднымъ помѣщикомъ, человѣкомъ хотъ и старѣе меня годами, но еще молодымъ, имѣвшимъ связи въ столицѣ и въ лучшемъ обществѣ, чего я не имѣлъ, человѣкомъ весьма любезнымъ и сверхъ того образованнымъ, а ужъ образованія-то я не имѣлъ вовсе. Такъ я былъ пораженъ этимъ неожиданнымъ случаемъ, что даже умъ во мнѣ помутился. Главное же въ томъ заключалось, что, какъ узналъ я тогда же, былъ этотъ молодой помѣщикъ женихомъ ея уже давно, и что самъ же я встрѣчалъ его множество разъ въ ихнемъ домѣ, но не примѣчалъ ничего, ослѣпленный своими достоинствами. Но вотъ это то по преимуществу меня и обидѣло: какъ же это, всѣ почти знали, а я одинъ

ничего не зналъ? И почувствовалъ я вдругъ злобу нестерпимую. Съ краской на лицѣ началъ вспоминать, какъ много разъ почти высказывалъ ей любовь мою, а такъ какъ она меня не останавливала и не предупредила, то, стало-быть, вывелъ я, надо мною смѣялась. Потомъ, конечно, сообразилъ и припомнилъ, что нисколько она не смѣялась, сама же, напротивъ, разговоры такіе шутливо прерывала, и зачинала на мѣсто ихъ другіе,—но тогда сообразить этого я не смогъ, и запылалъ **отмщеніемъ**. Вспоминаю съ удивленіемъ, что **отмщеніе** сіе и гнѣвъ мой были мнѣ самому до **крайности** тяжелы и противны потому, что имѣя **характеръ** легкій, не могъ подолгу ни на кого сердиться, а потому какъ бы самъ искусственно разжигалъ себя, и сталъ, наконецъ, безобразенъ и нелѣпъ. Выждалъ я время, и разъ въ большомъ обществѣ удалось мнѣ вдругъ «соперника» моего оскорбить будто бы изъ-за самой посторонней причины, подсмѣяться надъ однимъ мнѣніемъ его объ одномъ важномъ тогда событіи,—въ двадцать шестомъ году дѣло было,—и подсмѣяться, говорили люди, удалось остроумно и ловко. Затѣмъ вынудилъ у него объясненіе, и уже до того обошелся при объясненіи грубо, что вызовъ мой онъ принялъ, несмотря на огромную разницу между нами, ибо былъ я и моложе его, незначителенъ и чина малаго. Потомъ ужъ я твердо узналъ, что принялъ онъ вызовъ мой какъ бы тоже изъ ревниваго ко мнѣ чувства: ревновалъ онъ меня и прежде, немножко, къ женѣ своей, еще тогда невѣстѣ; теперь же подумалъ, что если та узнаетъ, что онъ оскорбленіе отъ меня перенесъ, а вызвать на посидипокъ не рѣшился, то чтобы не стала она невольно презирать его и не колебалась любовь ея. Секунданта я досталъ скоро, товарища, нашего же полка поручика. Тогда хоть и преслѣдовались поединки жестоко, но была на нихъ какъ бы даже мода между военными,—до того дикіе нарастаютъ и укрѣпляются иногда предрасудки. Былъ въ исходѣ іюнь, и вотъ встрѣча наша на завтра, за городомъ, въ семь часовъ утра,—и во истину случилось тутъ со мной нѣчто какъ бы роковое. Съ вечера, возвратившись домой, свирѣпый и безобразный, разсердился я на моего деньщика Аванасія, и ударилъ его изо

всей силы два раза по лицу, такъ что окровавилъ ему лицо. Служилъ онъ у меня еще недавно и случалось и прежде, что ударялъ его, но никогда съ такою звѣрскою жестокостью. И вѣрите-ли, милые, сорокъ лѣтъ тому минуло времени, а припоминаю и теперь о томъ со стыдомъ и мукой. Легъ я спать, заснулъ часа три, встаю, уже начинается день. Я вдругъ поднялся, спать болѣе не захотѣлъ, подошелъ къ окну, отворилъ,—отпиралось у меня въ садъ, вижу, восходитъ солнышко, тепло, прекрасно, зазвенѣли птички. Что же это, думаю, ощущаю я въ душѣ моей какъ бы нѣчто позорное и низкое? Не отъ того ли, что кровь иду проливать? Нѣтъ, думаю, какъ-будто и не отъ того. Не отъ того ли, что смерти боюсь, боюсь быть убитымъ? Нѣтъ, совсѣмъ не то, совсѣмъ даже не то... И вдругъ сейчасъ же и догадался въ чемъ было дѣло: въ томъ, что я съ вечера избилъ Аѳанасія! Все мнѣ вдругъ снова представилось, точно вновь повторилось: стоитъ онъ предо мной, а я бью его съ размаху прямо въ лицо, а онъ держитъ руки по швамъ, голову прямо, глаза выпучилъ какъ во фронтѣ, вздрагиваетъ съ каждымъ ударомъ и даже руки поднять, чтобы заслониться, не смѣетъ,—и это человѣкъ до того доведенъ, и это человѣкъ бьетъ человѣка! Экое преступленіе! Словно игла острая прошла мнѣ всю душу насквозь. Стою я какъ ошалѣлый, а солнышко-то свѣтитъ, ласточки-то радуются, сверкаютъ, а птички-то, птички-то Бога хвалятъ... Закрылъ я обѣими ладонями лицо, повалился на постель, и заплакалъ навзрыдъ. И вспомнилъ я тутъ моего брата Маркела, и слова его предъ смертью слугамъ: «Милые мои, дорогіе, за чтѣ вы мнѣ служите, за чтѣ меня любите, да и стою ли я чтобы служить то мнѣ?» «Да, стою-ли», вскочило мнѣ вдругъ въ голову. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ я такъ стою, чтобы другой человѣкъ, такой же какъ и я, образъ и подобіе Божіе, мнѣ служилъ? Такъ и вонзился мнѣ въ умъ въ первый разъ въ жизни тогда этотъ вопросъ. «Матушка, кровинушка ты моя, во истину всякій предъ всѣми за всѣхъ виновать, не знаютъ только этого люди, а если бъ узнали—сейчасъ былъ бы рай!» Господи, да неужто же и это неправда», плачу я и думаю, — «во истину я за

всѣхъ, можетъ быть, всѣхъ виновнѣе, да и хуже всѣхъ на свѣтѣ людей!» И представилась мнѣ вдругъ вся правда, во всемъ просвѣщеніи своемъ: что я иду дѣлать? Иду убивать человѣка добраго, умнаго, благороднаго, ни въ чемъ предомню невиновнаго, а супругу его тѣмъ на вѣки счастья лишу, измучаю и убью. Лежалъ я такъ на постели ничкомъ, лицомъ въ подушку и не замѣтилъ вовсе, какъ и время прошло. Вдругъ входитъ мой товарищъ, поручикъ, за мной, съ пистолетами: «А, говорить, вотъ это хорошо, что ты уже всталъ, пора, идемъ». Заметался я тутъ совсѣмъ потерялся, вышли мы, однако же, садиться въ коляску: «Погоди здѣсь время, говорю ему,—я въ одинъ мигъ сбѣгаю, кошелекъ забылъ». И вбѣжалъ одинъ въ квартиру обратно, прямо въ комнату къ Аѳанасію: «Аѳанасій, говорю,—я вчера тебя ударилъ два раза по лицу, прости ты меня»,—говорю. Онъ такъ и вздрогнулъ, точно испугался, глядитъ,—и вижу я, что этого мало, мало, да вдругъ, такъ какъ былъ въ эполетахъ, то бухъ ему въ ноги лбомъ до земли: «Прости меня!» говорю. Тутъ ужъ онъ и совсѣмъ обомлѣлъ: «Ваше благородіе, батюшка, баринъ, да какъ вы... да стою ли я»... и заплакалъ вдругъ самъ, точно какъ давеча я, ладонями обѣими закрылъ лицо, повернулся къ окну и весь отъ слезъ такъ и затрясся, я же выбѣжалъ къ товарищу, влетѣлъ въ коляску, «вези», кричу: «Видалъ, кричу ему,—побѣдителя,—вотъ онъ предъ тобою!» Восторгъ во мнѣ такой, смѣюсь всю дорогу, говорю, говорю, не помню ужъ что и говорилъ. Смотритъ онъ на меня: «Ну, братъ, молодецъ же ты, вижу, что поддержишь мундиръ». Такъ пріѣхали мы на мѣсто, а они уже тамъ насъ ожидаютъ. Разставили насъ въ двѣнадцати шагахъ другъ отъ друга, ему первый выстрѣлъ,—стою я предъ нимъ веселый, прямо лицомъ къ лицу, глазомъ не смигну, любя на него гляжу, знаю что сдѣлаю. Выстрѣлилъ онъ, капельку лишь оцарапало мнѣ щеку да за ухо задѣло; «слава Богу, кричу, не убили человѣка!» да свой-то пистолетъ схватилъ, оборотился назадъ, да швыркомъ, вверхъ, въ лѣсъ и пустилъ: «Туда, кричу,—тебѣ и дорога!» Оборотился къ противнику: «Милостивый государь, говорю,—простите меня, глупаго

молодого человѣка, что по винѣ моей васъ разобидѣлъ, а теперь стрѣлять въ себя заставилъ. Самъ я хуже васъ въ десять кратъ, а пожалуй еще и того больше. Передайте это той особѣ, которую чтите больше всѣхъ на свѣтѣ». Только что я это проговорилъ,—такъ всѣ трое они и закричали: «Помилуйте, говорить мой противникъ,—разсердился даже,—если вы не хотѣли драться, къ чему же беспокоили?»—«Вчера, говорю, ему,—еще глупъ былъ, а сегодня поумнѣлъ», весело такъ ему отвѣчаю.—«Вѣрю про вчерашнее, говорить,—но про сегодняшнее трудно заключить по вашему мнѣнію».—«Браво, кричу ему, въ ладоши захопалъ,—я съ вами и въ этомъ согласенъ, заслужилъ!»—«Будете ли, милостивый государь, стрѣлять или нѣтъ?»—«Не буду, говорю,—а вы, если хотите, стрѣляйте еще разъ, только лучше бы вамъ не стрѣлять». Кричатъ и секунданты, особенно мой: «Какъ это, срамить полкъ, на барьерѣ стоя прощенія просить; еслибы только я это зналъ!» Сталъ я тутъ предъ ними предъ всѣми и уже не смѣюсь: «Господа мои, говорю, неужели такъ теперь для нашего времени удивительно встрѣтить человѣка, который бы самъ покался въ своей глупости и повиился въ чемъ самъ виноватъ публично?»—«Да не на барьерѣ же», кричитъ мой секундантъ опять.—«То-то вотъ и есть, отвѣчаю имъ,—это то вотъ и удивительно, потому слѣдовало бы мнѣ повиниться только что прибыли сюда, еще прежде ихняго выстрѣла, и не вводить ихъ въ великій и смертный грѣхъ, но до того безобразно, говорю, мы сами себя въ свѣтѣ устроили, что поступить такъ было почти и невозможно, ибо только послѣ того какъ я выдержалъ ихъ выстрѣлъ въ двѣнадцать шагахъ, слова мои могутъ что-нибудь для нихъ теперь значить, а если бы до выстрѣла, какъ прибыли сюда, то сказали бы просто: трусь, пистолета испугался и нечего его слушать. Господа, воскликнулъ я вдругъ отъ всего сердца, посмотрите кругомъ на дары Божіи: небо ясное, воздухъ чистый, травка нѣжная, птички, природа прекрасная и безгрѣшная, а мы, только мы одни безбожные и глупые и не понимаемъ, что жизнь есть рай, ибо стоить только намъ захотѣть понять и тотчасъ же онъ настаетъ во всей красотѣ своей, обнимемся мы и заплачемъ»... Хо-

тѣлъ я и еще продолжать, да не смогъ, духъ даже у меня захватило, сладостно, юно такъ, а въ сердцѣ такое счастье, какого и не ощущалъ никогда во всю жизнь. «Благодаразумно все это и благочестиво, говорить мнѣ противникъ,—и во всякомъ случаѣ человѣкъ вы оригинальный».—Смѣйтесь, смѣюсь и я ему,—а потомъ сами похвалите».—«Да я готовъ и теперь, говорить, похвалить, извольте я протяну вамъ руку, потому, кажется, вы дѣйствительно искренній человѣкъ».—«Нѣтъ, говорю, сейчасъ не надо, а потомъ, когда я лучше сдѣлаюсь и уваженіе ваше заслужу, тогда протяните,—хорошо сдѣлаете». Воротились мы домой, секунданта мой всю-то дорогу бранится, а я то его цѣлую. Тотчасъ всѣ товарищи прослышали, собрались меня судить въ тотъ же день: «мундиръ, дескать, замараль, пусть въ отставку подаетъ». Явились и защитники: «выстрѣлъ, говорятъ, всё же онъ выдержалъ».—«Да, но побоялся другихъ выстрѣловъ и попросилъ на барьерѣ прощенія».—«А кабы побоялся выстрѣловъ, возражаютъ защитники, такъ изъ своего бы пистолета сначала выстрѣлилъ, прежде чѣмъ прощенія просить, а онъ въ лѣсъ его еще заряженный бросилъ—нѣтъ, тутъ что-то другое вышло, оригинальное». Слушаю я, весело мнѣ на нихъ глядя: «Любезнѣйшіе мои, говорю я, друзья и товарищи, не безпокойтесь, чтобъ я въ отставку подалъ, потому что это я уже и сдѣлалъ, я уже подалъ, сегодня же въ канцеляріи, утромъ, и когда получу отставку, тогда тотчасъ же въ монастырь пойду, для того и въ отставку подаю». Какъ только я это сказалъ, расхохотались всѣ до одинаго: «Да ты бъ съ самага начала увѣдомилъ, ну теперь все и объясняется, монаха судить нельзя», смѣются, не унимаются, да и не насмѣшливо вовсе, а ласково такъ смѣются, весело, полюбили меня вдругъ всѣ, даже самые ярые обвинители, и потомъ весь-то этотъ мѣсяцъ, пока отставка не вышла, точно на рукахъ меня носятъ: «ахъ ты, монахъ», говорятъ. И всякій-то мнѣ ласковое слово скажетъ, отговаривать начали, жалѣть даже: что ты надъ собою дѣлаешь?»—«Нѣтъ, говорятъ, онъ у насъ храбрый, онъ выстрѣлъ выдержалъ и изъ своего пистолета выстрѣлить могъ, а это ему сонъ наканунѣ приснился; чтобъ онъ въ монахи по-

шелъ, вотъ онъ отчего». Точно тоже почти произошло и въ городскомъ обществѣ. Прежде особенно-то и не примѣчали меня, а только принимали съ радушіемъ, а теперь вдругъ всѣ наперывъ узнали и стали звать къ себѣ: сами смѣются надо мной, а меня же любятъ. Замѣчу тутъ, что хотя о поединкѣ нашемъ всѣ вслухъ тогда говорили, но начальство это дѣло закрыло, ибо противникъ мой былъ генералу нашему близкимъ родственникомъ, а такъ какъ дѣло обошлось безъ крови, а какъ бы въ шутку, да и я, наконецъ, въ отставку подалъ, то и повернули дѣйствительно въ шутку. И сталъ я тогда вслухъ и безбоязненно говорить, не смотря на ихъ смѣхъ, потому что все же былъ смѣхъ не злобный, а добрый. Происходили же всѣ эти разговоры больше по вечерамъ въ дамскомъ обществѣ, женщины больше полюбили тогда меня слушать, и мужчинъ заставляли. «Да какъ же это можно, чтобъ я за всѣхъ виноватъ былъ, смѣется мнѣ всякій въ глаза,—ну развѣ я могу быть за васъ, напимѣръ, виноватъ?»—«Да гдѣ, отвѣчаю имъ,—вамъ это и познать, когда весь міръ давно уже на другую дорогу вышелъ, и когда сущую ложь за правду считаемъ да и отъ другихъ такой же лжи требуемъ. Вотъ я разъ въ жизни взялъ да и поступилъ искренно, и что же,—сталъ для всѣхъ васъ точно юродивый: хотъ и полюбили меня, а все же надо мной, говорю,—смѣтесъ».—«Да какъ васъ такого не любить?»—смѣется мнѣ вслухъ хозяйка, а собраніе у ней было многолюдное. Вдругъ, смотрю, подымается изъ среди дамъ та самая молодая особа, изъ-за которой я тогда на поединокъ вызвалъ и которую столь недавно еще въ невѣсты себѣ прочилъ, а я не замѣтилъ какъ она теперь на вечеръ пріѣхала. Поднялась, подошла ко мнѣ, протянула руку: «Позвольте мнѣ, говорить, изъяснить вамъ, что я первая не смѣюсь надъ вами, а, напротивъ, со слезами благодарю васъ и уваженіе мое къ вамъ заявляю за тогдашній поступокъ вашъ». Подошелъ тутъ и мужъ ея, а затѣмъ вдругъ и всѣ ко мнѣ потянулись, чуть меня не цѣлуютъ.

Ө. Достоевскій.

Н а р о д и н ъ.

(М. А. Дрожжиной).

Всё тотъ же синій лѣсъ, всё тѣ же косогоры,
 Всё тѣ же предо мной долины и луга,
 И въ небесахъ межъ тучъ лазурные узоры
 И Волги-матушки крутые берега.
 Все тотъ же за сохой съ лошадкою усталой
 Мужикъ, на полосѣ идущій босикомъ;
 Всѣ та же улица, и съ крышей обветшалою
 Убогая изба въ селеніи родномъ.
 Ничто передо мной не измѣнило время
 За долгіе года отъ юности моей,—
 И только лишь одно другимъ смѣнилось племя
 По прежнему нуждой измученныхъ людей.

Спир. Дрожжинъ.

Ночные голоса.

Распахнулъ я окно: тихо листья шумять,
 Травка шепчетъ о чемъ-то съ цвѣтами;
 Спитъ деревня давно; ярко звѣзды блестятъ,
 Закрываясь порой облаками.
 Слышу я голоса невидимыхъ духовъ,
 Будто звуки гармоніи чудной:
 Это стонуть лѣса, это вздохи луговъ
 О крестьянской всё долишкѣ трудной.
 Это Волга журчитъ о былой старинѣ
 И о свѣтломъ грядущемъ вѣщаетъ;
 Бѣднымъ счастье сулить, и о счастьи мнѣ
 Всѣ тогда рассказать общаетъ.

Спир. Дрожжинъ.

Заговоръ совъ.

С К А З К А.

I.

Въ непроходимой лѣсной глуши, въ ночную пору собралось однажды нѣсколько совъ. Совы важно разсѣлись по толстымъ сучьямъ старыхъ березъ и елей. Настороживъ уши, онѣ внимательно слушали одного неизвѣстнаго, откуда-то вновь прибывшаго въ ихъ сторону филина. Филинъ-проповѣдникъ былъ уже довольно пожилой, съ просѣдью, съ выдерганнымъ хвостомъ и сильно порастрепанный. Крючковатый клювъ придавалъ всей его физиономіи отпечатокъ очень зловѣщій. Тусклые, съ виду глуповатые глаза его пронизательно-лукаво посматривали на почтенное собраніе изъ-подъ сѣдыхъ, густыхъ и нависшихъ бровей.

Полночь.

И на землѣ, и надъ землею все тихо. Люди спятъ утомленные — кто тяжкимъ трудомъ, кто забавами. Не спятъ только Горе да Злоба, но ихъ неслышно: въ тиши они думаютъ свои думы... Спятъ животныя. Заснули травы и цвѣты... Только змѣи въ лѣсу, шурша, пробираются подъ хворостомъ, шипятъ, да кваканье лягушекъ слабо доносится изъ дальняго болота. Темно, черно въ лѣсу... Только кое-гдѣ сквозь густую зелень пробивается мѣсячный свѣтъ и блѣдною полоской, какъ тать, крадучись, падаетъ на темный, неподвижный листъ, на темный сломанный сукъ, на бѣлый стволъ березы...

Со вниманіемъ слушаютъ совы, переминаясь на своихъ мохнатыхъ лапкахъ. Неизвѣстный же собрать ихъ держать къ нимъ такую рѣчь:

— Почтенные слушатели! Я знаю, какъ мѣшаетъ вамъ солнце, врагъ тьмы; тьма — это совиный день. Яркій дневной свѣтъ невыносимо больно рѣжетъ намъ глаза, отравляетъ намъ существованіе... — Ораторъ усиленно заморгалъ глазами.

— Правда! Права! — Далѣе! раздалось со всѣхъ сторонъ,

съ нижнихъ и съ верхнихъ сучьевъ деревъ, изъ мрака густой листвы.

— Увы, почтенные слушатели! — ораторъ на мгновенье покачивается слегка головой и пристальнымъ взоромъ, изъ-подлобья, оглядываетъ собраніе. — Увы! Мы большую часть года проводимъ въ душныхъ и тѣсныхъ дуплахъ, въ этихъ скучныхъ, неприглядныхъ трущобахъ. Всѣ лучшіе годы жизни мы осуждены прятаться, какъ гады. Мы должны считать за счастье, если намъ удастся поселиться хоть на время въ какой-нибудь развалинѣ старой башни, въ благородномъ рыцарскомъ замкѣ вмѣстѣ съ ящерицами, съ летучими мышами и съ подобными имъ тварями... Какая ужасная насмѣшка! Вѣдь мы, благодаря этому гадкому свѣту, лишены на свѣтѣ рѣшительно всѣхъ наслажденій... Да прибавьте еще къ тому насмѣшки и глумленія этихъ злыхъ, негодныхъ людей! Какъ они издѣваются надъ нами!... Этому самому свѣту, этому ненавистному солнцу, они поютъ торжественные гимны, строятъ храмы... Храмы! О, люди! Какъ они ухаживаютъ за свѣтомъ!.. Они, кажется, хотятъ и ночь-то обратить въ день... Почтенные слушатели! Долго ли же намъ терпѣть? Гм!... — Ораторъ возвышаетъ голосъ.

— Тсс... Тсс! — запищали старыя совы, тугія на ухо, только и услышавшія послѣднее слово. Онѣ заворочались, зашевелились на вѣткахъ, съ недовольствомъ завертѣли головами; дыбомъ поднялись у нихъ на затылкѣ взъерошенныя перья... Иныя отъ смѣлой фразы пришли въ неописанный восторгъ и шумно захлопали крыльями.

Нѣсколько пичужекъ проснулось при этомъ. Онѣ съ удивленіемъ раскрыли свои заспанные глазки и спрашивали другъ у друга: «Что это?»

— Почтенные слушатели! — продолжалъ, между тѣмъ, филинъ, равно польщенный какъ пиканьемъ, такъ и одобреніемъ своихъ слушателей. Я долго жилъ, много видѣлъ, много узналъ и очень много думалъ-думалъ и возмущался, и теперь, могу сказать безъ похвалы, пришелъ къ тому убѣжденію, что...

— Слушайте, слушайте! — пропищало нѣсколько совъ.

Лѣсное эхо глухо вторило имъ.

— Я пришелъ къ тому непреложному убѣжденію—къ плоду моихъ глубокихъ размышленій, что помочь нашему горю можно. Почтенные слушатели, вѣрьте мнѣ, мы круглый годъ станемъ пировать; вся жизнь для насъ будетъ одинъ нескончаемый праздникъ. Я сознаю въ себѣ силы осчастливить васъ. Навсегда сведу я ночь на землю. Отселѣ вѣчнымъ мракомъ покроется земля, и наше царство наступитъ и не будетъ ему конца. Солнце скроется навсегда, лики поклонниковъ свѣта помрачатся. Посрамятся люди!... Да, но и между людьми есть у насъ единомышленники... И между людьми есть такіе благо-разумные, которымъ солнце также мѣшаетъ... Увы! ихъ не-много...

— Я могъ бы покончить и съ этимъ...—филинъ кивнулъ презрительно головой на небо, откуда межъ листьевъ и сучьевъ сквозилъ серебристый лунный свѣтъ.—Но это блѣдное пугало намъ не такъ мѣшаетъ, какъ то красное, что всѣ зовутъ солнцемъ... И такъ, прочь свѣтъ! Да сгинетъ свѣтъ!

— Да сгинетъ свѣтъ отнынѣ и на вѣки!—запищало, захрипѣло все собраніе хоромъ.

— Черезъ три дня, почтенные слушатели, мы приступимъ къ дѣлу!—во всю глотку заоралъ филинъ, приглашая тѣмъ собраніе къ спокойствію — На утро четвертаго дня — послѣ настоящаго вечера — солнце не взойдетъ надъ землей. Ночь не пройдетъ... и такъ черезъ три дня въ полночь для празднованія праздника тьмы мы всѣ сберемся тамъ... неподалеку отъ озера, на высокихъ деревьяхъ, что растутъ на самой окраинѣ нашего лѣса. Я кончилъ...

Филинъ шарахнулся въ сторону и улетѣлъ. Иныя совы съ недоувѣріемъ качали головой, другія оглушительно пищали «браво»; филинъ—проповѣдникъ мрака—ухалъ гдѣ-то уже далеко. Лѣсное эхо чудно вторило всѣмъ этимъ звукамъ. Пичужки проснулись и, продирая глаза, съ удивленіемъ спрашивали опять другъ друга: «Что это?»

— Что у нихъ сегодня за шабашъ?—каркалъ одинъ другому воронъ, сидя на высохшей ветлѣ.

— Что за шумъ такой, что за крикъ?—пищаль кротъ, оста-

новившись передъ входомъ своей норы и поднявъ кверху мордочку.

Приближалось утро. Звѣзды гасли. Мѣсяцъ поблѣднѣлъ пуще прежняго и съ обычнымъ спокойствіемъ смотрѣлъ съ небесъ на землю... Совы и не думали разлетаться: всю ночь, вплоть до зари, протолковали онѣ о чудесномъ незнакомцѣ, объ его умѣ, о его необыкновенномъ краснорѣчіи, о его сверхъестественной силѣ... Всѣ совы соблазнились чудной будущностью, какая ожидала ихъ совиный родъ черезъ три дня. «Жить въ вѣчныхъ потемкахъ... У-у! Какая блестящая, славная даль!..»

Въ ту же ночь вѣсть о необыкновенномъ пришельцѣ и о чудѣ, обѣщанномъ имъ, разнеслась по всему околотку, далѣе—по всему совиному царству. Всѣ съ невыразимымъ нетерпѣніемъ ждали наступленія ночи третьяго дня.

II.

Много соблазнительныхъ сновъ грезилось совамъ въ эти три дня. Имъ снилось...

Глубокая тьма лежитъ надъ міромъ. Не всходитъ солнце, не свѣтитъ мѣсяцъ, не горятъ ясныя звѣзды. Непроницаемый мракъ и мгла... Люди и звѣри, понурясь, ощупью, бродятъ, какъ тѣни, наталкиваются другъ на друга, на деревья, ищутъ другъ друга и не могутъ найти, не узнаютъ родного дома, ищутъ дорогу, все ищутъ и не находятъ, блуждаютъ на удачу... Трава поблекла, деревья высохли... Бѣдствіе страшное! Отецъ ищетъ дочь любимую, сынъ ищетъ больную мать, жена плачетъ по мужѣ, дѣвушка тоскуетъ, напрасно! Только совиный крикъ служить имъ отвѣтомъ... Тамъ безъ помощи мучается больной... Тамъ ребенокъ упалъ въ рѣку, тонетъ... Тамъ женщину душитъ волкъ. Люди въ ужасѣ... Совы блаженствуютъ.

Вздумаетъ человѣкъ огонь развести—пустынный вѣтеръ тотчасъ же гаситъ его. Если вѣтеръ не дуетъ, то сами совы стаями слетаются къ огню, зажмуриваютъ свои подслѣповатые глазки, дико кричатъ, кричатъ неистово, машутъ-бьютъ крыльями и гасятъ огонь. Совы сдѣлались смѣлы... Сова налетаетъ на че-

ловѣка, клюетъ его съ остревѣніемъ, выклевываетъ ему глаза, бьетъ его по головѣ изо всей силы своимъ жесткимъ крыломъ и съ крикомъ радости и торжества отлетаетъ прочь. Она уноситъ въ когтяхъ клочокъ волосъ съ головы человѣка и его, какъ свои трофеи, показываетъ собратьямъ. Собратья рукоплещутъ учащенными взмахами совиныхъ крылій...

— А-а!—шипятъ въ темнотѣ совы.—Вы искали свѣта, вы поклонялись солнцу,—живите же во тьмѣ!

Дикій, злой хохотъ... Совы побиваютъ птичекъ, совамъ—раздолье...

Тьма затопила весь міръ и міръ сталъ тьмою.

Соблазнительныя грезы...

Наконецъ, роковой день наступилъ. Совы, отъ великаго волненія не поспавшія нѣсколько дней сряду, парихались, какъ угорѣлыя, и, вытараща глаза и лихорадочно-нетерпѣливо маша крыльями, слетались отовсюду на высокія деревья, на окраинѣ лѣса.

III.

— Солнце не взойдетъ больше! Ночь не кончится... Тьма не разсѣется!—говорилъ хитрый филинъ, встрѣчая совъ, прилетающихъ одна за другою.

Совы усаживались, гдѣ и какъ могли. Всѣ высокія деревья на окраинѣ лѣса покрылись сѣрыми птицами—любительницами мрака. Всѣ сучья были уже заняты.

Филинъ-чудотворъ былъ не шарлатанъ. Онъ и самъ вѣрилъ въ свою силу, въ свое могущество, вѣрилъ, что его чары, дѣйствительно, погружаютъ весь міръ въ вѣчную ночь. Торжественность наступавшей минуты смущала его. Онъ говорилъ мало. Совы тоже молчали.

— Трынъ-трынъ! Трынъ-трынъ!—скрипѣлъ гдѣ-то въ лугу коростель.

Во роцѣ стонала иволга.

Ночь—и мѣсяцъ стоитъ высоко въ небѣ. На деревенской колокольнѣ, далеко-далеко гдѣ-то, сонный сторожъ двѣнадцать разъ ударилъ въ колоколъ. Двѣнадцать протяжныхъ ударовъ—

двѣнадцать глухихъ звуковъ пронеслось надъ полями и лѣсами и замерло. Бѣлесоватый туманъ разливался по лугу, между кустами. Кусты сквозь туманъ мелькали, какъ неясные, темные призраки. Туманъ клубился надъ рѣкой. Вся рѣка словно дымилась; словно дымились и ея изрытые берега, песчаные и крутые... Въ сыромъ воздухѣ сильно пахло лѣсомъ, дичью, цвѣтами, травой... Въ глубокомъ молчаніи сидѣли совы въ ожиданіи чуда и пристально смотрѣли на востокъ. Тамъ темное облако залегло на горизонтѣ...

Совы по временамъ судорожно разѣвали рты, какъ бы желая что-то пропить, но опять закрывали ихъ, и ни звука. Заговорщиковъ мучили опасенія... «А что еслибы люди узнали, какой страшный заговоръ составили мы! — думали совы, и невольная дрожь пробѣгала по ихъ тѣлу:— Перестрѣляли бы они насъ. Понадѣляли бы изъ насъ чучель... Ребятамъ своимъ отдали бы на потѣху наши трупы! Ребята стали бы нашими трупами играть, волочить по улицѣ — во прахъ... А потомъ, насмѣявшись вдоволь, бросили бы куда-нибудь за заборъ, какъ падаль... А что еслибы коршуны провѣдали, что мы собрались гурьбой здѣсь, на опушкѣ лѣса,—худо было бы намъ: избили бы они насъ! Полетѣли бы наши перушки по вѣтру...»

Въ глубокомъ молчаніи сидѣли совы, въ трепетномъ ожиданіи смотря на востокъ. На востокѣ—темно; надъ нимъ неподвижно стояло облачко и, словно, заснуло. Три раза уже за лѣсомъ гдѣ-то пропѣлъ пѣтухъ. Одной старой совѣ показалось, что «теперь давно бы ужъ пора быть утру...» Она шепотомъ сообщила свою мысль сосѣдкѣ, та передала сосѣду, а сосѣдъ—опять сосѣдкѣ, и пошло, и пошло... Догадку сообщали уже съ увѣренностью, шепотъ мало-помалу перешелъ въ громкій говоръ. Дошелъ этотъ слухъ до филина: съ торжествующимъ видомъ оглядѣлся онъ по сторонамъ и многозначительно прихлопнулъ крыломъ. Совы, рѣшительно, начинали приходить въ волненіе.

— Итакъ, это правда!—кричала одна старая сова; до послѣдняго мгновенья сомнѣвалась она въ истинѣ.

— Правда, бабушка, правда!—пищали ей сотни голосовъ со всѣхъ сторонъ.

— Почтенное собраніе! Теперь, когда уже болѣе солнце никогда не...—началь было, филинъ какъ вдругъ сверху одинъ юный сычъ закричалъ, какъ сумасшедшій, что «надъ самымъ горизонтомъ что-то свѣтлѣетъ».

Юношѣ приказали замолчать.

Но совы уже притихли и, पुще прежняго выпучивъ глаза, напряженно стали всматриваться въ темную даль. Всѣ смотрѣли на востокъ; всѣ совиныя души разомъ перешли въ глаза... А по горизонту, дѣйствительно, узкою полоской пробивался — брезжилъ свѣтъ. «Неужели? съ грустью подумали совы.—Неужели только золотыми снами кончится дѣло? Неужели опять свѣтъ, этотъ ненавистный свѣтъ!...» Хитрый филинъ, между тѣмъ, вдругъ куда-то запропалъ; но въ общемъ смятеніи его не искали, его исчезновенія не замѣтили.

Небо начинало все болѣе и болѣе свѣтлѣть. Загорѣлась румяная заря... Запѣли птички свою передутреннюю пѣсенку... Совы тяжело вздыхали: заговоръ не удался. Вотъ и яркій, солнечный лучъ скользнулъ изъ-за горизонта, ударивъ прямо по верхушкамъ высокихъ деревьевъ. Совы прищурились, поникли головами. Темное облачко, всю ночь спавшее на горизонтѣ, окрасилось въ нѣжно-розовый цвѣтъ, проснулось и тихо-тихо поплыло по голубому небесному морю. Сіяюще всходило солнце, все озаряя своимъ лучезарнымъ свѣтомъ. Его теплый лучъ падалъ на цвѣты и осушалъ съ ихъ трепещущихъ лепестковъ послѣднія капли росы.

Солнечные лучи разгоняли туманъ. Туманы разсѣвались... На поляхъ показались люди. Въ лѣсу зарубилъ топоръ.

Дѣвчата шли за ягодами. Начинался опять день, ночь опять прошла. Весело звонили къ заутрени колокола въ сосѣднемъ монастырѣ... Съ жалобнымъ крикомъ разлетались совы по своимъ лѣснымъ трущобамъ, съ крикомъ прятались въ темныя дупла. Дальше отъ солнца! Дальше отъ свѣта!...

Солнце снова взошло надъ міромъ.

П. Засодимскій.

Бѣлый старичокъ.

(Изъ народныхъ разсказовъ).

Въ дамской мастерской, вечеромъ, около большого стола сидѣли дѣвушки-мастерицы и шили; одна изъ нихъ, высокая бѣлокурая дѣвушка, худая и блѣдная, низко наклонившись надъ шитьемъ, неторопливо и тихо разсказывала:

— Когда вспомню я свои ребячьи годы,—такъ кажется ничего-то для меня милѣе въ жизни не было, какъ матушка да старый дѣдъ... Ну, объ матушкѣ я теперь говорить вамъ не стану,—а то слезами изойду... Что говорить! Одно ей имя: труженица безотвѣтная... Я такъ думаю, что если есть на небѣ правда, — то давно ужъ матушка моя среди самыхъ чистыхъ ангеловъ пребываетъ... Да такъ думали мы, что и на землѣ-то ей Господь невидимо помогалъ!.. А то гдѣ бы ей, этой кроткой, безропотной, силы взять. Была она высокая, красивая, да только худая, а насъ у нея было, малъ-мала меньше, пять человѣкъ, и все-то дѣвочки... Надо управиться! Да и не знали мы—покладала ли она когда рученьки: какъ я ни вспомню ее,—все на ногахъ мнѣ она видится, все торопится, словно невидимыя крылья носятъ ее съ ранней зари до поздней ночи... Ахъ, тяжело нашимъ матерямъ! Да ужъ и не знаю, есть ли кто на свѣтѣ ихъ праведнѣе,—развѣ только—мученицы, что за другихъ свою жизнь кладутъ... Батюшку мы только изрѣдка видали; въ работу онъ ходилъ на сторону, на заводъ. Словно гость онъ для насъ былъ; придетъ, бывало, на праздникъ; рубашка розовая, новая, жилетъ съ разводами, сапоги свѣтлые, съ наборомъ. Принесетъ намъ сластей, самъ сядетъ въ передній уголъ, шутить надъ дѣдкой, надъ матушкой, надъ нами... И намъ всѣмъ какъ-будто веселѣй станетъ!.. А тамъ и опять уйдетъ на цѣлые мѣсяцы, и останемся мы съ матушкой одни-одинешеньки,—да дѣдушка еще... Живемъ мы такъ день за день, а и не чуемъ, что бѣда у насъ за плечами. Родила матушка шестую дочку — да и душу Богу отдала: стаяла, какъ восковая свѣчка... Приѣхалъ батюшка, вошелъ въ избу, взгля-

нуль на насъ, малышей, да какъ хлопнетъ объ полы руками, какъ грохнется на полъ передъ покойницей,—такъ у насъ отъ избы-то ровно стонъ пошелъ: ревомъ всѣ въ одинъ голосъ... Ну, похоронили, поминки справили, тетка пришла помочь. Встали на другое утро: батюшка уходить собрался, говорить мнѣ: «ну, Феня, видно тебѣ такое счастье—съ измладости быть замѣсто матери... Да Богъ, можетъ, тебѣ воздастъ за это... Хозяйствуйте пока съ дѣдомъ, а тамъ что дальше—видно будетъ» .. Попрощался и ушелъ. А мнѣ въ то время только-что двѣнадцать годковъ минуло. «Ну, Фенька,—говорить дѣдушка,—плохое намъ съ тобой житье будетъ»...—Ничего, говорю, дѣдушка, Богъ поможетъ... Мамынька вонъ справлялась (а сама думаю,—хорошо еще, что ребенокъ-то умеръ тоже)!.. — «Мамынька-то чай не тебѣ была чета, глупая,—говорить дѣдъ,—ну, да поживемъ — увидимъ. Вотъ отецъ-то поди няньку къ вамъ найметъ, старуху, что-ли, какую ни то приспособить... А то, натка-сь, покинулъ стараго да малыхъ!.. Развѣ такъ-то можно!..» Поворчалъ дѣдушка, покряхтѣлъ, взялъ ведро и пошелъ за водой. А я набрала щепъ да сучьевъ въ печь, поставила чугунокъ съ картошкой, затопила—и стою передъ печью, на ухватъ оперлась: ровно, какъ матушка-покойница... И на ребятишекъ прикрикну, и на куръ цыкну—какъ быть въ хозяйствѣ состою... Да такъ хозяйствовала, что бывало загоню всѣхъ малыхъ-то къ сосѣдской старухѣ, а сама съ дѣдушкой въ поле помогать уѣду. Такъ-то вотъ насъ съ измладости нужда-то учить!..

Ну, живемъ мы съ дѣдомъ, хозяйствуемъ, рукъ не покладаючи; съ утра-то, съ самой ранней зорьки проснешься, бывало, натянешь сарафанишко, да скорѣй къ скотинѣ; съ молитвой, какъ матушка бывало, выгонишь ее къ пастуху на улицу, а тамъ за водой на ключъ побѣжишь, а дѣдушка той порой ужъ хворосту, дровъ въ печь наготовить, а тамъ, только-что съ печкой управишься, накормишь малышей,—глядь надо на прудъ бѣжать, рубашки перестирать... Да мало ли дѣла по семейству!.. Къ полудню ужъ ногъ подъ собой не чувствуешь... А все же нѣтъ-нѣтъ, урвешь часокъ, сбѣгаешь къ дѣвкамъ на улицу. А улица у насъ широкая была, зеленая, веселая... Тутъ и вздохнешь,

и посмѣешься, и пѣсенъ попоешь—и такъ-то сладко послѣ того спишься!..

Какъ разъ на ту пору у насъ на улицѣ разговоры пошли, что будто съ осени училище на селѣ будетъ, и что будто и насъ дѣвокъ учить будутъ. А это было для насъ тогда въ такое диво, что бабки наши ровно отъ нечистаго отъ этихъ вѣстей отплеывались! Да и самимъ намъ, дѣвкамъ, плохо вѣрилось, а тутъ еще и парни стали подсмѣиваться, что молъ дѣвокъ, слышно, будутъ въ солдаты брать!.. Глядимъ, не задолго такъ до Въдвиженья, стали нашу старую волостную избу чистить да починять, подъ училище подгонять. А тамъ, глядь, и учительша приѣхала; такъ, совсѣмъ дѣвушка простая, обходительная. Ну, думаемъ, и впрямь насъ, дѣвокъ, хотятъ въ люди производить!.. Какъ будто и стыдно чего намъ,—а и лестно, и сердце какъ будто замираетъ; думаемъ, и намъ, дѣвкамъ, праздникъ пришелъ! Да только не мнѣ,—думаю,—гдѣ мнѣ время найти отъ такой семьи!.. Это вотъ кому на досугѣ. Думаю такъ, а у самой ужъ зараньше слезы къ глазамъ подступаютъ, когда услышу, какъ учительша то съ той, то съ другой подругой знакомится, разговариваетъ, всѣхъ въ ученье заманиваетъ, матерей уговариваетъ!.. Къ Покрову и училище изготовили совсѣмъ, велѣли приходить всѣмъ—записываться, кто хочетъ... Шумъ пошелъ по всей нашей дѣвичьей деревнѣ: кто у матерей новыя рубахи да сарафаны просить, кто плачемъ плачетъ, кого не пускаютъ,—просятся. Охота намъ тогда всѣмъ была большая къ ученью! Думаю, пойду и я, улучу минутку, взгляну хоть глазкомъ, что у нихъ тамъ, у счастливыхъ, дѣлать будутъ... Собрались всѣмъ селомъ, всю избу полнымъ-полно заволокли. Учительша опрашиваетъ всѣхъ, записываетъ, кого уговариваетъ, кому, по молодости, подождать велитъ. Вотъ почестъ всѣхъ переписала, по скамьямъ усадила, а я стою въ уголку, у двери, глазъ не свожу: думаю, неужто-жъ такъ и домой мнѣ идти, ровно сиротѣ?.. А на сердцѣ такъ у меня и вершится, такъ слезы и подступаютъ. «Что-жъ,—говорю себѣ,—сирота и есть, коли родной матушки нѣтъ, такое ужъ произволенье значить, коли она на меня, малую, семью покинула.

Безъ глазъ, какъ ее покинешь; дѣдушка-то старикъ дряхлый ужъ, а сестренки все малъ-мала меньше. Надо при своемъ дѣлѣ оставаться».—Думаю такъ, а тутъ учительша примѣтила меня и говоритъ: «А ты, дѣвушка, чья такая?»—Такая-то, говорю.—«Что-жь ты не записываешься?»—спрашиваетъ.—Нельзя намъ, говорю,—потому какъ я въ семьѣ *большуха*... Гляжу, учительша усмѣхнулась, а всѣ ребятишки такъ грохотомъ и раскатились. И такъ-то вдругъ мнѣ стало чего-то и стыдно, и обидно, залилась я слезами—да и вонъ изъ избы; слышу, окликаетъ меня учительша, а я ногъ подъ собою не чую,—«Чего, говоритъ дѣдъ, что это съ тобой, дѣвка? Али чего испужалась: лица на тебѣ нѣтъ?...» Тутъ я ему во всемъ и открылась,—а вѣдь до той поры все въ себѣ держала, тоску-то свою.

— Ну,—говоритъ дѣдушка,—погодъ, дѣвка, придетъ отецъ мы ему спуску не дадимъ... Не дѣло это, не дѣло... Самъ поди по трактирамъ чай распиваетъ, а нѣтъ, чтобъ о семьѣ настоящее порадовать: старуху бы, что ли какую въ няньки приспособить... Натка-сь, оставилъ какихъ хозяевъ—старого да малаго!.. Погодъ, дѣвка, погодъ—мы противъ него съ тобой бунтъ поведемъ; скажемъ: дѣдкѣ, молъ, пора умирать, а дѣвкѣ разцвѣтать, а ты, молъ, какое это поведение взялъ?

Вскорости и тятенька на праздникъ пришелъ, веселый такой; сталъ ему дѣдушка выговаривать, а онъ только покрикиваетъ:—Ладно, говорить,—что-жь, и няньку наймемъ!.. Ладно, говорить,—и въ ученье поведемъ!.. Не люди мы, что ли?

Дѣдушка крестится, а у меня такъ сердце и прыгаетъ.

Сходилъ батюшка къ бобылкѣ одной, сговорился съ ней, а на утро велѣлъ мнѣ принарядиться, а самъ новый кафтанъ надѣлъ—и повелъ меня въ училище. Увидали меня ребятишки, закричали всѣ въ одинъ голосъ: «Большуху, большуху привели!» Словно обрадовались чему, и я сама отъ радости дрожу... Такъ съ того времени и прозвали меня большухой! Да, пожалуй, и точно, что я изъ всѣхъ ихъ большухой была: ростомъ я была высокая, держала себя скромно, рѣчью была степенная, ну, точь-въ-точь матушка-покойница. Съ раннихъ то заботъ скоро растешь!..

И такое-то для меня тогда времячко настало, что, кажись, и не увижу ужъ я ничего лучше, да и вспомнить кромѣ него другого нечего, развѣ, что только родимыя матушкины короткія ласки...

Учительша у насъ была, говорила я, простая, добрая да веселая, Бывало въ школу-то идешь, ровно въ церковь на праздники. А то пойдетъ, бывало, гулять со всѣми нами, выйдемъ за село — пѣсни запоемъ, и она съ нами поетъ, бесѣды ведетъ, а то бѣгать въ горѣлки пустится!.. А какъ ученье шло — и не примѣчала: къ Рождеству ужъ я дѣду и книги разбирала... Мнѣ все думалось: «кабы матушка жива была родная, какъ бы я ее потѣшила!..»

И вдругъ Феня смолкла, низко наклонилась надъ шитьемъ и залилась тихими, безмолвными слезами. Трудно было сказать — были ли это слезы умиленія при воспоминаніи о немногихъ свѣтлыхъ дняхъ, или же слезы скорби и грусти. Она на скоро ртерла лицо платкомъ, вздохнула и принялась снова за работу и, помолчавъ, продолжала свой рассказъ.

— Да не надолго пришлось намъ вздохнуть. Какъ разъ на Рождество пришелъ батюшка, только пришелъ хмурый да грустный. Говорить, что чуть не на половину рабочихъ расчитали: куда теперь пойдешь? А тотъ годъ и безъ того у насъ былъ трудный: по всей округѣ хлѣба не задались. До праздника еще покупной хлѣбъ стали ѣсть. Конечно, у кого справный дворъ былъ, да работниковъ въ семьѣ было много, — тѣмъ еще можно было и безъ сторонняго промысла перебиться; а у насъ и всего земли-то было на одну батюшкину душу, значилась прежде другая, на дѣдушку, да и ту отобрали по старости его лѣтъ, — а на насъ, дѣвокъ, отъ вѣковъ должно быть ничего не полагается, какъ добрымъ людямъ. Что изъ того, что насъ у тятеньки пятеро дѣвченокъ было — только одна насада!.. Нѣтъ намъ ни привѣта, ни воли, ни доли... Еще счастье, коли на чужіе корма къ мужу попадешь!..

Прожилъ батюшка три дня, а тамъ и говорить: — ну, дѣвка, оставайся опять съ дѣдомъ, хозяйствуйте, попрежнему... Знать, такая ваша доля! А я пойду промысла искать... Куда судьба заведетъ — самъ не знаю!..

Съ тѣмъ и ушелъ; и бобылка ушла отъ насъ—Христовымъ именемъ побираться, и остались опять мы съ дѣдомъ один-одинешеньки, и стало намъ будто вдвое горше противъ прежняго...

— Эхъ,—бывало вздохнетъ дѣдъ,—плохо ваше, дѣвки, житье на міру, а безъ матери—такъ и словъ про васъ нѣтъ!

Коротаемъ мы съ дѣдомъ зиму, поѣли все, что было, и деньги, какія батюшка оставилъ, извели; стали должаться, одежду распродавать въ три-дешево,—а то ужъ дошли до того, что дѣдушка по богатымъ мужикамъ сталъ просить: что выпросить, то и ладно, тѣмъ и живы. А отъ батюшки все нѣтъ и вѣсточки. Скотинку накормить—и ту нечѣмъ стало. Загрустили мы съ дѣдомъ, запечалились, духомъ упали... Сталъ было дѣдъ о нашемъ житѣ на міру заговаривать: куда тебѣ! Тамъ свой содомъ!.. У насъ, кричать, у самихъ поджилки подвело,—а онъ тутъ, старый, съ дѣвками толкается!.. Намъ и на парней-то земли не хватаетъ,—а онъ, натко-сь, что выдумалъ: на дѣвокъ земли ему отведи!.. Да гдѣ это когда было видано!..

Кричать мужики, съ голодухи ровно оглашенные другъ на друга бросаются; кто по бѣдѣ—богачамъ завидуютъ, кто по богаче—еще того пуще хочетъ жадность утолить... Словно какъ бы не ладно что-то стало на міру.

Махнулъ дѣдушка рукой—и на міръ не сталъ ходить.

Было ужъ это такъ послѣ масляной, какъ теперь помню—въ самое прощенное воскресенье. Сидимъ мы въ избѣ; я около хозяйства хлопочу, малыши межъ собой по лавкамъ возятся, а дѣдушка изъ лыка веревки плететъ. Только слышь, кто-то въ теплое окошко будто подогомъ: тукъ! тукъ! тукъ!—Отворилъ дѣдушка окошко и спрашиваетъ: чего, православный, надо?—Милостыньку, говоритъ, Христа ради!—Гляжу, а дѣдъ все смотреть въ окно, ровно оторваться не можетъ.—Слышу, опять нищій говоритъ: подайте, говоритъ, православные; изголодомъ.—Да ты,—спрашиваетъ дѣдъ,—откуда, старичокъ, будешь?—Издалече, болѣзнь, издалече; исходилъ полцарства, а скоро ли Господь домой угодить—того и не вѣдаю.—То-то, примѣтно, не изъ здѣшнихъ. Ну-ка, Феня,—говоритъ мнѣ дѣ-

душка,—отрѣжь старичку ломтикъ.—Дѣдушка,—шепчу ему,— знаешь поди, послѣдній вѣдь у насъ каравашекъ.—Ничего, говоритъ, дѣвка, не жалѣй. Старичокъ-то больно дряхлый, а издалече... Этому старичку не жалѣй. Прими, говоритъ, дѣдушка, Христа ради! А самъ высунулся въ окно и все ему въ слѣдъ смотреть.

— Да ты, говорю, дѣдушка избу настудишь, чего все смотришь? Закрылъ дѣдушка окно, а самъ головой все мотаетъ.

— Ты, говоритъ, дѣвка помалкивай... Этотъ, говоритъ, старичокъ-то не проста... Пойду-ка, говоритъ, я еще за нимъ погляжу.—Одѣлъ кожухъ и пошелъ за ворота. А я все думаю: что это дѣдъ въ нищемъ старикѣ запримѣтилъ? Вѣрнулся дѣдъ.

— Ну, вѣрно... Не проста этотъ старичекъ, говоритъ.

— А что, дѣдушка?

— Годи, дѣвка,—того гляди, къ веснѣ большое дѣло окажется...

— А какое дѣло-то?

— Дѣло-то?.. А почему знать? Можетъ такое дѣло поидетъ, что и на васъ, дѣвокъ, землю назначуть... Всѣхъ поровняють... Вотъ какое дѣло можетъ въ міру случиться... Ты только, дѣвка, помалкивай, говоритъ дѣдъ, а самъ все по избѣ ходить да головой поматываетъ.

— Да какой такой онъ старичокъ-то?—спрашиваю.

— Вотъ то-то и есть, что не изъ простыхъ... Развѣ бы я тогда сталъ говорить?.. А это ужъ вѣрно, не проста... Какой онъ старичокъ то былъ?.. А весь онъ былъ бѣлый старичокъ-то, вотъ ровно снѣгъ; волоса длинные, по плечи, бѣлые-бѣлые, борода большая—тоже вся бѣлая, и брови—бѣлыя... Ну, вотъ отъ снѣга не отличить... А самъ въ лапоткахъ, въ тулупчикѣ короткомъ, веревочкой опоясанъ. А глаза-то, дѣвка, вотъ ровно небушко голубые, да такіе-то жалливые, такіе-то ласковые... Хочу-хочу въ него взглянуть, а не могу: такъ это онъ меня глазами-то за сердце и хватаетъ... Да это вѣрно, что онъ... Другому такому некому быть.

— А кто же это такой онъ-то?—спрашиваю.

— Ну, это, дѣвка, еще надо подумать—сказать ли тебѣ... То же про это зря слова не молви... Такъ-то-сь!.. Кто-е знаетъ,—говорить дѣдъ,—хватить ли у тебя ума то на это дѣло... Дѣвка, вѣдь, ты,—говорить.

— Такъ что-жъ, говорю, дѣдушка, что дѣвка: самъ говоришь, что всѣхъ поровнять надо. Нонче вонъ ужъ и насъ, дѣвокъ, подъ-рядъ съ парнями учать.

— Вѣрно, вѣрно... Пожалуй, что и такъ, говорить. Вѣдь и я въ ту пору не ахти былъ разуменъ, какъ дѣдушка-то мнѣ объ немъ сказывалъ: по-годки съ тобой поди былъ.

— А что-же, спрашиваю,—къ добру этотъ бѣлый старичокъ проявился, али къ худу?

— Къ добру, дѣвка, къ добру... Къ чему-жъ я тебѣ и сказываю?.. Отъ него зла вотъ не на эстолько нѣту...

Слушаю я, а у меня такъ вотъ сердце и прыгаетъ; думаю: Господи, хоть бы на часокъ намъ, бѣднымъ, просвѣтлѣло!

Сѣлъ дѣдушка опять веревки сучить, а я молчу, думаю—пускай лучше самъ все расскажетъ, а то еще заупрямится.

Сучить дѣдушка веревки, на пальцы пошлевываетъ, а самъ все раздумываетъ: и хочется, видно, ему все сказать, и боязно.

Помолчалъ-помолчалъ, а потомъ и говорить:

— Вотъ что, дѣвка, скажу я тебѣ, пожалуй: только — мотри—молчокъ... Заклятье съ тебя возьму, чтобы одинаго слова никому не проронить до поры до времени. Слышь, дѣвка?.. Потому скажу тебѣ, что знаю тебя по матери: скромна ты и степенна... Вотъ также заклатье и дѣдушка, съ меня взялъ. Говорилъ я, что одногодка тогда съ тобой былъ. Тоже вотъ горе съ нимъ избывали вмѣстѣ... А времена тогда были лютыя, пожалуй что и не въ примѣръ нынѣшнимъ. Сидимъ это вотъ мы также да свое горе-злосчастіе распутываемъ, дѣдъ и говорить: «плохи, говорить, ребята, наши дѣла: вотъ ужъ кои вѣки все жду-пожду,—а бѣлый старичокъ въ міру не проявляется!..» — «Какой, молъ, такой бѣлый старичокъ?—такъ же вотъ пытаемъ.—Э, говорить, ребяташки: кабы не было на свѣтѣ того старичка,—такъ не было бы, можетъ, для насъ и самаго свѣтъ—солнца Божьяго!.. Имъ, слышь, только и жизнь въ

мірѣ красна.—Такъ, слышь, объ немъ*старые люди понимали... А откуда этотъ старичокъ въ міру проявляется,—о томъ неизвѣстно, только сѣзвѣковъ онъ неустанно по матушкѣ-землѣ ходитъ: ходитъ онъ по градамъ и весямъ, по заморскимъ сторонамъ и по нашимъ крестьянскимъ деревнямъ. Только не знаетъ никто часа-времени, когда онъ въ какомъ мѣстѣ появится. И бродитъ этотъ старичокъ неустанно по грѣшной нашей землѣ, и нѣтъ ему, старенькому, покою; все-то забота ему объ людяхъ, объ насъ грѣшныхъ, все-то гонитъ его изъ края въ край тоска-жалость; бѣжитъ онъ и въ жаркое лѣто, и въ студеныя зимы—бѣжитъ отъ селенія къ селенію, бѣжитъ—подогомъ помахиваетъ, а самъ нѣтъ-нѣтъ да припадетъ головой къ землѣ—и слушаетъ: съ какой стороны текутъ-шумятъ, что рѣки, слезы горькія; откуда стономъ стонетъ горе тяжкое; гдѣ лютуетъ надъ людьми злоба-ненависть,—гдѣ неправда царитъ великая,—въ ту сторону и старичокъ побѣжитъ. «Люди божіе, очнитесь, на себя посмотрите—обернитесь! Загляните въ свои душеньки!» заговоритъ такими словами старичокъ, а самъ подогомъ подъ окнами постукиваетъ.—«Это я, старичокъ, пришелъ, Бѣлый старичокъ пришелъ! Собирайтесь, добрые люди, на мірское дѣло, на великое!.. Одумайте свои дѣла, свои помыслы! Очнитесь, вокругъ себя оглянитесь! Самъ Господь меня послалъ на ваше спасеніе!..» Покрикиваетъ старичокъ, а самъ все отъ избы къ избѣ переходитъ, да подожкомъ постукиваетъ. Затревожатся селяне, заторопятся: у кого совѣсть нечиста—бѣлѣй полотна станетъ,—а кто горькими слезами отъ нужды-неправды обливался,—заплакалъ слезами теплыми, радостными. Не успѣетъ старичокъ у послѣдней избы стукнуть,—откуда что станется; улицы-площади народомъ переполнятся, заговоритъ по міру правда громкимъ голосомъ возликують горькіе, обиженные, сироты, вдовы голодныя; устыдятся богачи-начальники, почувютъ въ груди скорбь-жалость,—подѣлитъ міръ землю матушку, по-ровну, по правдѣ, по справедливости. И вздохнутъ люди жизнью истинной, божеской!..» Вотъ, дѣвка, какъ намъ дѣдушка-то рассказывалъ про старичка, рассказывалъ,—ровно пѣсню сказывалъ.—Ну, что-жъ, молъ, дѣдушка,

спрашиваемъ его: — самъ-то видалъ-ли ты этого старичка? — Нѣтъ, говорить, ребятишки, вратъ не хочу, — самъ не видалъ, а слышать слыхалъ, что-де проходилъ Бѣлый старичокъ и по нашимъ мѣстамъ. Да и точно: полагаю, раза два на моемъ вѣку, чуть не со всей округи народъ сходилъ на дѣлежку, на мірское равненье. Слыхалъ, что скликали со всего царства народъ и въ самую Москву, — потому почуялъ, говорятъ, Бѣлый старичокъ, что быть большой бѣдѣ русскому царству, что дошла въ немъ неправда до послѣдняго, что грозятъ ему иноземные враги разорить его, прибѣжалъ, слышно, старичокъ на Москву и ударилъ въ самый наибольшій колоколъ, и разнесся звонъ по всему русскому царству, очнулись, приободрились люди мірскіе, выбрали отъ себя честныхъ и мудрыхъ мужей, послали ихъ на Москву — всему царству порядокъ строить, правду укрѣплять!.. Такъ вотъ онъ, дѣвка, какой-то Бѣлый старичокъ-то!.. Правду ли я говорилъ, что безъ его намъ, бѣднымъ, не миль былъ бы и свѣтъ солнца божьяго!..

— А самъ-то ты-жъ, дѣдушка, видалъ ли его, спрашиваю.

— И я вратъ, говорить, дѣвка, не хочу: самъ не видалъ, а слышать — слыхалъ... И въ свое время были дѣла не иначе, какъ черезъ Бѣлаго старичка... Вотъ передъ волей на Москвѣ тоже, слышно, звонъ былъ... Вспомнилъ старичекъ и русскую землю, и насъ, бѣдныхъ — пришелъ, тронулъ людскую душу!.. Такъ-то вотъ, дѣвка, думаю я — быть ему скоро опять у насъ... Къ тому идетъ!..

— Такъ это онъ, что-ли, проходилъ? спрашиваю.

— Можетъ и онъ... Вѣрно, этотъ старичокъ не проста.

— А что-жъ, дѣдушка, ни звону, ни народнаго сбору не слышать?

— А глупа еще ты, дѣвка; скоро сказка сказывается да не скоро дѣло дѣлается! Можетъ еще, онъ, старичокъ-то, и не разъ пройдетъ. Какъ душа-то людская зачерствѣетъ — такъ ее тоже не разомъ тронешь!.. Ой, дѣвка, дѣвка, молись, авось Господь смилуется надъ нами!..

Вздохнулъ дѣдушка, поохалъ, погрызъ черствого хлѣба

съ водой — и полѣзъ на печку. А я, какъ сидѣла у стола, такъ все и сижу: нейдетъ у меня изъ головы Бѣлый старичокъ. И батюшка вспоминается, какъ онъ, можетъ, тоже голодный, на одномъ хлѣбушкѣ перебивается, али, можетъ, бродить во всякую непогоду изъ города въ городъ — все работы ищетъ,—и себя съ сестренками да съ дѣдушкой вспоминаю—чѣмъ мы будемъ завтра сыты; не миновать намъ, должно, Христовымъ именемъ побираться. Да и мало ли у насъ теперь на деревнѣ такихъ! Вонъ въ сосѣдней деревнѣ почестъ половина въ кусочки ходить... Подвяжемъ завтра на плечи котомки, да и пойдемъ... Ой, Господи! Царица Небесная!.. Стыдобушка! Всплеснула я руками, сама на образъ смотрю... Не помню ужъ долго ли я такъ сидѣла—сидѣла да и заснула... И что же, дѣвушки, снится мнѣ чудное дѣло: чудится мнѣ, будто откуда-то издалека звонъ идетъ, такой звонъ веселый, радостный, какъ на свѣтлое воскресенье, слышу—вотъ онъ все громче, да громче, все ближе да ближе наплываетъ, и чѣмъ ближе звонъ, тѣмъ все свѣтлѣй да свѣтлѣй становится; вотъ и изба наша вся загорѣлась,—такъ въ ней стало свѣтло и радостно: потолки высокіе, чистые, кругомъ просторъ, стѣны, что золото свѣтятся, и запахъ отъ нихъ идетъ, что изъ лѣса весной. А я все, будто, никакъ проснуться не могу. Только вижу—подходить ко мнѣ дѣдушка, такой свѣтлый да радостный, рубаха на немъ чистая-чистая, борода бѣлая, лучами расчесана, словно къ причастію онъ сготовился, подошелъ и говоритъ: «вставай, Феня, молись!.. Бѣлый старичокъ пришелъ!.. Надо на народъ выходить». А самъ весело такъ улыбается и крестится. Вскочила это я—меня такъ свѣтомъ всю и обняло, что глаза заслѣпило. Глянула въ окно, а ужъ на улицѣ народъ валомъ валить... и все такой бодрый, веселый, праздничный, прибранный да разодрѣтый; вотъ и дѣвоньки наши показались, всѣ гурьбой идутъ, и впереди съ ними учительша,—и вся-то она въ бѣломъ, и будто лицо у нея стало еще свѣтлѣе, еще добрѣе. «Что-же это я заспала, думаю,—какъ-же это такъ? Да нѣтъ, должно имъ не до насъ, бѣдныхъ; намъ для праздника и нарядиться не во что! Что своими обносками

на глаза лѣзть». Думаю такъ, а ужъ ко мнѣ сестренки подбѣгаютъ,—и всѣ-то нарядныя, въ рубахахъ бѣлыхъ да въ сарафанахъ кумачныхъ, кричатъ: «одѣвайся, сестрица, скорѣе!.. Вотъ, говорятъ, и наряды твои». Одѣлась я на-скоро, не помню какъ побѣжала на улицу съ сестренками, нашли мы нашихъ дѣвочекъ, идемъ вмѣстѣ, а народу на улицѣ будто видимо-невидимо, и ужъ вмѣсто избъ будто все высокіе каменные хоромы, подъ желѣзными крышами, и видимъ мы:—выше всѣхъ стоитъ надъ народомъ Бѣлый старичокъ и держитъ въ рукахъ большую зажженную свѣчу и такъ ласково на всѣхъ смотреть и говорить: «Это я, самъ Христосъ, къ вамъ пришелъ, къ вамъ, труждающимся... И принесъ, говорить, я къ вамъ любовь да свѣтъ. И вотъ, говорить, отъ сего дня она будетъ съ вами!» Смотрю, а около него стоитъ наша матушка, такая-то ли свѣтлая, да веселая и бодрая, въ чистой, ровно снѣгъ, одеждѣ,—и онъ ей въ руку свѣчу отдаетъ... И будто взялъ онъ ее за руку и ведетъ къ намъ: «вотъ, говорить, ребятки, ваша мать. Теперь ужъ васъ съ нею никто не одолѣетъ: не изведутъ васъ ни напасти, ни трудъ, ни злые люди, только-бы свѣча не погасла»...

Тутъ я и проснулась. Гляжу, а солнце мнѣ такъ въ глаза и рѣжетъ. «Дѣдушка, кричу, дѣдушка! Бѣлый старичокъ пришелъ... и маменьку съ собой привелъ!..»

Услыхалъ это дѣдушка, слѣзъ скоренько съ печи, самъ крестится: «гдѣ, гдѣ?» говорить. А ужъ утро совсѣмъ, и солнышко къ намъ въ окно такъ весело свѣтитъ; на улицѣ стадо собирается, коровы мычатъ, овцы блеютъ; лапушенокъ подъ окнами подогомъ постукиваетъ... Тутъ-то я и очнулась; очнулась и такъ мнѣ стало чего-то больно и жалко: нѣтъ съ нами матушки, нѣтъ!.. И залилась я горькими слезами, реву, разливаюсь... Дѣдушка утѣшать меня принялся: «не плачь, говорить, дѣвка, этотъ сонъ тебѣ тоже не спроста... Вотъ, помани мое слово: на твоёмъ вѣкѣ все сбудется!..»

И что же, дѣвушки, хоть и горько мнѣ было, а послѣ дѣдушкиныхъ словъ ровно во мнѣ что поднялось, будто, какъ у матушки, невидимыя крылья у меня выросли, откуда силы

взялись: утерла я на скоро слезы и побѣжала скотину убирать; убрала на-скоро скотину, умылась, причесалась, на голову новый платочекъ повязала (и сама хорошенько не пойму— что это я дѣлаю: ровно за меня кто все одумалъ)—и пошла къ старостѣ. «Ты что, говорить, дѣвка, спозаранку?» А у меня откуда-то храбрость взялась: «Такъ, говорю, нельзя, Прохоръ Петровичъ: у меня вотъ, говорю, на рукахъ малъ-мала меньше четверо, да дѣдушка старичокъ, а пропитанье у насъ дошло до послѣдняго, и взять намъ ужъ больше негдѣ». «Такъ что же, говорить, мнѣ дѣлать-то?» Самъ удивляется. «А то и дѣлать, говорю, что надо вамъ міръ собрать да одумать наши дѣла, да помочь намъ назначить... Потому въ старыя времена никогда не полагалось, чтобы на міру люди отъ горя-нужды пропадали...» «Э, говорить, дѣвка! Это въ старыя времена было... Не такой нынче міръ»... «Нѣтъ, говорю, Прохоръ Петровичъ,— люди, слышно, всегда были одни, только надо душеньки имъ тронуть... А мы, говорю, у міра въ долгу не останемся...

Говорю такъ, а сама отъ своей храбрости трушу да дрожу... Подивился на меня староста, посмѣялся, головой покачалъ: «ладно, говорить, дѣвка, соберу міръ; пытай сама, ходатайствуй за себя...»

Точно не обманулъ, собралъ весь міръ: порѣшили назначить помочь. И сама, дѣвушки, до сихъ поръ дивлюсь, откуда у меня духъ этакой взялся, откуда такихъ словъ набралась... Такъ думаю, оттого это, что все Бѣлый старичокъ у меня изъ ума не шелъ: какъ живой, стоялъ онъ передо мной, такой добрый да ласковый, никакой-то боязни при немъ не чувствуешь, словно онъ это меня за руку водилъ...

Что значитъ надежда-то!..

Ну, вскорости и батюшка объявился. Попенялъ было ему дѣдушка, а онъ и говорить: «Что-жъ, говорить, и самому не сладко было. Совсѣмъ оголодалъ. Моли Бога, что совсѣмъ не загибъ... А теперь вотъ, говорить, въ городѣ въ дворникахъ пристроился... Малымъ ребяткамъ, говорить, бобылку опять найму: живите здѣсь какъ ни то, а ты, Фенька, собирайся со мной, пора тебя къ дѣлу пристроить въ городѣ».

Вотъ и коротаю я съ вами теперь свой дѣвичій вѣкъ...
Вотъ и судьба моя вся тутъ. А какова она—хорошо и сами
знаете. Дѣдушка-то померъ, а батюшка мачиху взялъ город-
скую. Теперь ужъ ему отсюда не выбраться въ родныя мѣста!..

Феня тихо всплакнула и замолчала.

— А это, Феня, должно быть, тебѣ одно мечтаніе было,—
Бѣлый старичокъ-то,—замѣтила грустно одна изъ дѣвушекъ.—
Можетъ это о болѣзни твоей сонъ-то былъ.

— Можетъ и мечтаніе... Только я такъ думаю, не даромъ-
же люди говорятъ объ этомъ... Мнѣ вотъ, дѣвушки, все и
теперь еще этотъ Бѣлый старичокъ представляется... Да, онъ
придетъ,—вѣрьте моему слову, дѣвушки; вѣдь я его, какъ
живого видѣла!.. Только ужъ мнѣ-то его не дожидаться, чую
я это... Ну, да что-жъ, вы за насъ порадуетесь!.. А мы съ
маменькой на васъ оттуда будемъ смотрѣть да радоваться!..

Н. Златовратскій.

Разбитая ваза.

(Изъ Сюлли Прюдомма).

Ту вазу, гдѣ сохнетъ вербенна, случайно
Безжалостный вѣтеръ разбилъ;
Обиды, никѣмъ незамѣченной, тайну
Цвѣтокъ никому не открылъ.

Чуть видная трещина, путь свой свершая,
Какъ медленной смерти пила
Хрустальную вазу, отъ края до края,
Тончайшей змѣей обвила.

И капля за каплей вода утекаетъ
Изъ вазы... Смертельно больна
Вербенна... Безъ влаги она умираетъ...
Не трогайте вазы: разбита она.

Какъ часто рука, что такъ много порою
 Намъ счастья и ласки дарить,
 Измѣны—отравой, разлуки—бѣдою
 Чуть слышно намъ сердце разить.

А сердце, отъ глазъ постороннихъ скрывая
 Ту рану, печали полно
 Все тише и тише трепещетъ, страдая...
 Не трогайте сердце: разбито оно!

П. Кичеевъ.

ЖИВОЙ КЛЮЧЪ.

(Преданіе).

Та гора, изъ которой вытекалъ ключъ, находилась во владѣніи богатаго человѣка.

Людская молва приписывала послѣднему несмѣтные богатства, безграничную власть и силу. Онъ могъ по произволу имѣть все, чего хотѣлъ. Его поля покрыты были тучными нивами и пастбищами; въ его садахъ и оранжереяхъ росли самыя рѣдкіе фрукты; а все, чего не было по близости, присылалось ему изъ далекихъ странъ. Казалось, всѣ желанія его были исполнены и не осталось уже ничего, что могло бы звать въ немъ жажду приобрѣтенія.

Но однажды, скучая, онъ объѣзжалъ свое имѣніе и вдругъ обратилъ вниманіе на ключъ, выбѣгавшій съ веселымъ шумомъ изъ горы. Это былъ чистый, прозрачный, холодный родникъ. Но куда онъ бѣжалъ?

Вырываясь изъ нѣдръ горы, онъ катился къ ея подножью съ веселымъ шумомъ, какъ бы радуясь свѣту, воздуху и свободѣ; отсюда по ложбинѣ онъ бѣжалъ дальше, по полямъ, по лугамъ, черезъ лѣсъ и сады и, наконецъ, пропадалъ за далекимъ горизонтомъ. И всюду, гдѣ онъ проходилъ, все живое радовалось его появленію. Травы ярко зеленѣли возлѣ него; хлѣбные колосы частыми рядами тѣснились на всемъ пути и

лѣса густо обступили крутые берега его, охраняя его покой и свободу.

Усталый путникъ садился возлѣ него и, утоливъ жажду его чистой, свѣжей водой, засыпалъ подѣ его тихія пѣсни. Издалека приходили къ нему—жнецъ, мочившій свой черствый хлѣбъ въ его водѣ, и конь его, понуро опускавшій голову надъ его струями. Въ него, какъ въ зеркало, заглядывала дѣвушка, радуясь своему румянцу; дѣти рѣзвились на его лужайкахъ.

Но куда онъ бѣжалъ? Сначала его теченіе принадлежало богатому человѣку, но дальше, за горизонтомъ, онъ выходилъ изъ его владѣній и дѣлался достояніемъ всѣхъ людей, жившихъ въ той сторонѣ.

Когда богатый человѣкъ узналъ объ этомъ, ему пришло на мысль всецѣло завладѣть чуднымъ родникомъ. Ему казалось, что предоставленный себѣ родникъ только портится, теряя всю свою красоту: онъ течетъ между грязными берегами; черезъ него во многихъ мѣстахъ проложены броды; скотъ мутитъ его прозрачную воду; мѣстами болота окружаютъ его берега.

— Лучше я проведу его въ свои сады и сдѣлаю фонтаномъ,—рѣшилъ богатый человѣкъ.

И на слѣдующій же день онъ нанялъ работниковъ и послалъ ихъ къ ключу. Вооружившись лопатами, ломами и топорами, работники принялись за дѣло. На томъ мѣстѣ, гдѣ на свѣтъ Божій вырывался родникъ, они выкопали обширный водоемъ, обложили его камнемъ и скрѣпили желѣзомъ: кругомъ вывели еще высокія стѣны съ желѣзной крышей, и только въ одной стѣнѣ оставили двери съ тяжелымъ замкомъ. Никто больше не могъ видѣть, откуда беретъ начало родникъ.

Послѣ того на протяженіи нѣсколькихъ верстъ прокопали канаву, вложили туда чугунныя трубы и все это засыпали землей. Въ саду же, до котораго доведены были трубы, поставили мраморный фонтанъ съ гротомъ по срединѣ.

Когда вся эта каменная постройка кончилась, повѣсили замокъ надъ родникомъ; съ той поры никто, кромѣ богатаго человѣка и его челяди, не слыхалъ веселаго шума бойкаго ру-

чейка. Русло его высохло, а самъ онъ, запертый среди камня и желѣза, не видя свѣта, съ ревомъ устремлялся въ чугунныя трубы и глухо рычалъ подъ землей. Такъ онъ добѣгалъ до фонтана; здѣсь онъ съ шипѣніемъ и свистомъ взлеталъ на воздухъ, но, обезсиленный въ борьбѣ, падалъ слезами на мраморныя плиты. Живой ключъ для всѣхъ умеръ, и, казалось, не вырваться ему больше изъ неволи никогда.

Прошло немного времени. Богатый человѣкъ нѣсколько дней полюбовался на свой чудесный фонтанъ и затѣмъ забылъ о немъ. Скучая, онъ не могъ долго останавливать вниманіе на одномъ предметѣ. Ему все надоѣдало, и его похолодѣвшее сердце требовало новыхъ желаній.

Далеко вокругъ онъ пользовался почетомъ,—не было чело-
вѣка въ той сторонѣ, который не зналъ бы его. Встрѣчаясь съ нимъ, всѣ низко кланялись; разговаривая съ нимъ, каждый выражалъ на своемъ лицѣ величайшее счастье. Мѣстныя власти исполняли малѣйшее его желаніе, считая его лучшимъ гражданиномъ; служитель церкви молился за здравіе его души. Но богатый человѣкъ низко цѣнилъ это всеобщее уваженіе и почти не замѣчалъ его.

Но однажды, скучая, онъ задумался: чему люди въ немъ покланялись и какую цѣну имѣютъ ихъ поклоны?—спросилъ онъ себя.

Задумавъ это, онъ рѣшился испытать людей. Быть можетъ, это была новая причуда отъ скуки, но, быть можетъ, тоскующая душа его искала правды; только однажды, для испытанія людей, онъ вдругъ притворился разорившимся. Распустилъ всѣхъ слугъ, притворно продалъ все свое имѣніе, роздалъ неизвѣстнымъ кредиторамъ всѣ деньги и внезапно очутился нищимъ, безъ угла и пріюта. Одѣвшись въ рубище, онъ покинулъ свой опустѣвшій домъ и сталъ обходить всѣ тѣ мѣста, гдѣ его знали и гдѣ ему низко кланялись.

Желаніе его было исполнено: онъ скоро узналъ то, чему люди покланялись въ немъ и какую цѣну имѣли ихъ поклоны. Всѣ почти сразу измѣнились къ нему. Одни, при видѣ его, еще раскланивались, но уже стыдились своихъ поклоновъ; дру-

гіе при встрѣчѣ отворачивались отъ него, словно не замѣчая его присутствія; третьи же нагло смотрѣли на него и открыто выражали презрѣніе къ его грязному виду. Перестали молиться о его грѣшной душѣ, видимо обрѣченной на муки ада; мѣстныя власти грозили посадить его въ тюрьму за бродяжество.

Нашелся только одинъ человѣкъ, измѣнившій къ лучшему свои отношенія къ недавнему богачу. Это былъ одинъ изъ тѣхъ несчастливцевъ, которымъ злая судьба дала тонкій умъ и гордое сердце,—такимъ несчастнымъ блага жизни не даются въ руки. Всю жизнь онъ провелъ въ борьбѣ съ несчастіями и плохо ладилъ съ людьми. Его называли злымъ, хотя онъ былъ только справедливымъ; считали его безумцемъ, между тѣмъ какъ онъ только видѣлъ вещи такими, каковы онѣ были въ дѣйствительности. Такъ же онъ относился и къ богатому человѣку: никогда не кланялся ему и не обращалъ на него никакого вниманія. Но теперь, при видѣ его нищеты, онъ съ улыбкой поклонился ему и подаль ему руку.

Это удивило богача.

— Развѣ я тебѣ нуженъ, что ты кланяешься мнѣ?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ, я именно потому и кланяюсь тебѣ, что ты мнѣ совсѣмъ не нуженъ,—отвѣтилъ бѣднякъ.

— Почему же ты отворачивался отъ меня, когда я былъ богатъ?

— Чтобы не быть просителемъ твоимъ.

— Ты радуешься моей нищетѣ?

— Нѣтъ, я только радуюсь тому, что ты сталъ братомъ моимъ, равнымъ мнѣ.

На мгновеніе богатый человѣкъ задумался надъ этими словами, но скоро забылъ ихъ. Мысли его заняты были той всеобщей неблагодарностью, которую такъ скоро онъ узналъ, лишь только сдѣлался бѣднымъ. Всѣ отвернулись отъ него.

Когда эту правду онъ окончательно понялъ на своемъ опытѣ, то сбросилъ съ себя рубище. Ненадолго онъ совсѣмъ скрылся изъ своей страны, а когда возвратился, то опять объявилъ себя богачемъ. Приобрѣлъ снова имѣніе свое, украсилъ

домъ рѣдкими предметами и зажилъ съ прежней роскошью. Говорили даже, что онъ еще болѣе разбогатѣлъ. Ослѣпленные его блескомъ, люди снова принялись отвѣшивать ему поклоны,—одни изъ страха передъ его силой, другіе ради поживы на его счетъ.

Но самъ богачъ съ злой улыбкой смотрѣлъ на все это и никому больше не отвѣчалъ на поклоны. Кто бы ни встрѣтился съ нимъ, онъ не давалъ себѣ труда снимать шапку. Вмѣсто этого обычая онъ придумалъ другой: выходя изъ дому, онъ всегда бралъ съ собой кошель, туго набитый деньгами, и когда встрѣчные люди кланялись ему, онъ вынималъ кошель и моталъ имъ, дѣлая такое движеніе, какъ будто кошель отвѣчаетъ на поклоны.

Одни прощали новую причуду богача, другіе обижались этой явной насмѣшкой.

— Зачѣмъ ты мотаешь кошелемъ, вмѣсто того, чтобы снять шапку?—спрашивали у него третьи, слабоумные.

— Но вѣдь вы не мнѣ кланяетесь, а этому набитому кошельку? Пускай же онъ, набитый дуракъ, и отвѣчаетъ на ваши поклоны!—возражалъ богатый человѣкъ.

Онъ смѣялся, но, къ удивленію его, смѣхъ этотъ не приносилъ ему радости; вмѣсто смѣха и радости зло и гнѣвъ зародились въ его душѣ. Чтобы облегчить душу, онъ отправился къ тому гордому несчастливцу, который протянулъ ему руку въ дни его нищеты. Тотъ, всегда вѣрный себѣ, равнодушно встрѣтилъ его и холодно сталъ слушать его жалобы. Богатый человѣкъ жаловался на низость людей...

— Они хуже собакъ!—говорилъ онъ:—собаки могутъ безъ корысти любить, человѣкъ же никогда!

— Да, люди цѣнятъ только тѣхъ, кто имъ служить,—возразилъ бѣднякъ.

— Не правда!—сказалъ богачъ,—они на столько низки, что цѣнятъ только грубыя вещи, деньги, имущество.

— А ты что же цѣнилъ въ людяхъ, когда наживалъ свое богатство?—спросилъ бѣднякъ.

— Правда, я пользовался ихъ трудомъ, ихъ деньгами, ихъ

имуществомъ; но я не притворялся преданнымъ, беря отъ людей все нужное мнѣ, я не говорилъ, что дѣлаю это изъ любви къ нимъ.

— То же самое дѣлають и они по отношенію къ тебѣ; притворство же ихъ есть только одно изъ тѣхъ орудій наживы, которыми и ты не брезговалъ.

— Но я никогда не смѣшивалъ человѣка съ набитымъ кошелемъ!—сказалъ богачъ.

— И тебя не смѣшиваютъ съ твоимъ кошелькомъ.

— Зачѣмъ же кланяются моему кошельку подъ видомъ поклоненія мнѣ?

— Затѣмъ, что кошель имѣетъ дѣйствительную цѣну, а ты... Что ты въ жизни сдѣлалъ, чтобы придать себѣ дорогую цѣну въ глазахъ людей?

Это были грубыя и жестокія слова. Но богатый человѣкъ не обидѣлся, погруженный въ задумчивость. Ему пришла въ голову страшная мысль: чѣмъ помянуть его люди, когда его не будетъ?

И онъ спросилъ:

— Что же нужно сдѣлать, чтобы заслужить непритворное уваженіе и память въ людяхъ?

— Спроси самъ себя, что въ тебѣ есть лучшаго и дорогого,—возразилъ бѣднякъ.

— Я не знаю,—сказалъ богачъ.

— На что же ты жалуешься? И что ты можешь дать людямъ, когда ты самъ не знаешь, что въ тебѣ есть лучшаго и дорогого?

Бѣднякъ сказалъ это грубо и замолчалъ: онъ самъ не зналъ, что дѣлать, чтобы заслужить память людей. Съ дѣтства преслѣдуемый нищетой и неудачами, онъ научился только отбиваться отъ несправедливости и гордо смотрѣть въ глаза неправдѣ; сказать же, какъ служить людямъ, онъ не умѣлъ. Да и кто умѣетъ? Это вѣчная загадка, которую еще никто не отгадалъ, хотя много людей пыталось ее отгадать.

Когда богатый человѣкъ разстался съ гордымъ нищимъ, то почувствовалъ себя совсѣмъ одинокимъ. Никому онъ больше

не вѣрилъ, подозрѣвая каждаго, кто къ нему подходилъ, во лжи и притворствѣ. Онъ прогналъ отъ себя всѣхъ друзей и льстецовъ, всѣхъ знакомыхъ и притворщиковъ, пересталъ показываться въ народѣ и повелъ одинокую жизнь.

Только собаки неотлучно окружали его, ихъ онъ развелъ великое множество, полонъ дворъ и домъ, и въ ихъ обществѣ проводилъ всѣ свои дни и ночи. Съ самыми преданными и любимыми онъ разговаривалъ и былъ увѣренъ, что ни одна изъ нихъ, вилая хвостомъ, не попроситъ его денегъ.

Такъ прошли многіе годы. Нельзя жить человѣку безъ чело-вѣка. Въ одиночествѣ несчастный человѣкъ сталъ дикимъ и страшнымъ. Мало по-малу все живое разбѣжалось отъ него. Слуги, расхищая его имущество, одинъ по одному оставили его; родные уѣхали отъ него далеко и оттуда ожидали его смерти; сосѣди боялись показываться ему на глаза; дѣти и женщины даже близко къ его дому не подходили, пугая другъ друга его именемъ.

Никто не видалъ, какъ и когда онъ скончался. Только однажды, въ глухую полночь, проходившіе мимо сосѣди услышали сплошной вой всѣхъ собакъ, жившихъ въ его домѣ, и догадались, что насталъ послѣдній смертный часъ богатаго человека.

Еще при жизни его половина богатства была расхищена, послѣ же смерти его быстро все разрушилось. Наѣхавшіе родственники увезли все цѣнное и дорогое; сосѣди тащили, кто что могъ. Непогода, — солнце, холодъ, бури и дождь, — ускорили смерть всего, что было у богатаго человека. И скоро отъ чуднаго жилища не осталось камня на камнѣ. Самое имя богача не осталось въ памяти людей.

Но развѣ умираетъ что-нибудь истинно живое? Нѣтъ, только мертвое умираетъ.

Когда камни богатаго дворца разрушились, а подгнившіе и проточенные червями столбы упали, когда всѣ твердыни сравнялись съ землей и лишь бурьянъ густо разросся по старому пепелищу, — въ это самое время одинъ ручей съ силой продолжалъ бить подъ землей. Ему теперь предстояла работа

вырваться на волю. Трубы давно проржавѣли и засорились; мраморныя плиты фонтана вросли въ землю или растасканы были сосѣдами; вся тюрьма его медленно разрушалась, но онъ все еще не могъ сбросить съ себя желѣзныхъ оковъ и продолжалъ глухо рычать подъ землей.

Наконецъ часъ его освобожденія насталъ. Онъ подкопался подъ каменный фундаментъ канавы, разрѣзалъ твердую землю, прорвалъ послѣдній верхній пластъ ея и съ шумомъ очутился на склонѣ горы. Отсюда онъ ринулся внизъ, скатился на старое русло свое и побѣжалъ, играя солнечными лучами, туда, за горизонтъ, гдѣ нѣкогда онъ былъ.

И снова все живое ожило при его появленіи. Трава ярко зазеленѣла, устилая весь путь его цвѣтами. Деревья приблизились къ его берегамъ и, вдыхая его влагу, ограждали его своею тѣнью отъ зноя. Птицы и звѣри стекались къ нему ежедневно, люди протягивали къ нему руки, набирая его чистую воду. Тысячи услугъ и радостей онъ давалъ всѣмъ, кто приближался къ нему.

Н. Каронинъ.

Могильная сосна.

На кладбищѣ, тихо качаясь,
Росла молодая сосна;
Съ ней вѣтеръ шептался игривый;
Ему отвѣчала она...

Ее освѣжалъ по долинѣ
Чуть слышно текущій потокъ;
Корнямъ ея—сочную пицу
Дарилъ золотистый песокъ.

Когда же луна серебрила
Долины объята сномъ,
Она по усопшимъ молитвы
Творила во мракѣ nocturno.

Гордяся своей красотой
 Росла молодая сосна;
 Вдругъ вѣтви ея опустились;
 Зачахла, завяла она...

«Скажи мнѣ, сосна молодая,»
 Спросилъ ее вѣтеръ любя,
 «Зачѣмъ ты склонилась уныло?
 «Скажи, что сгубило тебя?»

«Иль солнце тебя не ласкаетъ
 «Не кормитъ песокъ золотой,
 «Иль буря, не зная пощады,
 «Шумя пронеслась надъ тобой.»

Полна безнадежнаго горя
 Сосна отвѣчала: «О нѣтъ!
 «Земля не скупится на пищу;
 «Повсюду прохлада и свѣтъ.
 «Не буря, шумя на просторѣ,
 «До срока сгубила мой вѣкъ:
 «Корнями—вросла я въ могилу,
 «Въ могилу гдѣ злой человѣкъ.—

«И въ сердце холоднаго трупа
 «Пустила я корни свои...
 «То сердце не знало участья,
 «То сердце не знало любви...
 «Съ тѣхъ поръ я зачахла и вяну;
 «Померкъ мой блестящій нарядъ;
 «Я гибну, по жиламъ струится
 «Тлетворный, губительный ядъ...

«Засохли широкія вѣтви
 «Спасенія отъ гибели нѣтъ;
 «Я къ осени кончу страданья
 «И выюга завѣтъ мой слѣдъ.

П. Нозловъ.

Старый звонарь.

(Весенняя идиллія).

Стемнѣло.

Небольшое селеніе, пріютившееся надъ дальнею рѣчкой, въ бору, тонуло въ томъ особенномъ сумракѣ, которымъ полны весеннія звѣздныя ночи, когда тонкій туманъ, подымаясь съ земли, сгущается тѣни лѣсовъ и застилаетъ открытыя пространства серебристо-лазурною дымкой... Все тихо, задумчиво, грустно.

Село тихо дремлетъ.

Убогія хаты чуть выдѣляются темными очертаніями; кое-гдѣ мерцаютъ огни; изрѣдка скрипнуть ворота, залаетъ чуткая собака и смолкнетъ; порой изъ темной массы тихо шумящаго лѣса выдѣляются фигуры пѣшиходовъ, проѣдетъ всадникъ, проскрипитъ телѣга. То жители одинокихъ лѣсныхъ поселковъ собираются въ свою церковь встрѣчать весенній праздникъ.

Церковь стоитъ на холмикѣ, въ самой серединѣ поселка. Окна ея свѣтятъ огнями. Колокольня—старая, высокая, темная—тонетъ вершиной въ лазури.

Скрипятъ ступени лѣстницы... Старый звонарь Михѣичъ подымается на колокольню, и скоро его фонарикъ, точно взлетѣвшая въ воздухѣ звѣзда, виснетъ въ пространствѣ.

Тяжело старику взбираться по крутой лѣстницѣ. Не служатъ уже старыя ноги, поизносился онъ самъ, плохо видятъ глаза... Пора ужъ, пора старику на покой, да Богъ не шлетъ смерти. Хоронилъ сыновей, хоронилъ внуковъ, провожалъ въ домовину старыхъ, провожалъ молодыхъ, а самъ все еще живъ. Тяжело... Много ужъ разъ встрѣчалъ онъ весенній праздникъ, потерялъ счетъ и тому, сколько разъ ждалъ урочнаго часа на этой колокольнѣ. И вотъ, привелъ Богъ опять...

Старикъ подошелъ къ пролету колокольни и облокотился на перила. Внизу, вокругъ церкви, маячили въ темнотѣ мо-

гилы сельскаго кладбища; старые кресты какъ будто охраняли ихъ распростертыми руками. Кое-гдѣ склонялись надъ ними березы, еще не покрытыя листьями... Оттуда, снизу, неся къ Михѣичу ароматный запахъ молодыхъ почекъ и вѣяло грустнымъ спокойствіемъ вѣчнаго сна...

Что-то будетъ съ нимъ черезъ годъ? Взянется ли онъ опять сюда, на вышку, подъ мѣдный колоколъ, чтобы гулкимъ ударомъ разбудить чутко-дремлющую ночь, или будетъ лежать... вонъ тамъ, въ темномъ уголкѣ кладбища, подъ крестомъ? Богъ знаетъ... Онъ готовъ; а пока привелъ Богъ еще разъ встрѣтить праздникъ. «Слава-те Господи!» — шепчутъ старческія уста привычную формулу и Михѣичъ смотритъ вверхъ, на горящее милліонами огней звѣздное небо, и крестится...

— Михѣичъ, а Михѣичъ! — зоветъ его снизу дребезжащій, тоже старческій голосъ. Древній годами дьячокъ смотритъ вверхъ на колокольную, даже приставляетъ ладонь къ моргающимъ и слезящимъ глазамъ, но все же не видитъ Михѣича.

— Что тебѣ? Здѣсь я! — отвѣчаетъ звонарь, склоняясь съ своей колокольной. — Аль не видишь?

— Не вижу... А не пора ли и вдарить? По твоему какъ?

Оба смотрятъ на звѣзды. Тысячи Божьихъ огней мигаютъ на нихъ съ высоты. Пламенный «Возъ» поднялся уже высоко... Михѣичъ соображаетъ.

— Нѣтъ еще, погоди мало... Знаю вѣдь...

Онъ знаетъ. Ему не нужно часовъ: Божьи звѣзды скажутъ ему, когда придетъ время... Земля и небо, и бѣлое облако, тихо плывущее въ лазури, и темный боръ, невнятно шепчущій внизу, и плескъ невидной во мракѣ рѣчки, — все это ему знакомо, все это ему родное... Недаромъ здѣсь прожита цѣлая жизнь...

Передъ нимъ оживаетъ далекое прошлое... Онъ вспоминаетъ, какъ въ первый разъ съ тяткой взобрался на эту колоколь-

ню... Господи Боже, какъ это давно... и какъ недавно!... Онъ видитъ себя бѣлокуримъ мальченкой; глаза его разгорѣлись; вѣтеръ,—но не тотъ, что подымаетъ уличную пыль, а какой-то особенный, высоко надъ землею машущій своими безшумными крыльями,—развѣваетъ его волосенки... Внизу, далеко-далеко, ходятъ какіе-то маленькіе люди, и домишки деревни тоже маленькіе, и лѣсъ отодвинулся вдаль, и круглая поляна, на которой стоитъ поселокъ, кажется такою громадною, почти безграничною...

— Анъ вотъ она, вся тутъ! — улыбнулся сѣдой старикъ, взглянувъ на небольшую полянку.

Такъ вотъ—и жизнь... Смолоду конца ей не видишь и краю... Анъ вотъ она вся, какъ на ладони, съ начала и до самой вонъ той могилки, что облюбовалъ онъ себѣ въ углу кладбища... И что-жь, слава-те Господи! — пора на покой. Тяжелая дорога пройдена честно, а сырая земля — ему мать... Скоро, ужъ скоро!..

Однако, пора! Взглянувъ еще разъ на звѣзды, Михѣичъ поднялся, снялъ шапку, перекрестился и сталъ подбирать веревки отъ колоколовъ... Черезъ минуту ночной воздухъ дрогнулъ отъ гулкого удара... Другой, третій, четвертый... одинъ за другимъ, наполняя чутко дремавшую предпраздничную ночь, полились властные, тягучіе, звенящіе и поющіе тоны...

Звонъ смолкъ. Въ церкви началась служба. Въ прежніе годы Михѣичъ всегда спускался по лѣстницѣ внизъ и становился въ углу, у дверей, чтобы молиться и слушать пѣніе. Но теперь онъ остался на своей вышкѣ. Трудно ему; притомъ же, онъ чувствовалъ какую-то истому. Онъ присѣлъ на скамейку и, слушая стихающій гулъ расколыхавшейся мѣди, глубоко задумался. О чемъ? — онъ самъ едва ли могъ бы отвѣтить на этотъ вопросъ... Колокольная вышка слабо освѣщалась его фонаремъ. Глухо гудящіе колокола тонули во мракѣ; снизу, изъ церкви, по временамъ слабымъ рокотомъ доносилось пѣ-

ніе, и ночной вѣтеръ шевелилъ веревки, привязанныя къ желѣзнымъ колокольнымъ сердцамъ...

Старикъ опустилъ на грудь свою сѣдую голову, въ которой роились безсвязныя представленія. «Тропарь поють!»—думаетъ онъ и видитъ себя тоже въ церкви. На клиросѣ заливаются десятки дѣтскихъ голосовъ; старенькій священникъ, покойникъ отецъ Наумъ, «возглашаетъ» дрожащимъ голосомъ возгласы; сотни мужичьихъ головъ, какъ спѣлые колосыя отъ вѣтру, нагибаются и вповь поднимаются... Мужики крестятся... Все знакомыя лица и все то покойники... Вотъ строгій обликъ отца; вотъ старшій братъ истово крестится и вздыхаетъ, стоя рядомъ съ отцомъ. Вотъ и онъ самъ, цвѣтущій здоровьемъ и силой, полный безсознательной надежды на счастье, на радости жизни... Гдѣ оно, это счастье?... Старческая мысль вспыхиваетъ, какъ угасающее пламя, скользя яркимъ, быстрымъ лучомъ, освѣщающимъ всѣ закоулки прожитой жизни... Непосильный трудъ, горе, забота... Гдѣ оно, это счастье? Тяжелая доля проведетъ морщины по молодому лицу, согнетъ могучую спину, научить вздыхать, какъ и старшаго брата...

Но вотъ, налѣво, среди деревенскихъ бабъ, смиренно склоняя голову, стоитъ его «молодица». Добрая была баба, царствіе небесное! И много же приняла муки, сердешная... Нужда да работа, да неисходное бабье горе изсушатъ красивую бабу; потускнѣютъ глаза и выраженіе вѣчнаго тупаго испуга передъ неожиданными ударами жизни замѣнитъ величавую красоту молодницы... Да, гдѣ ея счастье?... Одинъ остался у нихъ сынъ, надежда и радость, и того осилила людская неправда...

А вотъ и онъ, богатый ворогъ, бьетъ земные поклоны, замаливая кровавыя сиротскія слезы; торопливо взмахиваетъ онъ на себя крестное знаменіе и падаетъ на колѣни, и стучаетъ лбомъ... И кипить-разгорается у Михѣича сердце, а темные лики иконъ сурово глядятъ со стѣны на людское горе и на людскую неправду...

Все это прошло, все это тамъ, назади... А теперь весь міръ для него — эта темная вышка, гдѣ вѣтеръ гудитъ въ темнотѣ, шевеля колокольными веревками... «Богъ васъ суди, Богъ

суди!» — шепчетъ старикъ и поникаетъ сѣдою головою, и слезы тихо льются по старымъ щекамъ звонаря...

— Михѣичъ, а Михѣичъ! Что-жъ ты, али заснулъ? — кричать ему снизу.

— Ась? — откликнулся старикъ и быстро вскочилъ на ноги. — Господи! Неужто и вправду заснулъ? Не было еще экого сраму!...

И Михѣичъ быстро, привычною рукой, хватая веревки. Внизу, точно муравейникъ, движется мужичья толпа; хоругви бьются въ воздухъ, поблескивая золотистою парчой... Вотъ обошли крестнымъ ходомъ вокругъ церкви и до Михѣича доносится радостный кличъ:

— «Христось воскресе изъ мертвыхъ!»

И отдается этотъ кличъ волною въ старческомъ сердцѣ... И кажется Михѣичу, что ярче вспыхнули въ темнотѣ огни воєковыхъ свѣчей, и сильнѣй заволновалась толпа, и забились хоругви, и проснувшійся вѣтеръ подхватилъ волны звуковъ и широкими взмахами понесъ ихъ въ высь, сливая съ громкимъ, торжественнымъ звономъ...

Никогда еще такъ не звонилъ старый Михѣичъ.

Казалось, его переполненное старческое сердце перешло въ мертвую мѣдь, и звуки точно пѣли и трепетали, смѣялись и плакали и, сплетаясь чудною вереницей, неслись вверхъ, къ самому звѣздному небу. И звѣзды вспыхивали ярче, разгорались, а звуки дрожали и лились и вновь припадали къ землѣ съ любовною лаской...

Большой басъ громко вскрикивалъ и кидалъ властные, могучіе тоны, оглашавшіе небо и землю: «Христось воскресе!»

И два тенора, вздрагивая отъ поочередныхъ ударовъ желѣзныхъ сердецъ, подпѣвали ему радостно и звонко: «Христось воскресе!»

А два самые маленькіе дисканта, точно торопясь, чтобы не отстать, вплетались между большихъ и радостно, точно малые ребята, пѣли вперегонку: «Христось воскресе!»

И казалось, старая колокольня дрожить и колеблется, и вѣтеръ, обвѣвающій лицо звонаря, трепещетъ могучими крыльями и вторитъ: «Христосъ воскрес!»

И старое сердце забыло про жизнь, полную заботъ и обиды... Забылъ старый звонарь, что жизнь для него сомкнулась въ угрюмую и тѣсную вышку, что онъ въ мірѣ одинъ, какъ старый пенъ, разбитый злою непогодой... Онъ слушаетъ эти звуки, поющіе и плачущіе, летящіе къ горнему небу и припадающіе къ бѣдной землѣ, и кажется ему, что онъ окруженъ сыновьями и внуками, что это ихъ радостные голоса, голоса большихъ и малыхъ, сливаются въ одинъ хоръ и поютъ ему про счастье и радость, которыхъ онъ не видалъ въ своей жизни... И дергаетъ веревки старый звонарь, и слезы бѣгутъ по лицу, и сердце усиленно бьется иллюзіей счастья...

А внизу люди слушали и говорили другъ другу, что никогда еще не звонилъ такъ чудно старый Михѣичъ...

Но вдругъ большой колоколь неувѣренно дрогнулъ и смолкъ... Смущенные подголоски прозвенѣли неоконченною трелью и тоже оборвали ее, какъ будто вслушиваясь въ печально-гудящую долгую ноту, которая дрожить и льется, и плачетъ, постепенно стихая въ воздухѣ...

Старый звонарь изнеможенно опустился на скамейку, и двѣ послѣднихъ слезы тихо катятся по блѣднымъ щекамъ...

Эй, посылайте на смѣну! Старый звонарь отзвонилъ...

В. Короленко.

Старый капралъ.

(Изъ Беранже).

Въ ногу, ребята, идите:

Полно, не вѣшать ружья!

Трубка со мной... проводите

Въ отпускъ безсрочный меня.

Я былъ отцомъ вамъ, ребята....
 Вся въ сѣдинахъ голова...
 Вотъ она—служба солдата!...
 Въ ногу, ребята! Разъ! Два!
 Грудью подайся!
 Не хнычь, ровняйся!...
 Разъ! Два! Разъ! Два!

Да, я прибилъ офицера:
 Молодъ еще оскорблять
 Старыхъ солдатъ. Для примѣра
 Должно меня разстрѣлять.
 Выпилъ я.... Кровь заиграла....
 Дерзкія слышу слова—
 Тѣнь Императора встала....
 Въ ногу, ребята! Разъ! Два!
 Грудью подайся!
 Не хнычь, ровняйся!
 Разъ! Два! Разъ! Два!

Братцы! Солдатскіе годы,
 Служба—въ рукахъ у судьбы....
 Помню я наши походы,
 Время великой борьбы.
 Эхъ! наша слава пропала....
 Подвиговъ нашихъ молва
 Сказкой казарменной стала...
 Въ ногу, ребята! Разъ! Два!
 Грудью подайся!
 Не хнычь, ровняйся!...
 Разъ! Два! Разъ! Два!

Ты, землячокъ, поскорѣе
 Къ нашимъ стадамъ воротись:
 Нивы у насъ зеленѣе,
 Легче дышать.... поклонись

Храмамъ селеня роднова....
Боже! Старуха жива!...
Не говори ей ни слова...
Въ ногу, ребята! Разъ! Два!
Грудью подайся!
Не хнычь, ровняйся!
Разъ! Два! Разъ! Два!

Кто тамъ такъ громко рыдаетъ?
А! я ее узнаю....
Русскій походъ вспоминаетъ....
Да, отогрѣлъ всю семью....
Снѣжной, тяжелой дорогой
Несъ ея сына.... Вдова
Вымолить миръ мнѣ у Бога....
Въ ногу, ребята! Разъ! Два!
Грудью подайся!
Не хнычь, равняйся!...
Разъ! Два! Разъ! Два!

Трубка, никакъ, догорѣла?
Нѣтъ, затянусь еще разъ.
Близко, ребята. За дѣло!
Прочь! не завязывать глазъ.
Цѣлся вѣрнѣе! Не гнуться!
Слушать команды слова.
Дай Богъ домой вамъ вернуться.
Въ ногу, ребята! Разъ! Два!
Грудью подайся!...
Не хнычь, равняйся!...
Разъ! Два! Разъ! Два!

В. Курочкинъ.

Безпріютный.

...Я сидѣлъ у воротъ на лавочкѣ въ одной маленькой при-шоссейной деревушкѣ, весь отдавшись нѣмому созерцанію шум-ныхъ шоссейныхъ проявленій.

Все обстояло благополучно: въ десяти домахъ, изъ которыхъ состояла деревушка, я насчиталъ шесть кабаковъ, три бѣлыя харчевни, два постоянныхъ двора и нѣсколько мелочныхъ лавочекъ. Такой широкій коммерческій размахъ и притомъ въ такомъ незначительномъ уголкѣ давалъ бы самое отличное по-нятіе о торговой предприимчивости туземцевъ, если-бы вся деревенька, въ буквальномъ смыслѣ, не была залита мертвецки-пьяными толпами, которыя бѣсновались на улицѣ на разные манеры.

Звуки гармоникъ и балалаекъ, лившіеся изъ широко-распах-нутыхъ кабаковъ, горластыя пѣсни и унылые взвизги искалѣ-ченныхъ шарманокъ,—все это скорѣе располагало думать не о торговомъ пунктѣ, въ которомъ кипитъ энергическая и болѣе или менѣе молчаливая работа, а какъ бы о какомъ-то сказоч-номъ *островѣ безпрерывныхъ веселостей и наслажденій*.

Бравой походкой, нисколько несвойственной сивымъ боро-дамъ, ко мнѣ подскочилъ вдругъ какой-то старикъ, голова ко-торого вся поросла сѣдыми, лохматыми космами. Театрально подперши руки въ бока, онъ уставилъ въ меня свои малень-кіе, съуженные глазки и съ азартомъ закричалъ:

— Подъ сюда! подавай мнѣ, майору, сію же минуту ле-портъ.

Тутъ старикъ топнулъ ногою, сморщилъ брови, повелительно надулъ губы — и въ такой позѣ долго и пристально всматри-вался въ меня, какъ будто заранѣе обсуждая содержаніе ожи-даемаго отъ меня лепорта.

— Ха, ха, ха! — разразился онъ наконецъ старческимъ хо-хотомъ, пополамъ съ удушливымъ кашлемъ. — А ты думалъ, золотой, что это я на тебя вправду команду? А, ха, ха, ха! Нѣтъ, братъ, я добрый.

Не смотря на разныя развеселыя шутки, которыя продѣлывалъ старикъ, мнѣ легко было повѣрить словамъ его рекомендаціи: красноватые и слезливые глаза его въ дѣйствительности были очень добры и кротки.

Еще въ первые дни моего знакомства съ деревушкой, прежде всѣхъ ея шоссейныхъ дивъ, я уже примѣтилъ этого старика въ истасканномъ сѣромъ чапанѣ, молодецки накинутаго на одно плечо, и всегда безъ шапки. Случалось и такъ, что его выкрики залетали съ шоссе въ мою комнату и будили меня. Они даже предупреждали ранніе звуки пастушьего рога. Однимъ еще только глазкомъ солнце поглядывало на шоссейныя безобразія, продѣланныя ночью, а уже мнѣ слышно было, какъ старикъ, то, какъ бы буйствуя, погаркивалъ на проѣзжавшіе по улицѣ народы, возводя ихъ, болѣе чѣмъ скромныя, общественныя положенія, въ высокіе ранги генераль-майоровъ, полковниковъ и даже, какъ онъ говорилъ, фидьмаршаловъ,—то своимъ обыкновеннымъ ласковымъ тономъ онъ привѣтствовалъ всю эту трудовую, закорузлую и потому страшно обозленную толпу граціозными эпитетами, въ родѣ: золотенькаго, милашечки, голубочка, андельчика, и т. д. до безконечности.

Еще на желтомъ отъ ночной росы шоссе рѣяли какія-то сѣренькія, игривыя тѣни, обыкновенно летающія въ предутренней молчаливой природѣ,—еще изъ пьяныхъ головъ, безпомощно пріютившихся въ канавахъ, прохладная ночь не успѣла прогнать сумасбродныхъ грезъ, а старикъ уже дежурилъ на шоссе — и, по своему обыкновению, пошумливалъ и погаркивалъ:

— Литенантъ! Ты што дѣлаешь, бѣсъ? А?

— Пааш-шолъ-тъ тты!..—уклончиво отвѣчало ему веселое утро угрюмымъ и пропившимся басомъ.

— Какъ пошолъ! Ты это, дьяволокъ, лошадей-то мутной водой поить вздумалъ? Ты рази не знаешь, какъ лошади на вапшего брата за это серчаютъ?.. А?..

— Па-аш-шолъ!..

— Осина горькая! Поди чаю напейся съ похмѣлья-то, али вина. Очнись! Я ужъ самъ коней-то напою. Нечево кулачи-

ной-то намахиваться. Самъ тебя завсегда могу смазать, золотенькій! Этакъ ли тебѣ сладко покажется отъ моего засвѣту!.. Хе, хе, хе!

— Па-аш-шол-ль!—вмѣстѣ съ пропившимся утреннимъ голосомъ погромыхивали бубенцы чьихъ-то измученныхъ и потому вздрагивавшихъ лошадей.

Слышно было, какъ кто-то пересиливалъ кого-то, потомъ что-то тяжелое грозно бухалось въ телѣгу, раздавался топотъ копытъ, сопровождаемый звономъ бубенцовъ—и, послѣ всего этого, на затихшемъ на минуту шоссе, снова полетывалъ беззаботною птицей веселый крикъ старика:

— Съ Бог-гомъ! Супругѣ! Дѣткамъ! Скажи имъ: дѣдъ, молю, вамъ по гостинчику обѣщаль принести. Хе, хе, хе! Любятъ ребята гостинцы-то ѣсть...

Какъ-то особенно пріятно было просыпаться отъ этого веселаго и шутиваго голоса.

Встанешь, разбуженный имъ, выйдешь къ воротамъ и видишь: стоитъ на шоссе какой-то отрепанный старикашка въ самой обезпеченной позѣ, распѣваетъ онъ различныя веселыя пѣсни, прерывая ихъ по временамъ для того, чтобы предупредить путниковъ на счетъ пріятныхъ случайностей, могущихъ встрѣтиться съ ними на шоссеиномъ пути.

— Э-э-э! Проснись, проснись поскорѣе, удалецъ! А то на одной оглоблѣ домой-то поѣдешь. Вишь, вонъ молодцы-то какіе милые въ канавѣ-то залегли. Это они твои боченочки облюбовываютъ...

— Што? што?—торопливо спрашиваетъ сонный проѣзжіи.

— Ничево! Губернаторъ проѣхалъ сейчасъ, такъ приказывалъ тебѣ верхнюю губу колесомъ отдавить. Распустилъ ты ее очень по дорогѣ-то! Эхъ! Не бережливъ же ты, паренекъ, насчетъ губъ,—шутилъ старикъ, между тѣмъ какъ милые молодцы, любовавшіеся на боченки проѣзжаго, подняли изъ канавы шаршавыя головы и принялись грозить старику:

— Погоди, майоръ! Погоди, старая шельма! Попадешься ты къ намъ когда-нибудь въ лапу. Мы тебя погладимъ...

— Ладно!—соглашается старикъ—и въ ту же минуту всѣмъ

его вниманіемъ овладѣваетъ какая-нибудь другая жизнь, появившаяся на шоссе.

Мнѣ давно хотѣлось затащить къ себѣ этого старика и вотъ онъ сидитъ со мной на приворотной лавочкѣ, наивно рекомендуетъ свою собственную доброту, дружески поталкиваетъ въ бокъ и, осмотрѣвши меня своими какъ бы на что-то жаловавшимися глазами, вдругъ освѣдомляется:

— А что, полковничекъ (какъ бы тебѣ о семъ дѣлѣ доложить?), нѣтъ ли у тебя пяточка взаймы до завтрашняго утра? Вѣрь, другъ, отдамъ. Вотъ, наносу завтра воды въ трактиръ и отдамъ. Я на этотъ счетъ справедливъ. Ты, можетъ, полагаешь, что я, выпивши, забуяню, или за нехорошія слова примусь? Ни! Ни! Выпить я—выпью; но забидѣть кого? Да сохрани меня Царь небесный!

Говорилъ это старикъ убѣдительнымъ тономъ челоуѣка, который всѣ свои силы направилъ къ тому, чтобы и другіе, какъ и онъ, выпивать бы себѣ выпивали, а буянить или нехорошими словами ругаться,—ни, ни! Сохрани Богъ!

— Ухъ! Забрусило какъ натошакъ-то!—блаженно покряхтывалъ старикъ, закусывая кренделькомъ наскоро обдѣланную выпивку.—Какъ есть, по-майорски хватилъ—цѣльную косушку. Хе! То есть, такъ это пріятно съ просонья старичку Божьему опохмѣлиться. Очень дюже согрѣваетъ. Я только однимъ виномъ и держусь теперь. Ежели бы я имъ не занимался, давно бы ужъ и порѣшилъ. Такъ точно! Ты, братъ полковникъ, не сомнѣвайся! Нечего на меня глазами-то вскидывать... Мнѣ объ этомъ лѣкарь одинъ говорилъ. Онъ теперь, извѣстно, самъ съ кругу спился—и признаться, даже въ запивойствѣ въ своемъ приворовывать, по малости, сталъ: но л-лѣч-чить... размоѣ моѣ!.. Можно чести приписать! Имѣетъ похвальные листы отъ именитыхъ господъ. Бумаги широкія — и все съ разноцвѣтными печатями: кое мѣсто изъ краснаго сургуча приляпана, кое изъ зеленаго. Ну, теперича ходитъ онъ по нашимъ палестинамъ и, къ примѣру, исцѣляетъ... Такъ што же я тебѣ скажу, сударь ты мой? Сидимъ мы съ нимъ однажды въ кабацѣ, онъ мнѣ и

объявляетъ: «ежели ты», говорить, «Федоръ, не желаешь скончаться скоростязно, такъ до самой смерти безъ перерыву и пей. И не увидишь», говорить, «какъ умрешь. Словно, какъ бы на телѣжкѣ подѣ гору скатишься... А перервешь, будетъ съ тобою ударъ». У него такихъ случаевъ много бывало,— какъ же! Я, признаться, вѣрю ему, потому, ахъ, какой добрый человѣкъ этотъ лѣкарь! Да по нашимъ сторонамъ всѣ ему вѣрятъ, и денегъ съ него никто не беретъ, ни за ѣду, ни за ночлегъ; а бабы ему—такъ и рубашками жертвуютъ—старенькими. Нелзя, другъ, не жертвовать. Слабъ-слабъ, а все же онъ человѣкъ есть. Такъ ли я говорю, господинъ фидьмаршалъ?

— Такъ! Такъ!—поспѣшилъ я согласиться съ старикомъ, не желая прерывать ринувшагося на меня словеснаго потока, который лился изъ стариковскихъ устъ съ тѣмъ поражающимъ обиліемъ, съ какимъ обыкновенно разговариваютъ люди, приученные своею придорожною жизнію непремѣнно потолковать съ первымъ встрѣчнымъ.

— Не такай, голубица! Не поддакивай!—остановилъ старикъ мое поспѣшное согласіе съ выраженнымъ имъ мнѣніемъ.—Сами знаемъ, что добродѣтель-то значить. У насъ тутъ, вотъ я тебѣ расскажу, каковъ случаекъ былъ: плѣннаго турку ребята наши до смерти зашутили. Отъ Севастополю онъ остался. Встрѣтился кто, бывало, съ нимъ на улицѣ, сейчасъ въ бокъ. Здравствуй, говорятъ, туретчина! Извѣстно, онъ одинокій — и опять же нехристь. Бывало, хватятъ—хватятъ по колпаку-то по ихнему; а онъ только что глаза уставить, ровно бы барашекъ бѣсноватый, а изъ глазъ у него слезы-то, слезы-то... Ахъ, Б-боже ты мой милосердый! Помирать стану, такъ вспомню, какъ эти грѣшныя слезы точились... Три года мучился онъ такимъ-то манеромъ, — ругаться, было, понашенскому привыкать сталъ, и все-то это въ акуратѣ; ну, однако, слегъ — не стерпѣлъ... Вижу я расплохія его дѣлишки, прихожу: сейчасъ ему водки, горяченькаго пирожка такожде кое-откуда раздобылъ. Гляжу: онъ пялитъ на меня глаза, словно бы и я его, какъ ребята наши, бить собираюсь, руками на небо кажетъ — и со слезами хрипитъ мнѣ: «Русь! Русь! Старыкъ! Господы»!..

Такъ вотъ ты и думай тутъ, господинъ полицмейстеръ, что значить добродѣтель-то свою объявить человѣку: нехристь, а ежели ты съ ней по душевному обойдешься, такъ и ей, не бойсь, Господь-то Богъ батюшка за первое дѣло припомнится...

— Но въ этомъ разѣ я очень грѣшонъ!—сокрушенно исповѣдывался старикъ. — Потому какъ, — растягивалъ онъ свою рѣчь,—повадился я къ тому турку каждый день съ винищемъ съ эстимъ поганымъ шататься,—полагалъ дуракъ, что это ему въ утѣшеніе и въ усладу пойдетъ—и такъ это онъ отъ меня къ вину приучился... Такъ приучился,—страсть. Умирать когда сталъ, совсѣмъ на послѣдяхъ ужъ бормочетъ: дай-ка, дай!.. говорить. Даешь!.. Потому какъ не дать больному человѣку?.. Но, милый генераль, замѣсто того, я всегда желалъ его, штобы, то-есть къ христіанской вѣрѣ... Не попущено!.. Все грѣхи наши!.. А? Какъ ты рассуждаешь? Ежели бы не грѣхи-то?.. А?...

Глубокое уныніе, съ которымъ старикъ дѣлалъ послѣдніе вопросы, было нарушено приходомъ къ намъ содержателя того постоялаго двора, въ которомъ я пріютился. Это былъ высокій, крѣпкій старикъ, въ дутыхъ, ярко-вычищеннымъ сапогахъ и съ большою связкой ключей, висѣвшей у него на поясѣ. Онъ тоже усѣлся съ нами на лавочку и, снисходительно улыбаясь, выслушивалъ, какъ Ѳеодоръ Василичъ рекомендовалъ мнѣ его, какъ самаго лучшаго губернатора.

— Нѣтъ, ты гляди, баринокъ,—съ непоколебимой вѣрой въ состоятельность своихъ словъ покрикивалъ Ѳеодоръ Василичъ.— Глянь: чѣмъ это не губернаторъ? Онъ всей деревнѣ у насъ комендантъ. Ах-хъ! И добръ же только! Какой онъ мнѣ, пьяницѣ, завсегда пріютъ даетъ: лѣтомъ на сѣнѣ, зимой на печи разлягусь,—бѣда!

Говоря это, старикъ любовно обнималъ и цѣловалъ степеннаго содержателя постоялаго двора, повертывая его предо мною во всѣ стороны, показывая мнѣ такимъ образомъ то его широкую ситцевую спину и высокіе, свѣтлые задники сапогъ, то тоже ситцевую и широкую грудь и снисходящее до шутилой улыбки серьезное, стариковское лицо—и подобные пере-

верты продолжались до тѣхъ поръ, пока какая-нибудь новая сцена на улицѣ не призвала майора на подмогу своей безпомощности.

— Майоръ! Другъ!—кричалъ кто-то у окошка, колотясь головой объ грядущки телѣги, которую съ увлекающей бойкостью несла по шоссе маленькая вятка. увѣшанная бубенцами *малиноваго звону*. — Приостанови, сердечный, дьяволенка-то! Купилъ себѣ новаго чорта; ни-за-што не стоитъ. Ужъ я ему и бубенцы-то новые понавѣшалъ (слышь вонъ, какъ позваниваютъ, — разлюли малина!), и розовыхъ лентъ-то въ гриву наплелъ, — бѣсится и конченъ балъ!

— Хо, хо!—завопилъ майоръ не своимъ голосомъ, покидая тряску, которую онъ задавалъ содержателю постоялаго двора и бросаясь на средину шоссе, прямо на перерѣзъ взбудораженной хозяйскими ласками лошади. Схвативши ее за узду въ то время, когда она бѣшено вставала на дыбы отъ неожиданнаго препятствія, майоръ радостно вскрикиваетъ:

— А-а, Гаврюшка? Т-ты? Какъ супруга? Дѣтки?

— Слава Богу! — отзывается Гаврюшка, барахтаясь въ телѣгѣ. — Майоръ! Подними, милый человѣкъ...

— Такъ-то, другъ!—развеселялъ старикъ. иногда недолгіе дни нашего съ нимъ дружнаго сожительства, когда въ нихъ вкрадывалась какая-нибудь пасмурная, молчаливая минута. — Вотъ, братъ, мы таперича вмѣстѣ съ тобою живемъ. Живемъ-поживаемъ, добро наживаемъ, а худо сбываемъ... Тоже и я сказки-то знаю, — не гляди, что старикъ. Што приунылъ? Авось не въ воду насъ съ тобой опускаютъ. Сбѣгать, што-ли? подмаргивалъ онъ глазкомъ въ сторону одного увеселительнаго заведенія, которое всегда снабжало его самыми дѣйствительными лѣкарствами отъ всѣхъ болѣзней — душевныхъ и тѣлесныхъ.

Энергіи и умѣнию старика, съ какими онъ, смѣясь и разговаривая, подметалъ комнату, зашивалъ свою рубашку, наливалъ чай, ваялъ сатого, предательски захваченные еще съ

вечера на сосѣдній съ нашимъ жильемъ сѣноваль, — рѣшительно не было предѣловъ. Вообще это было какое-то всѣми нервами дрожавшее и пѣвшее существо тогда, когда ему приходилось выхвалять доблести постороннихъ людей, и какъ-то странно унывавшее и съеживающееся въ случаяхъ, ежели чье-нибудь любопытство старалось заглянуть въ его собственную жизнь.

Неустанное шоссейное движеніе, которое мы обыкновенно созерцали съ старикомъ съ балкона, вызывало въ немъ тысячу разказовъ, имѣвшихъ цѣлью не только что познакомить меня съ промелькнувшимъ сейчасъ человѣкомъ, но, такъ сказать, ввести въ его душу, взглядѣться въ нее, вдуматься и потомъ уже, вмѣстѣ съ нимъ, одною согласною рѣчью удивиться той несказанной добротѣ, которая, по стариковымъ словамъ, сидитъ въ этой душѣ испоконъ вѣка».

— Другъ! Проснись! — поталкивалъ онъ меня локтемъ въ бокъ, когда я принимался за какую-нибудь книгу, или просто такъ о чемъ-нибудь задумывался. — Вишь: самоваръ-отъ какъ попыхиваетъ! Глядѣть лучше будемъ, да чай пить, чѣмъ въ книжку-то... Смотри, сколько народу валить, — бѣда!

Начинались нескончаемыя, одна другой страннѣе, характеристики проѣзжающаго народа. Разсказывались онѣ такъ же быстро и смѣшанно, какъ быстро и смѣшанно, обгоняя другъ друга, стремились куда-то дорожные люди.

— Майоръ! какъ это тебя на балконъ-то внесло? — шутить какой-то благообразный купецъ, остановивши напротивъ насъ свою красивую тѣлежку. — Братцы мои! Да онъ съ господиномъ чай расхлебываетъ, да еще съ ложечкой!.. Ужъ пить бы ты лучше мать сивуху одну, — шутитъ. Слѣзай — поднесу.

— Надо бѣжать! — говорилъ мнѣ майоръ послѣ запроса, предложеннаго имъ купцу, относительно благоуспѣшности его дѣла. — Человѣкъ-то очень хорошъ. Больно покладистый гусаръ! Ты не глуши самовара докуда, я мигомъ назадъ оберну.

Возвращался старикъ съ щеками, нѣжно подмалеванными ярко-розовой краской. Благодушно покашливая, онъ подчивалъ меня гостинцами, полученными отъ купеческихъ щедротъ, и говорилъ:

— Купай колбаску-то, не брезгай! Съ чесночкомъ! Она, братъ, чистая, только изъ лавки сейчасъ. Яблочкомъ вотъ побалуйся. Н-ну, другъ, вотъ такъ гражданинъ!

— Кто?

— А вотъ этотъ самый, который угощаль-то! Капиталами какими ворочаетъ, не то, что мы съ тобой. И съ чего только, подумаешь, взялся человекъ? Помню я, мальчишкой онъ иголками торговалъ. А теперь у него по дорогѣ, калашныхъ однихъ штукъ двадцать разсыпано. Кабаковъ сколько, постоянныхъ дворовъ,—не счесть! Женатъ былъ на трехъ женахъ—и все на богатыхъ. Родные ихніе какъ къ нему приставали: отдай,—говорятъ,—намъ обратно приданое; но онъ на нихъ въ судъ. Умень на эти дѣла,—всѣхъ перетягаль...

— Да что же тутъ хорошаго, дѣдъ? По настоящему-то мерзавецъ выходитъ.

— А я про што-жъ?—отвѣчаетъ дѣдъ.—Ты думаешь, я его хвалю за это, што-ли? Да я его онамедни вонъ въ этой харчевнѣ, при всемъ при народѣ, такъ-то ли отхвостилъ,—не посмотрѣлъ, что богачъ (признаться, были мы съ нимъ тогда здорово подкутимши). Я шумлю ему: зачѣмъ ты изъ своихъ работниковъ кровь пьешь? Зачѣмъ ты имъ денегъ не платишь,—по мировымъ да по становымъ поминутно таскаешь? Попомни, говорю, меня: ужъ накажетъ тебя Господь Богъ за такія дѣла, взыщеть Онъ съ тебя за рабочія слезы, за каждую капельку... Што же ты думаешь онъ мнѣ въ отвѣтъ на это? Заплакалъ вѣдъ,—самою что ни есть горячею слезою залился и говорить: «перестань меня срамить, Ѳедоръ Василичъ! Чувствую самъ—взыскъ съ меня большой будетъ на страшномъ судѣ; но иначе жить мнѣ невозможно никоимъ образомъ. «Сначала, говорить, мошенничаль я кое отъ бѣдности, кое себя отъ другихъ аспидовъ сберегалъ, а теперь привыкъ, втянулся... Надуваю когда какого человека, или просто, смѣха для ради, каверзу ему какую-нибудь подстраиваю, все нутро изнываетъ у меня отъ радости,—голова, ровно у пьянаго, кружится... И никакими манерами въ тѣ поры мнѣ совладать съ собой невозможно... А што,—говорить,—Ѳедоръ Василичъ, на счетъ сердца, такъ

я очень доберъ: бѣдность всячески сожалѣю и очень ее понимаю; но только чтобъ я помогъ ей,—никогда! Хошь расказни, такъ ни гроша не дамъ, потому какъ только она, бѣдность-то, пооправится, встанетъ на ноги-то, пооперится бездѣлицу, надъ тобой же надсмѣется и тебя же обманетъ»...

— Вѣдь што только придумаетъ человѣкъ на свою муку?— продолжалъ старикъ въ сильномъ раздумѣ.— Вотъ ты тутъ и суди про людей. Я, другъ, какъ услышалъ отъ него такія слова, не стерпѣлъ: самъ заплакалъ—и нетома што срамить... Ужъ до сраму ли тутъ, когда видишь, что человѣкъ объ своихъ грѣхахъ сокрушается не слезами, а всей кровью... Утѣшалъ, утѣшалъ я его, такъ и бросилъ, потому принялся онъ въ трактирѣ скатерти рвать и посуду бить... Харчевнику это на руку, потому богачъ,—очнется, за все наликкомъ платить... Еще харчевники-то нарочно такихъ людей поддразниваютъ: а ну-ка,—говорять,— разбей посудину при мнѣ... «Ежели бы ты,—натравливаютъ,—при мнѣ смѣлъ этакъ сбѣдокурить... А, ну-ка, ну-ка тронь!.. Тронь!..» Такъ-то, другъ! Можно, можно, сердечный, къ такому привыкнуть,—самому на себя глядѣть тошно будетъ... Съ кѣмъ поведемся... По себѣ знаю...

Думалось въ это время, что старикъ, по любимому людскому обычаю, сейчасъ же начнетъ разсказывать какія-нибудь событія изъ своей собственной жизни, которыя бы подкрѣпляли его мысль насчетъ человѣческой способности переламываться и склоняться въ сторону, совершенно противоположную природнымъ влеченіямъ,—такъ и ждалось, что вотъ-вотъ изъ стариковской памяти вырвутся разсказы и воспоминанія о тѣхъ людяхъ, связь съ которыми научала его *по себѣ знать* и видѣть разнообразныя человѣческія немощи, подвигающія на участіе къ нимъ, тамъ, гдѣ другіе люди видятъ одни грѣхи и преступленія, достойныя кары...

Но никогда не исполнялось мое ожиданіе. Подкарауливши за собою слово «по себѣ знаю», старикъ съезживался, конфузливо и секретно поглядывалъ на меня, бормоталъ что-то въ родъ того, что слово не воробей, а летаетъ,—и наконецъ

стремительно перескакивалъ къ другимъ людямъ и толковалъ о другихъ людяхъ, попадавшихся на его зоркій глазъ.

Оглушающее и слѣпящее жужжанье и роенье разнохарактерной шоссейной толпы ничуть не смущало старика и ни на волосъ не отвлекало его отъ глубоко-засѣвшей въ немъ мысли—неизбѣжно заканчивать самымъ оправдывающимъ и даже хвалебнымъ акаѳистомъ всѣ свои повѣствованія о различныхъ жизненныхъ промахахъ шоссейцевъ, объ ихъ умышленныхъ подлостяхъ, пошлостяхъ, какъ говорится, *съ дубу* и т. д. и т. д.

— Што доброты въ этомъ человѣкѣ, Боже ты мой!—неопредѣленно покивая на кого-то головою, задумчиво говорилъ старикъ.—Вотъ ужъ ей-Богу! Зависти во мнѣ ни къ кому, а ему, ежели онъ примется людямъ милостыню дѣлать, завидую,—въ этомъ я грѣшнѣй! Рубаху онъ тогда съ себя скидываетъ,—смѣючись благолѣпно, пиценькому ее отдаетъ,—на плечи къ нему съ цѣлованіемъ братскимъ головою поникнетъ и, плачучи, скажетъ: ахъ! нѣтъ у насъ съ тобой силушки-матушки! Потерпимъ собча, другъ мой сердечный, во имя Господне!..

— Это ты, дѣдушка, все насчетъ купца?

— Какое тамъ лѣшаго про купца?—сердился дѣдъ и тыкалъ пальцемъ на шоссе; а тамъ шагала какой-то высокій, съ коломенскую версту, рыжій человѣкъ, худой и блѣдный, въ обдерганномъ тряпѣ и босовикахъ, на которые прихотливыми фестонами опускались концы пестрядинныхъ штановъ. Шелъ этотъ человѣкъ широкимъ, но медленнымъ шагомъ, опустивши голову и сложивши руки на груди. По временамъ его ввалившіяся, блѣдныя щеки вздувались, и тогда онъ болѣзненно кашлялъ. Гулко раздавался по деревушкѣ этотъ октавистый, напоминавшій гнѣвное львиное рыканіе, кашель; но старикъ, не обманываясь силой этого голоса, говорилъ мнѣ:

— Ты на голосину на эту не гляди! Не долго ей на семь свѣтъ осталось гудѣть. До осени, можетъ, какъ-нибудь перетерпитъ. Онъ къ намъ годовъ съ пятнадцать тому прилетѣлъ

и сталъ наниматься траву косить. Говорить: «больше ничего не умѣю!» а у насъ, я тебѣ скажу, ежели захожій человѣкъ хорошъ, такъ на счетъ пачпортовъ слабо. Даль тамъ что-нибудь Гаврилъ Петровичу (писарь у становаго живетъ) отъ своихъ трудовъ праведныхъ,—шабашъ! Живи—не тужи! Вотъ онъ и живетъ у насъ, да косьбой и дроворубствомъ себя и пропитываетъ...

Въ этомъ мѣстѣ разсказа старикъ наклонился къ моему уху и таинственно зашепталъ:

— Мы, братъ, друзья съ нимъ бѣдовыя! Онъ изъ Москвы, и отецъ у него, какъ бы тебѣ сказать, потомственный почетный гражданинъ. За свою торговлю самимъ царемъ произведенъ во дворяне и имѣетъ у себя на шеѣ генеральскія звѣзды всѣ до одной. Ну, а этотъ изъ юности еще маненечко разсудкомъ тронуть... Отъ Библии... Присталъ, сказываютъ, любименькій сынокъ къ отцу, чтобы онъ, къ примѣру, роздалъ бы, какъ Иисусъ Христосъ повелѣлъ, все свое имущество бѣднымъ... Отецъ его сначала лѣчить принялся, а онъ ему все: «въ тебѣ, говорить, тятенька, правды нѣтъ! Ты, разговариваетъ, царства небеснаго не наследуешь». Старикъ смотрѣлъ-смотрѣлъ на него, да и проклялъ... Онъ вотъ взялъ, прибѣжалъ къ намъ—и живетъ,—смирно живетъ: дрова рубить, сѣно косить,—рыбки вонъ тоже кое-когда случается ему изловить,—продаетъ—и питается. Смирно живетъ, только въ случаѣ, ежели пьяная муха ему въ голову залетитъ, къ богачамъ всячески придирается... Терпѣть ихъ не любить! А мѣсто у насъ, самъ видишь, бойкое,—проѣзжаетъ всякій человѣкъ. Отъ скуки, извѣстно, полоумнаго всякій напоить, а онъ послѣ этого только встрѣтитъ кого мало-мальски съ мощной,—сейчасъ руки въ карманы, по барскому, и пошумливаетъ себѣ: «дорогу дай московскому первой гильдіи купцу Аѳанасію Ларивонову! А то морду разшибу»...

Бьютъ его,—страсть какъ наши-то,—и смѣются! По началу, когда еще силенъ былъ, отбивался—и самъ всѣхъ больно колачивалъ; теперича ослабѣлъ! Я вотъ иной разъ умаливаю, чтобы отпустили... Опохмѣли ты его, Христа ради, голубчикъ!

У него и радостей только осталось, что ежели сердце потеплѣетъ отъ выпивки. Ахъ, и добродѣтеленъ же этотъ человѣкъ передъ Господомъ Богомъ! Дай мнѣ, дурачокъ, гривенничекъ,—я ему снесу. Богъ съ нимъ! Ты не жалѣй, братъ, денегъ-то! Пусть онъ повеселится передъ своимъ послѣднимъ концомъ...

Такимъ образомъ шла наша жизнь съ старикомъ, какъ онъ говаривалъ, въ полномъ удовольствіи, безъ обиды...

— Ахъ, ангелы небесные!—восклицалъ онъ въ минуты внезапно откуда-то наплывавшаго на него счастья.—Какъ это я съ самаго съ измальства, люблю жить съ людьми тихо, скромно, благородно...

— Дѣло вѣдомое!—сатирически соглашался съ нимъ содержатель постоялаго двора, случайно подслушавшій стариковское воззваніе.—То-то, должно быть, твое благородство и проходу-то никому никогда не давало... Мальцемъ былъ, колдотилъ всѣхъ...

— А дражили вы меня очень, сердечный! Нельзя было иначе-то... Опять же глупость моя... Силенка тоже... Э-эх-хе-хе! Другъ! Другъ! За это взыскивать рази возможно?

— Выросъ, изъ ученья убѣгъ—пропалъ...

— Люди нехорошіе соблазнили, милъ-человѣкъ! Опять же холодъ этотъ мастеровой, голодъ... Ночей не спали, черствого куска не доѣдали... Ты поживи-ко-съ въ Москвѣ-то, другъ! Не даромъ про нее пословица ходитъ: Москва,—говорить,—слезамъ не вѣрять... Тутъ, братецъ ты мой, за кѣмъ хочешь, пойдешь, какъ бы собака какая голодная... Передъ всякимъ хвостикомъ-то повиляешь...

— Што ты мнѣ про это разговариваешь?—сердито продолжалъ свое обвиненіе содержатель постоялаго двора.—Ну прибѣгши къ намъ, што ты сталъ дѣлать? Опаивать, на всякое буйство травить... Какой ты есть человѣкъ?

— А это мнѣ съ товарищами, съ друзьями, желательно было кручину мою разогнать...

— Сговоришь съ тобой—съ бѣсомъ! Зачѣмъ же ты опять-то пропалъ?

— А надоѣли вы мнѣ!..—безъ запинки отвѣчалъ старикъ.—

Опротивѣли хуже соленого озера—вотъ я и убегъ. Опять же къ тому времени у меня еще охота приспѣла—постранствовать, святымъ мѣстамъ помолиться, хорошихъ людей пострѣть...

— З-знаемъ!—угрюмо говорилъ хозяинъ, выходя изъ комнаты и мимоходомъ бросая, видимо, ко мнѣ уже направленное замѣчаніе, насчетъ гдѣ-то будто бы существующихъ господъ, которые до того безстыжи, что водятся со всякой шусерой.

— Мужикъ, такъ и то изъ одной милости, ночовку даетъ, можно сказать ради Христа; а тутъ на-ка! За одинъ съ собой столъ пуцають... Шуты!

Такимъ образомъ, чѣмъ тѣснѣе устанавливалась наша съ майоромъ дружба, тѣмъ хозяйскія нападки на него дѣлались чаще и ожесточеннѣе.

— Онъ всегда такъ!—извиняющимъ шопотомъ говорилъ мнѣ майоръ послѣ трепокъ, задаваемыхъ ему нашимъ общимъ патрономъ.—Онъ не любитъ этого, чтобы, то-есть, я къ евойнымъ господамъ вхожъ былъ. Всегда, всегда такъ!.. А то онъ добрый!.. Ты на него не жалобься. Онъ, братъ, гляди какой! Просто, я тебѣ скажу... Поищи такого другого...

Старикъ при этомъ пугливо посматривалъ на дверь, обладавшею способностью разстраивать наши тихія бесѣды, какъ бы ожидая, что вотъ-вотъ отворится она—и покажетъ намъ сперва сѣдую, иронически-улыбающуюся голову, потомъ ярко вычищенные сапоги, которые, сверхъ всякаго человѣческаго ожиданія, заговаряютъ намъ живымъ языкомъ, въ одно и то же время и снисходительно и упречно:

«Ну, что, молъ, друзья? Какъ вы тутъ? Позвольте на васъ пострѣть?»

— Хорошій онъ, братъ, человѣкъ,—все болѣе и болѣе оправдывался старикъ подъ вліяніемъ ожидаемаго ужаснаго видѣнія.—Онъ тебя оборвать,—оборветъ,—это правда! Потому у него зубъ ужъ такой... Но за то, ежели бы ты зналъ, какъ онъ меня милуетъ?.. Вѣдь я тоже въ старину, о-охъ какой былъ! Ягода-малый! Вѣдь это онъ про меня все правду-матушку рѣ-

жеть. Много тоже и мы добрымъ людямъ тяготы понатворили. Запивохой былъ, буяномъ, драчуномъ былъ,—добрымъ человекомъ только не былъ... Нечего грѣха таить!..

Большой страхъ нагонялъ содержатель постоялаго двора на старика, такъ что ему надобилось очень много времени для того, чтобы свалить съ себя тяжелое впечатлѣніе и снова войти въ колею своихъ нескончаемыхъ восхваленій мелькавшей передъ нами жизни, точно также какъ и съ моей стороны требовалось изрядное количество малиновки, чтобы онъ скорѣе и успѣшнѣе могъ изъ мокрой, застращенной курицы превратиться опять въ майора и, вмѣсто унылаго раскаянія въ своихъ собственныхъ прошлыхъ грѣхахъ, принялся за убранство этой убогой людской суетни сокровищами своей доброй души.

А. Левитовъ.

С о н е т ъ.

Поэтъ сказалъ: «Блаженъ, кто съ молоду былъ молодъ!»
 О, да! Блаженъ сто кратъ, кто могъ въ разцвѣтѣ силъ
 Извѣдать прелесть грезъ, и въ комъ разсудка холодъ
 Къ добру и къ истинѣ стремленья не убилъ!
 Пусть не было ему ни славы, ни успѣха,
 Ни опьяняющихъ восторговъ и похвалъ;
 Пусть, кромѣ наглаго, бессмысленнаго смѣха,
 Онъ для себя иной награды не стяжалъ:
 Отзывчивой души прекрасныя движенія,
 Какъ сны отрадные, какъ свѣтлыя видѣнья,
 Онъ въ нѣдрахъ памяти любовно сбережетъ
 И, переживъ тѣхъ лѣтъ плѣнительную повѣсть,
 До гроба, какъ скрижаль, какъ знамя, донесетъ
 Мірскими благами не купленную совѣсть!

В. Лихачевъ.

Дурачокъ.

(Разсказъ.)

Кого надо считать дуракомъ? Кажется, будто это всякій знаетъ, а если начать свѣрять, какъ кто это понимаетъ, то и выйдетъ, что всѣ понимаютъ о дуракѣ неодинаково. По академическому словарю, гдѣ каждое слово растолковано въ его значеніи, изъяснено такъ, что «дуракъ—слабоумный человѣкъ, глупый, лишенный разсудка, безумный, шутъ»... Въ подкрѣпленіе такого толкованія приведенъ словесный примѣръ: „Онъ былъ и будетъ дуракъ дуракомъ“. «Дурачокъ — смягченіе слова дуракъ». Ученіе этого объясненія уже и искать нечего, а между тѣмъ въ жизни случается встрѣчать такихъ дураковъ или дурачковъ, которымъ эта кличка дана, но они, между тѣмъ, не безумны, не глупы и ничего шутовского изъ себя не представляютъ... Это люди любопытные, и про одного такого я здѣсь и разскажу.

Былъ у насъ въ деревнѣ безродный крѣпостной мальчикъ Панька. Росъ онъ при господскомъ дворѣ, ходилъ въ томъ, что ему давали, а ѣлъ на застольщинѣ вмѣстѣ съ коровницею и ея дѣтьми. Должность у него была такая, чтобы «всѣмъ помогать»; это значило, что всѣ должностные люди въ усадьбѣ имѣли право заставлять Паньку дѣлать за нихъ всякую работу, и онъ, бывало, безпрестанно работаетъ. Какъ сейчасъ его помню, бывало, зимою, — у насъ зимы бываютъ лютыя, — когда встанемъ и подбѣжимъ къ окнамъ, Панька уже везетъ на себѣ, изогнувшись, большія салазки съ вязанками сѣна, соломы и съ плетушками колоса и другого мелкаго корма для скотины и птицъ. Мы встаемъ, а онъ уже наработался, и рѣдко увидишь его, что онъ присядетъ въ скотной избѣ и ѣсть краюшку хлѣба, а запиваетъ водою изъ деревяннаго ковшика.

Спросишь его бывало:

— Что ты, Паня, одинъ сухой хлѣбъ жуешь?

А онъ шутя отвѣчаетъ:

— Какъ такъ «съ ухой»?—онъ, гляди-ко, съ чистой волицею.

— А ты бы еще чего-нибудь попросилъ: капустки, огурца или картошечки!

А Паня головой мотнетъ и отвѣчаетъ:

— Ну вотъ еще чего!... Я и такъ наѣлся,—слава-те, Господи!

Подпояшется и опять на дворъ идетъ таскать то одно, то другое. Работа у него никогда не переводилась, потому что всѣ его заставляли помогать себѣ. Онъ и конюшни, и хлѣва чистилъ, и скоту кормъ задавалъ, и овецъ на водопой гонялъ, а вечеромъ, бывало, еще себѣ и другимъ лапти плететь, и ложился онъ, бывало, позже всѣхъ, а вставалъ раньше всѣхъ до свѣта и одѣтъ былъ всегда очень плохо и скаредно. И его, бывало, никто и не жалѣетъ, а всѣ говорятъ:

— Ему вѣдь ничего,—онъ дурачокъ.

— А чѣмъ же онъ дурачокъ?

— Да всѣмъ...

— А напимѣръ?

— Да что за примѣръ!—вонъ коровница-то всѣ огурцы и картошки своимъ дѣтямъ отдаетъ, а онъ—хоть бы что ему—и не просить у нихъ, и на нихъ не жалуется. Дуракъ!

Мы, дѣти, не могли хорошо въ этомъ разобраться, и хоть глупостей отъ Паньки никогда не слышали и даже видѣли отъ него ласку, потому что онъ дѣлалъ намъ игрушечныя мельницы и тузочки изъ бересты,—однако и мы, какъ всѣ въ домѣ, одинаково говорили, что Панька—дурачокъ, и никто противъ этого не спорилъ, а скоро вышелъ такой случай, что объ этомъ уже и нельзя стало спорить.

Былъ у насъ нанятъ строгій-престрогий управитель, и любилъ онъ за всякую вину человѣка наказывать. Ъдетъ, бывало, на бѣговыхъ дрожкахъ и по всѣмъ сторонамъ смотреть: нѣтъ ли гдѣ какой неисправности. И если замѣтитъ что-нибудь въ

безпорядкѣ, сейчасъ же остановится, подзоветъ виноватаго и приказываетъ:

— Ступай сейчасъ въ контору и скажи моимъ именемъ старостѣ, чтобы дали тебѣ двадцать-пять розогъ; а если случайшъ,—я тебѣ вечеромъ при себѣ велю вдвое дать.

Прощенья у него ужъ и не смѣли просить, потому что онъ этого терпѣть не могъ и еще прибавлялъ наказаніе.

Вотъ разъ, лѣтомъ, ѣдетъ этотъ управляющій и видитъ, что въ молодыхъ хлѣбахъ жеребята ходятъ и не столько зелени рвутъ, сколько ее топчутъ и копытами съ корнями выколапываютъ...

Управитель и разшумѣлся.

А жеребятъ въ этотъ годъ былъ приставленъ стеречь мальчикъ Петрушка,—сынъ той самой Арины-коровницы, которая Панькѣ картошекъ жалѣла, а все своимъ дѣтямъ отдавала. Петрушка этотъ имѣлъ въ ту пору лѣтъ двѣнадцать и былъ тѣломъ много помельче Паньки и понѣжнѣе, за это его и дразнили «творожникомъ»,—словомъ, онъ былъ мальчикъ у матери избалованный и на работу слабый, а на расправу жидкій. Выгналъ онъ жеребятъ рано утромъ «на-росу», и стало его знобить, а онъ сѣлъ да укрылся свиткою, и какъ согрѣлся, то на него нашель сонъ,—онъ и заснулъ, а жеребятки въ это время въ хлѣбъ и взопли.

Управитель какъ увидалъ это, такъ сейчасъ стегнулъ Петю и говорить:

— Пусть Панька пока и за своимъ, и за твоимъ дѣломъ посмотреть, а ты сейчасъ иди въ разрядную контору и скажи выборному, чтобы онъ тебѣ двадцать розогъ далъ; а если это до моего возвращенья домой не исполнишь, то я при себѣ тогда тебѣ вдвое дамъ.

Сказалъ это и уѣхалъ.

А Петрушка такъ и залился слезами. Весь трясется, потому что никогда его еще розгами не наказывали, и говорить онъ Панькѣ:

— Братъ милый, Панюшка, очень страшно мнѣ... скажи, какъ мнѣ быть?

А Панька его по головкѣ погладилъ и говорить:

— И мнѣ тоже страшно было... Что съ этимъ дѣлать-то... Христа били.

А Петрушка еще горче плачетъ и говорить:

— Боюсь я идти и боюсь не идти... Лучше я въ воду кинуся.

А Панька его уговаривалъ, уговаривалъ, а потомъ сказалъ:

— Ну, постой же ты: оставайся здѣсь и смотри за моимъ и за своимъ дѣломъ, а я скорѣй сбѣгаю, за тебя постараюсь,—авось тебя Богъ помилуетъ. Видишь, ты трусь какой.

Петрушка спрашиваетъ:

— А какъ же ты, Панюшка, постараешься?

— Да ужъ я штуку выдумалъ—постараюсь!

И побѣжалъ Панька черезъ поле къ усадьбѣ рѣзвенько, а черезъ часъ назадъ идетъ, улыбается.

— Не робѣй,—говорить,—Петька, все сдѣлано; и не ходи никуда,—съ тебя наказанье избавлено.

Петька думаетъ:

«Все равно: надо вѣрить ему»,—и не пошелъ; а вечеромъ управляющій спрашиваетъ у выборнаго въ разрядной избѣ:

— Что пастушокъ утромъ приходилъ съчься?

— Какъ же,—говорить,—приходилъ, ваша милость.

— Взбрызнули его?

— Да,—говорять,—взбрызнули.

— И хорошо?

— Хорошо,—постарались.

Дѣло и успокоилось, а потомъ узнали, что высѣкли-то пастушонка, да не того, котораго было назначено, не Петра, а Паньку, и пошло это по усадьбѣ и по деревнѣ, и всѣ надъ Панькой смѣялись, а Петю уже не стали съчь.

— Что же,—говорили,—уже если дуракъ его выручить,—нехорошо двухъ за одну вину разомъ наказывать.

Ну, не дуракъ ли взаправду нашъ Панька былъ?

И такъ онъ все и дальше жить.

Сдѣлалась черезъ нѣсколько лѣтъ въ Крымѣ война и наче-

ли набирать рекрутъ. Плачь по деревнѣ пошелъ: никому на войнѣ страдать-то не хочется. Особенно матери о сыновьяхъ убиваются,—всякой своего сына жалко.

А Панькѣ въ это время уже совершенные годы исполнились, и онъ вдругъ приходитъ къ помѣщику и самъ просится:

— Велите,—говорить,—меня отвести въ городъ—въ солдаты отдать.

— Что же тебѣ за охота?

— Да такъ,—отвѣчаетъ,—очень мнѣ вдругъ охота пришла.

— Да отчего? Ты обдумайся.

— Нѣтъ,—говорить,—некогда думать-то.

— Отчего некогда?

— Да нешто не слышно вамъ, что вокругъ плачутъ, а я вѣдь любимый у Господа,—обо мнѣ плакать не кому,—я и хочу идти.

Его отговаривали.

— Посмотри-ка, молю, какой ты неуклюжій-то: надъ тобой на войнѣ-то, пожалуй, всѣ расхохочутся.

А онъ отвѣчаетъ:

— То и радостнѣй: хохотать-то вѣдь веселѣе, чѣмъ ссориться; если всѣмъ весело станетъ, такъ тогда всѣ и замиряются.

Еще разъ сказали ему:

— Утѣшай-ка лучше самъ себя да живи дома!

Но онъ на своемъ твердо стоялъ.

— Нѣтъ, мнѣ,—говорить,—это будетъ утѣшнѣе.

Его и утѣшили,—отвезли въ городъ и отдали въ рекруты, а когда сдатчики возвратились,—съ любопытствомъ ихъ стали спрашивать:

— Ну, какъ нашъ дуракъ остался тамъ? Не видали ли вы его послѣ сдачи-то?

— Какъ же,—говорять,—видѣли.

— Небось смѣются всѣ надъ нимъ,—какой увалень?

— Да,—говорять,—на самыхъ первыхъ порахъ-то было смѣялись, да онъ на всѣ на два рубля, которые мы дали ему награжденія, на базарѣ цѣлыя ночи пироговъ съ горохомъ и

съ кашей купилъ и всѣмъ по одному роздалъ, а себя позабылъ... Всѣ стали головами качать и стали ломать ему по половинчкѣ. А онъ застыдился и говорить:

— Что вы, братцы, я вѣдь безъ хитрости! Кушайте.

Рекрута его стали дружно похлопывать:

— Какой, молъ, ты ласковый!

А на утро онъ раньше всѣхъ въ казармѣ всталъ, да все убралъ, а старымъ солдатамъ всѣмъ сапоги вычистилъ. Стали хвалить его и старики у насъ спрашивали: «что, онъ у васъ дурачокъ, что ли?»

Сдатчики отвѣчали:

— Не дуракъ, а... малость сроду такъ.

Такъ Панька и пошелъ служить съ своимъ дурачествомъ и провелъ всю войну въ «профосахъ»—за всѣми позади рвы копалъ да пакость закапывалъ, а какъ вышелъ въ отставку, такъ, по привычкѣ къ пастушеству, нанялся у степныхъ татаръ конскіе табуны пасти.

Отправился онъ къ татарамъ изъ Пензы и не бывалъ назадъ много лѣтъ, а скитался, гоняя коней, гдѣ-то вдали, около безводныхъ Рынъ-Песковъ, гдѣ тогда кочевалъ большой мѣстный богачъ Ханъ-Джангаръ. А Ханъ-Джангаръ, когда прїѣзжалъ на Суру лошадей продавать, то на тотъ часъ держалъ себя будто и покорно, но у себя въ степи что хотѣлъ, то и дѣлалъ; кого хотѣлъ—казнилъ, кого хотѣлъ—того миловалъ.

За отдаленностью дикой пустыни слѣдить за нимъ было невозможно, и онъ какъ хотѣлъ, такъ и своевольничалъ. Но расправлялся онъ такъ не одинъ: находились и другіе такіе же самоуправцы, и въ числѣ ихъ появился одинъ лихой воръ, по имени Хабибула, и сталъ онъ угонять у Хана-Джангара много самыхъ лучшихъ лошадей, и долго никакъ его не могли поймать. Но вотъ разъ сдѣлалась у однихъ и другихъ татаръ свалка, и Хабибулу ранили и схватили. А время было такое, что Ханъ-Джангаръ спѣшилъ въ Пензу, и ему никакъ нельзя было остановиться и сдѣлать надъ Хабибулою судъ и казнить его такою страшною казнью, чтобы навести страхъ и ужасъ на другихъ воровъ.

Чтобы не опоздать въ Пензу на ярмарку и не показаться съ Хабибулой въ такихъ мѣстахъ, гдѣ русскія власти есть, Ханъ-Джангаръ и рѣшилъ оставить при маломъ и скудномъ источникѣ Паньку съ однимъ конемъ и раненаго Хабибулу, окованнаго въ конскихъ желѣзахъ. И оставилъ имъ пшена и бурдюкъ воды и наказалъ Панькѣ настрого:

— Береги этого человѣка какъ свою душу! Понялъ?

Панька говорить:

— Чего-жь не понять-то! Вполнѣ понялъ, и какъ ты сказалъ, я такъ точно и сдѣлаю.

Ханъ-Джангаръ со всей своей ордой и уѣхалъ, а Панька сталъ говорить Хабибулѣ:

— Вотъ до чего тебя твое воровство довело! Такой ты большой молодецъ, а все твое молодечество не къ добру, а ко злу. Ты бы лучше исправился.

А Хабибула ему отвѣчаетъ:

— Если я до сихъ поръ не исправился, такъ теперь ужь и некогда.

— Какъ это «некогда»? Только въ томъ вѣдь и дѣло все, чтобы хорошо захотѣть человѣку исправиться, а остальное все само придетъ... Въ тебѣ вѣдь душа такая же, какъ и во всѣхъ людяхъ: брось дурное, а Богъ тебѣ сейчасъ зачнетъ помогать дѣлать хорошее, вотъ и пойдетъ все хорошее.

А Хабибула слушаетъ и вздыхаетъ.

— Нѣтъ, — говорить, — уже про это нестати и думать теперь!

— Да отчего же нестати-то?

— Да оттого, что я окованъ и смерти жду.

— А я тебя возьму да и выпущу.

Хабибула ушамъ своимъ не повѣрилъ, а Панька ему улыбается ласково и говорить:

— Я тебѣ не шучу, а правду говорю. Ханъ мнѣ сказалъ, чтобъ я тебя «какъ свою душу берегъ», а вѣдь знаешь ли, какъ надо беречь душу-то? Надо, братъ, ее не жалѣть, а пусть ее за другого пострадаетъ, — вотъ мнѣ теперь это и надобно, потому что я терпѣть не могу, когда другихъ мучаютъ. Я те-

бя раскую и на коня посажу и ступай, спасай себя, гдѣ найдѣшься, а если станешь опять зло творить,—ну, ужь тогда не меня обманешь, а Господа.

И съ этимъ присѣлъ и сломалъ на Хабибулѣ конскія желѣзные путы и посадилъ его на коня и сказалъ:

— Ступай съ миромъ на всѣ стороны.

А самъ остался ожидать здѣсь возвращенія Хана-Джангара,—и ждалъ его очень долго, пока ручеекъ высохъ и въ бурдюкѣ воды осталось очень немножечко.

Тогда и прибылъ Ханъ-Джангаръ со своей свитою.

Осмотрѣлся Ханъ и спрашиваетъ:

— А гдѣ Хабибула?

Панька отвѣчаетъ:

— Я отпустилъ его.

— Какъ отпустилъ? Что ты такое рассказываешь?

— Я тебѣ говорю то, что взаправду сдѣлалъ по твоему велѣнію и по своему хотѣнію. Ты мнѣ велѣлъ беречь его какъ свою душу, а я свою душу такъ берегу, что желаю пустить ее помучиться за ближняго... Ты вѣдь хотѣлъ замучить Хабибулу, а я терпѣть не могу, чтобы другихъ мучили,—вотъ возьми меня и вели меня вмѣсто его мучить, пусть моя душа будетъ счастливая и отъ всѣхъ страховъ свободная, потому что вѣдь я ни тебя, ни другихъ никого не боюсь ни капельки.

Тутъ Ханъ-Джангаръ сталъ водить глаза во всѣ стороны, а потомъ на головѣ тибетейку поправилъ и говоритъ своимъ:

— Подойдите-ка всѣ поближе ко мнѣ; я вамъ скажу, что мнѣ кажется.

Татары вокругъ Хана-Джангара стѣснились. А онъ сказалъ имъ потихонечку;

— А вѣдь Паньку, сдается, нельзя казнить, потому что въ душѣ его, можетъ быть, ангелъ былъ...

— Да,—отвѣчали татары всѣ однимъ тихимъ голосомъ,—

нельзя намъ ему вредить; мы его не поняли за много лѣтъ, а теперь онъ въ одно мгновеніе всѣмъ намъ ясенъ сталъ; онъ вѣдь, можетъ-быть, праведный.

Н. Лѣсковъ.

Вопросъ.

Мы всѣ—блюстители огня на алтарѣ,
Вверху стоящіе, что городъ на горѣ
Дабы всѣмъ видѣнь былъ; мы соль земли, мы свѣтъ
Когда голодные толпы въ годину бѣды
Изъ темныхъ доловъ къ намъ о хлѣбѣ вопіють,—
О, мы прокормимъ ихъ, весь этотъ темный людъ!
Чтобы не умереть ему, не голодать—
Намъ есть ему что дать.

Но... еслибъ умеръ въ немъ живущій идеалъ,
И жгучимъ голодомъ духовнымъ онъ взалкалъ,
И вдругъ о помощи возопіялъ бы къ намъ,
Своимъ учителямъ, пророкамъ и вождямъ,—
Мы всѣ—хранители огня на алтарѣ,
Вверху стоящіе, что городъ на горѣ,
Дабы свѣтъ видѣнь былъ, и въ ту свѣтилъ бы тьму,—
Что-бъ дали мы ему?

А. Майковъ.

Вольный человѣкъ Яшка.

I.

Глубокая осень. Послѣдній осенній караванъ «выбѣжалъ изъ камней» только къ 8-му сентября,—на р. Чусовой «каменьями» бурлаки называютъ горы. Рѣка вырывается изъ этихъ «каменей» въ томъ мѣстѣ, гдѣ сейчасъ пересѣкаетъ ее линія Уральской желѣзной дороги. Дальше Чусовая катится уже въ

низкихъ берегахъ. Скалы и хвойный лѣсъ быстро смѣняются самой мирной сельской картиной; по берегамъ стелется пестрая скатерть пашенъ, заливныхъ луговъ и рѣдкихъ перелѣсковъ. Изрѣдка выгянетъ глухая деревушка, изрѣдка мелькнетъ родной силуэтъ далекой сельской церкви, и опять глухой просторъ на десятки и сотни верстъ. Выбѣжавъ изъ камней, караванъ отдыхалъ,—тяжелая бурлацкая работа осталась позади, тамъ, гдѣ сдавленная каменными кручами рѣка бурлила и играла, какъ дикій звѣрь. Утлые суденышки, нагруженные до краевъ желѣзомъ и мѣдью, на каждомъ шагу подвергались опасности,—плыли еще на потесяхъ, а не съ лотомъ, какъ нынче. Опасность плаванія усложнялась перепадавшими осенними дождями, подпиравшими рѣку въ нѣсколько часовъ иногда аршина на два. Главнымъ образомъ играли безымянныя горныя рѣчущки, стремительно несшія въ Чусовую скатывавшуюся съ горъ дождевую воду,—такъ бываетъ только осенью, когда земля уже достаточно пропитается влагой.

— Теперь будемъ переваливаться съ плеса на плесъ, какъ блинъ по маслу,—говорилъ бурлакъ Яшка, дѣлая преуморительную рожу.

— У тебя вездѣ масло на умѣ,—ворчалъ сплавщикъ Лупанъ, припоминая послѣднюю хватку, когда Яшка напился до зла-горя.—Все ищетъ, гдѣ полегче, да гдѣ плохо лежитъ. У непутеваго человѣка и разговоръ непутевый...

На баркѣ было шестнадцать бурлаковъ и въ томъ числѣ три бабы. Этнографически картина получалась самая сборная: какіе-то отбившіеся отъ работы заводскіе мастеровые, двое татаръ изъ Казанской губ., остальные—свой чусовской прибрежный народъ, выросшій на сплавахъ. Изъ этой пестрой массы Яшка выдѣлился сразу, какъ непутевый человѣкъ. Средняго роста, какой-то весь взъерошенный, кривой на одинъ глазъ---однимъ словомъ, не настоящій мужикъ, а такъ, какъ мякина въ зернѣ. Особенно страдалъ Яшка по части одежды: на немъ кромѣ пестрядинной рубахи и такихъ же штановъ ничего не было. И это—въ сентябрѣ, когда и холодъ, и вѣтеръ, и холодный осенній дождь.

— Какъ же это ты такъ ошибся одеждой-то?—журилъ его водоливъ.

— А вотъ за работой согрѣюсь... Который богъ вымочить, тотъ и высушить.

— Прошилъ одежду-то?

Яшка только встряхивалъ головой и улыбался. Что же, было дѣло. Кто его зналъ, что на рѣкѣ по ночамъ такъ студено будетъ. Ну, да одежда—дѣло наживное: не съ одеждой жить, а съ добрыми людьми. У Яшки, очевидно, была своя философія. Впрочемъ, такихъ философовъ на баржѣ было еще трое, и всѣ забубенные пьяницы. Яшка отличался отъ нихъ только особеннымъ мужицкимъ балагурствомъ, переходившимъ иногда въ шутовство,—последняго въ этомъ отборномъ обществѣ не прощали. Можно быть и пьяницей, и забулдыгой, чѣмъ угодно, но только не шутомъ. А Яшка не могъ утерпѣть—нѣтъ нѣтъ да и выкинетъ колѣнце, такъ что вся публика помираетъ со смѣху.

— Ахъ, Яшка, хрѣнъ тебѣ въ голову!.. Ну и Яшка!

На третій день сплава, когда барка бѣжала еще въ камняхъ, Яшка поднялъ настоящій скандалъ и чуть не подрался. Дѣло было такъ. Раннимъ утромъ барка бѣжала мимо лѣсостага берега. Бурлаки стояли сумрачные, озябшіе, озлобленные. Съ рѣки такъ и поддавало холоднымъ осеннимъ туманомъ. Яшка стоялъ у потеси вмѣстѣ съ другими и корчился какъ грѣшная душа. Вдругъ онъ встрепенулся, прищурилъ зрячій глазъ и жалостливымъ голосомъ проговорилъ:

— Эхъ, кабы ружье!..

— А што, Яша?

— Да вотъ жаркое-то какъ насвистываетъ...

Въ лѣсу, дѣйствительно, перекликались рябчики.

— И скусенъ теперешній осенній рябчикъ, — объяснялъ Яшка.—Ишь, какъ выдѣлываетъ, шельмецъ... Рразъ—и жаркое. Нѣтъ лучше этого осенняго рябчика... Падеть убитый съ дерева, такъ кожа у него отъ жира лопается.

— Да ты-то охотникъ, што-ли, непутевая голова?

— Случалось... Лѣтъ съ двадцать ружьишкомъ промышлялъ.

— Куды ты его дѣлъ, ружье-то...

Яшка хотѣлъ объяснить, но его предупредилъ какой-то путникъ:

— Да онъ его пропилъ, ружье-то...

— Я? пропилъ?..

Яшка вдругъ обидѣлся, и это послужило источникомъ развлеченія для всей баржи. Такъ могъ сдѣлать только непутевый человѣкъ. Настоящій мужикъ и вида не показалъ бы, что его задѣли за живое, а Яшка выдалъ себя головой.

— Ахъ, Яша, Яша, зачѣмъ же это ты ружье-то пропилъ?— притворно жалѣли его.—Вотъ теперь и стой у потеси... Ёль бы жареныхъ рябчиковъ, кабы ружье-то. Ахъ, Яша, Яша!..

— Ничего вы не понимаете, черти!—ругался Яшка.—Ёдаль я этихъ самыхъ рябчиковъ достаточно... И глухарей, и утокъ и косачей—сколько даже угодно.

Слово за слово—и дѣло кончилось дракой. Яшку едва оттащили отъ большого, здоровеннаго бурлака, въ котораго онъ вцѣпился, точно кошка. Это уже окончательно подорвало всякій авторитетъ Яшки и послужило новымъ источникомъ для издѣвательствъ, заканчивавшихся роковой фразой: «ружье пропилъ».

Меня эта сцена заинтересовала именно своимъ необычнымъ концомъ. Вглядываясь въ лицо Яшки, я вдругъ припомнилъ такой же ненастный осенній день въ горахъ, ночлегъ въ охотничьемъ балаганѣ, неожиданное появленіе глухой ночью охотника-промышленника,—это былъ онъ, Яшка. Какъ это я не узналъ его сразу?.. А между тѣмъ лицо Яшки принадлежало къ числу тѣхъ лицъ, которыя даже трудно забыть. Впрочемъ, наша встрѣча происходила ночью, а раннимъ осеннимъ утромъ Яшка уже ушелъ на промыселъ. На разстояніи пяти-шести лѣтъ такихъ встрѣчъ—сотни, и можно забыть даже самое типичное лицо. Да и Яшка сильно постарѣлъ, какъ-то весь вылинялъ и для меня въ данный моментъ являлся только однимъ изъ тѣхъ пропавшихъ людей, изъ какихъ составляются бурлацкія ватаги. Непонятно было одно, какъ Яшка, вольный человѣкъ-охотникъ, попалъ въ бурлацкую неволю.

— А ты меня не признаешь?—обратился я къ нему, когда Яшка грѣлся у огонька, горѣвшаго посреди барки на особомъ очагѣ.

Яшка равнодушно посмотрѣлъ на меня своимъ единственнымъ глазомъ, почесалъ затылокъ и проговорилъ:

— Какъ будто и не припомню этакого барина...

— А какъ-то на Бѣлой горѣ вотъ такъ же осенью ночевали вмѣстѣ въ балаганѣ?... Ты за рябчиками ходилъ...

Яшкино лицо точно просвѣтлѣло.

— А вѣдь точно...—заговорилъ онъ какъ-то особенно быстро.—Ахъ, ты, братецъ ты мой!... Еще у васъ тогда цетерокъ рыженькій былъ, на переднюю ножку припадалъ? Вотъ-вотъ... У меня тогда собака Буфта была—аккуратный песикъ. Вотъ какъ глухарей по осенямъ на листовени облаивала и спѣлую бѣлку искала. И на медвѣдя хаживала...

Эти воспоминанія были прерваны новымъ взрывомъ негодованія.

— А вотъ привелъ Господь бурлачины отвѣдать, баринъ. Самый пустой народъ. «Ружье пропилъ», а того не понимаютъ, галманы, што такое ружье. Развѣ его можно пропивать?... Нѣтъ, прямые подлецы они, баринъ, вотъ это самое бурлачье. Пропилъ... Варнаки!...

Оглядѣвшись кругомъ, Яшка прибавилъ вполголоса:

— Ружьецо-то у меня скапутилось... да. Пошелъ по первому снѣгу за оленями, выслѣдилъ одного, подкрался—трахъ!.. казенникъ и вырвало. Лучше бы, кажется, руку оторвало... Какой я человѣкъ есть безъ ружья? Хуже меня нѣтъ. Ужъ я и поправлять его отдавалъ, ружье-то, денегъ на поправку ставилъ видимо-невидимо, а толку не вышло. Мастерилъ плохія и въ конецъ извели. Вотъ я и подумалъ сплыть на караванъ до Перми: зароблю восемь цѣлковыхъ, да тамъ и цапну новенькую орудію.

Послѣднія фразы Яшка проговорилъ съ какимъ-то особеннымъ вкусомъ и даже закрылъ глаза, предвкушая удовольствіе. Ружье для него составляло все, и онъ вынашивалъ мысль о немъ, вѣроятно, цѣлую зиму,—да оно само по себѣ.

и не было просто вещью, а чѣмъ-то живымъ, и поэтому брать новое ружье было уже цѣлымъ подвигомъ. Я отлично понималъ все величіе и отвѣтственность предстоявшей Яшкѣ задачи. Мнѣ лично нравится эта старая мистическая поэзія простыхъ охотниковъ, являющихся въ глазахъ своихъ односельчанъ, съ одной стороны, людьми непутевыми, какъ всѣ поэты, а съ другой—вѣдунами и немножко колдунами. Такимъ былъ и Яшка, у котораго шутство смѣнялось поэтической прозорливостью и какой-то дѣтской серьезностью.

Эта встрѣча доставила мнѣ много удовольствія, хотя водолить, въ балаганѣ котораго я скрывался на ночь отъ холода, и косился на Яшку, когда тотъ съ охотничьей фамильярностью располагался «чаявать».

— Разъ они што понимаютъ?—объяснилъ Яшка съ нѣкоторой снисходительностью.—Такъ, темный народъ... Конечно, я на баркѣ то «пришей хвостъ кобылѣ», а поглядѣли бы на меня въ лѣсу. Ну-ко, попробуй... Ты десять разъ мимо прошелъ, а Яшка ужъ нашелъ. По лѣсу-то я бариномъ хожу... Хочу—у огонька буду сидѣть, хочу—завалюсь спать. Развѣ они это могутъ понимать?... Яшка—вольная птица... Вотъ только бы Господь сподобилъ касаямо ружья...

Мнѣ очень хотѣлось приютить Яшку около себя, но это оказалось невозможнымъ—третьяго мѣста не было. Вечеромъ я укладывался съ тяжелымъ сознаніемъ, что лежу всухѣ и въ теплѣ, а Яшка корчится около огонька...

— Вѣдь не я одинъ колѣю,—объяснялъ Яшка.—Конечно, они варнаки и ничего не понимаютъ, а только все же челоѣки...

II.

Это была ужасная ночь... Я проснулся отъ какого-то пронизывающаго холода. Часы показывали три. По скрипу потесей, бултыхавшихъ воду съ такимъ тяжелымъ шумомъ, точно ее разгребала какая-то гигантская лапа, я заключилъ, что барка плыветъ. Въ камняхъ ночью дѣлали «хватку», а теперь барка плыла, потому что, кромѣ мелей, никакой опасности не

предвидѣлось. Работы было меньше, а бурлаки раздѣлились на всѣ смѣны—дневную и ночную. Выигрывалось двойное время.

Когда я вышелъ изъ своего балагана, меня поразила открывшаяся картина. Въ воздухѣ тихо кружились хлопья мокраго снѣга... Вся барка была покрыта слоемъ этого снѣга по крайней мѣрѣ на вершокъ. На передней и задней палубахъ слабо мерещились мокрыя тѣни работавшихъ у потесей бурлаковъ. Картина получалась ужасная. Нѣкоторые драпировались въ мокрыя рогожки, а большинство стояло безъ всякаго прикрытія. Царило мертвое молчаніе, какъ нельзя больше гармонировавшее съ этой картиной холодной смерти. Мнѣ казалось, что наша барка плыветъ именно въ какомъ-то царствѣ тѣней... Сплавщикъ Лупанъ, сѣдой важеватый старикъ съ окладистой бородой, сидѣлъ на своей скамеечкѣ на задней палубѣ и отдавалъ приказанія молча, движеніемъ руки, точно и онъ боялся нарушить царившую мертвую тишину.

— А гдѣ Яшка?—спросилъ я водолива, отливавшаго воду у «ляля».

Онъ молча мотнулъ головой на кладку мѣдныхъ штыкъ, проходившихъ полѣнницей по срединѣ барочнаго дна, отъ носа до кормы,—онъ тоже не хотѣлъ нарушать торжественнаго молчанія ни однимъ звукомъ. Я понялъ, что водоливъ не забрался въ балаганъ изъ совѣстливаго чувства и мокнулъ подѣ снѣгомъ вмѣстѣ со всѣми остальными. Потому же и Лупанъ оставался на своей скамейкѣ. Сказалось безъ словъ то артельное мужицкое чувство, которое изъ разношерстной бурлацкой ватаги дѣлало въ такую трудную минуту одинъ цѣльный организмъ.

А Яшка продолжалъ спать подѣ своей мокрой рогожкой, покрытой снѣгомъ. Изъ подѣ нея поднимался только паръ. Прибавьте къ этому еще то, что устроился Яшка прямо на мѣдныхъ штыкахъ, перевязанныхъ лычагами по шести штукъ, такъ что черезъ свою рогожку долженъ былъ чувствовать каждое ребро мѣдной штыки и всѣ узлы жесткихъ веревокъ. Другіе бурлаки забрались подѣ палубы,—тамъ, по крайней мѣрѣ,

не заносило снѣгомъ,—но вольный человѣкъ Яшка не могъ помириться даже съ этой формой неволи, да и сказывалась привычка проводить цѣлыя недѣли на открытомъ воздухѣ, а зимой и прямо спать въ снѣгу. Я прислушался,—изъ-подъ рогожки слышалось ровное дыханіе спящаго человѣка.

Я присѣлъ къ огню и долго смотрѣлъ кругомъ. Никогда еще пламя, кажется, не было такимъ благодѣтельно-красивымъ, какъ именно сейчасъ, когда оно боролось съ этой влажной, тяжелой тьмой, насыщенной крутившимися какъ-то помертвому снѣжными хлопьями. Освѣщенный огнемъ яркій кругъ уходилъ кверху быстро служивавшейся воронкой,—это былъ тотъ предѣлъ тепла и свѣта, гдѣ могла еще теплиться жизнь. Да, кругомъ происходила молчаливая трагедія, и только въ такія ночи можно понять все то неизмѣримое значеніе огня, о которомъ какъ-то совсѣмъ забываешь, сидя въ теплой комнатѣ. Какая страшная ночь покрывала бы человѣчество, еслибы не было огня, этого символа жизни!.. При настоящемъ положеніи культурнаго человѣка огонь является только работникомъ, а раньше онъ былъ другомъ, вѣрнѣе—благодѣтелемъ, и Яшка до сихъ поръ считаетъ грѣхомъ плюнуть на костеръ. Вотъ и теперь онъ устроился на штыкахъ навѣрно только потому, чтобы быть поближе къ огоньку.

— Шли бы вы, баринъ, къ себѣ въ балаганъ,—посоветовалъ мнѣ водоливъ, подкладывая на очагъ нѣсколько мокрыхъ полѣньевъ.—Дѣло-то ваше непривычное: какъ-разъ лихоманка ухватить, а то и параликъ расшибетъ.

Признаться сказать, мнѣ было совѣстно уходить въ свой балаганъ, когда другіе мокли на палубахъ и подъ палубами. Я чувствовалъ себя такой изнѣженной культурной дрянью, рядомъ съ которой тотъ же Яшка являлся какимъ-то сказочнымъ богатыремъ. Да, какая несправедливая роскошь вотъ этотъ балаганъ, кое-какъ сгороженный изъ досокъ, рогожъ и еловой коры, роскошь и это жесткое ложе изъ наворованнаго на берегу сѣна. Я долго прислушивался къ мертвой тишинѣ, нарушаемой только тяжелымъ бултыханьемъ потесей, пока не заснулъ тревожнымъ сномъ.

Проснулся я поздно,—проснулся отъ страшнаго шума, происходившаго на баркѣ. Первая мысль была та, что барка тонетъ. Я выскочилъ изъ балагана и замеръ отъ изумленія: происходило что-то невѣроятное до послѣдней степени... Надъ баркой съ гоготаньемъ тяжело кружились дикіе гуси. Обезсилѣвшая птица, застигнутая раннимъ снѣгомъ, падала въ рѣку. До десятка гусей съ какой-то отчаянной рѣшимостью сѣли прямо на барку. Послѣднее было тѣмъ болѣе удивительно, что дикій гусь очень осторожная птица и не подпуститъ охотниковъ на нѣсколько выстрѣловъ.

— Лови, робя! Бей!!.—галдѣли бурлаки, гоняясь за обезсилѣвшей птицей.

Работа была брошена, и на баркѣ происходила настоящая свалка. Меня поразилъ отчаянный вопль Яшки, который бѣгалъ по баркѣ какъ сумасшедшій.

— Братцы!.. Родимые мои... Што вы дѣлаете?!. Ахъ, варнаки... ахъ, подлецы!.. Братцы, миленькіе, не троньте Божью тварь!.. Развѣ можно ее трогать въ этакое время?.. Очумѣли вы, галманы отчаянные!.. Креста на васъ нѣтъ, на отчаянныхъ... Ахъ, братцы, грѣшно! Вотъ какъ грѣшно...

Проворнѣ всѣхъ оказалась одна изъ бабъ,—она поймала уже двухъ гусей и лежала на нихъ пластомъ. Яшка накинулся на нее и отнялъ помятую, обезумѣвшую отъ ужаса птицу.

— Што ты дѣлаешь-то, дурья голова?!. Вотъ я тебя расчешу... Право, отчаянные варнаки! Черти!..

Яшка ругался, какъ остервенѣлый, и въ то же время гладилъ отнятыхъ у бабъ гусей. Меня поразило, что этотъ протестъ смутилъ бурлаковъ, и нѣкоторые уже выпустили пойманную птицу.

— А самъ-то, небось, стрѣляешь всякую птицу, ярыга!—отвѣтно ругалась обиженная баба. — Сбѣсился, деревянный чертъ!..

— И стрѣляю, дура-баба... да!—оралъ Яшка, закипая новой яростью.—Только не на перелетахъ... Я вольную птицу бью, которая въ полной силѣ, а эта замерзлая. Вотъ ты бурчишь, дура-баба, а того не знаешь, што убить человѣка грѣш-

но, а за убитаго странника вдесятеро взыщется. Такъ и съ птичкой перелетной... Нажралась бы ты этой гусятины и околѣла бы сама. Одно слово: дура... Птичка-то къ намъ насѣла,—дескать, дадутъ передохнуть, а можетъ и накормятъ,—а ты навалилась на нее, какъ жерновъ. Въ другое-то время разѣ она подпустила бы тебя, дуру?

— Въ самъ-то дѣлѣ, братцы, не троньте Божью птицу!—поддержалъ уже хрипѣвшаго отъ волненія и крика Яшку старый сплавщикъ Лупанъ.—Нехорошо... Пусть передохнетъ, а потомъ сама улетитъ, куды ей произволе. Яшка-то правду говорить.

— Да вѣдь это харчъ,—нерѣшительно заявилъ одинъ голосъ изъ сбившейся кучки бурлаковъ.—Такое бы варево заварили, Лупанъ Степанычъ!..

— А ты, оболдуй, слушай ухомъ, а не брюхомъ... Яшка-то всѣхъ умнѣ себя обозначилъ. Да... онъ ужъ это дѣло знаетъ.

— Ахъ, Боже мой, да вѣдь грѣхъ-то какой?—умиленно повторялъ Яшка, обращаясь ко всѣмъ вообще.—Вонъ какая смиренная птичка... Сама въ руки идетъ. Только вотъ не говорить: «устала, молъ, я, притомилась, иззябла»... А вы ее бить!..

Выбившійся изъ силъ гусиный косякъ теперь покрывалъ Чусовую, точно живой снѣгъ. Гуси не сторожились больше своего страшнаго врага-человѣка. Тѣ, которые попали на барку, успѣли отдохнуть и торжественно были спущены на воду къ призывно гоготавшимъ товарищамъ. Картина получилась единственная. Яшка торжествовалъ и даже перекрестился, спуская послѣдняго гуся.

— Будто ицо должонъ одинъ быть,—думалъ онъ вслухъ, оглядывая недовѣрчиво толпу бурлаковъ.

— Всѣ тутъ, Яшка...

— Ну, и слава Богу!.. Спасибо, братцы!..

А снѣгъ все валилъ. Вода казалась такой темной въ этихъ побѣлѣвшихъ берегахъ. Гдѣ-то вдали смутно обрисовывались силуэты деревенской стройки.

— Эй, будетъ валандаться по пусту!—скомандовалъ сплавщикъ.—Держи носъ-отъ направо...

Потеси лѣниво забултыхали въ водѣ. Гусиный косякъ сгрудился и стройной массой съ гусиной важностью отплылъ къ противоположному берегу, провожая барку сдержаннымъ гоготаньемъ.

— Правильная птица,—замѣтилъ Яшка, провожая глазами удалявшійся отъ насъ косякъ.—Умнѣе ея нѣтъ... И живетъ парами, по-божецки. Не то что, напримѣрно, косачь...

Почесавъ затылокъ, Яшка прибавилъ совсѣмъ другимъ тономъ:

— Эхъ, ежели бы вотъ такихъ гуськовъ десяточекъ залобовать,—былъ бы Яшка и съ ружьемъ, и не колѣлъ бы, какъ песь. Въ Пермѣ бы продалъ по цалковому штуку...

Вечеромъ мы вмѣстѣ пили чай въ балаганѣ—я, водоливъ и Яшка. На Яшкѣ мокрая рубаха дымилась отъ пара. Онъ съ какимъ-то ожесточеніемъ пилъ одну чашку за другой, вѣрнѣе—не пилъ, а глоталъ. Это опять былъ жалкій Яшка,—его случайная миссія кончилась.

— Тебя не знобитъ?—спрашивалъ я.

— Нѣтъ, зачѣмъ знобить... Вотъ ежели бы мокрый-то я у огня началъ грѣться, ну, тогда пропасть.

Напившись чаю и поблагодаривъ, Яшка поднялся.

— Ну, теперь пойду на свою перину, баринъ...

Взглянувъ на изголовье лежа водолива, Яшка укоризненно покачалъ головой.

— Эхъ, Палъ Евстратычъ... а?.. эхъ...

— Што?—спросилъ водоливъ, воровато шмыгая глазами.

— Эхъ, Палъ Евстратычъ... То-то я давѣ не досчитался одного гуська... Гдѣ у тебя совѣсть-то?..

— Ну, ну, поддержи языкъ за зубами.

— Я-то поддержи, а тебѣ отрыгнется этотъ гусь...

Изъ-подъ изголовья предательски высунулся гусиный хвостъ.

— Да вѣдь я его не ловилъ!—оправдывался водоливъ.—Самъ онъ давѣ забѣжалъ въ балаганъ. Ну, я его и пожалѣлъ: приколотъ.

— У волка въ зубѣ Егорій даль? Эхъ, Палъ Евстратычъ, нехорошо... Вотъ какъ нехорошо!..

Д. Маминъ-Сибирякъ.

* * *

«Христосъ Воскресъ» поють во храмѣ;
 Но грустно мнѣ... душа молчить;
 Міръ полонъ кровью и слезами,
 И этотъ гимнъ предъ алтарями
 Такъ оскорбительно звучить.
 Когда-бъ Онъ былъ межъ насъ и видѣлъ
 Чего достигъ нашъ славный вѣкъ,
 Какъ брата братъ возненавидѣлъ,
 Какъ опозоренъ человѣкъ,
 И если-бъ здѣсь, въ блестящемъ храмѣ,
 «Христосъ Воскресъ» Онъ услыхалъ,
 Какими-бъ горькими слезами
 Передъ толпой Онъ зарыдалъ!

Д. Мережковский.

Кто крестъ однажды хочетъ несть,
 Тотъ распинаемъ будетъ вѣчно,
 И если счастье въ жертвѣ есть,
 Онъ будетъ счастливъ безконечно.
 Награды нѣтъ для добрыхъ дѣлъ,
 Любовь и скорбь—одно и то же,
 Но этой скорбью кто скорбѣлъ,
 Тому всѣхъ благъ она дороже.

Н. Минский.

Два корабля.

(Изъ Морица Гартмана.)

Два корабля, какъ два гроба глухихъ,
 Встрѣтились молча во мракѣ ночномъ.
 Далѣе каждый плыветъ, а на нихъ—
 Сынъ на одномъ, мать на другомъ.

Сынъ послѣ долгихъ скитаній и бѣдъ
 Ъдетъ на родину, гдѣ его мать.

Мать стосковалась,—вѣсти все нѣтъ,—
И поплыла она сына искать.

Что съ ней такое, не знаетъ она:
Капають слезы одна за другой.
Дума у сына легка и ясна,
Словно онъ слушаетъ голосъ родной.

А корабли, какъ два гроба глухихъ,
Дальше несутся во мракъ ночномъ.
Нѣтъ человѣка, чтобъ зналъ, что на немъ:
Сынъ на одномъ, мать на другомъ.

М. Михайловъ.

АПОСТОЛЪ.

«Куда ты, Павелъ?»—Въ міръ несу спасенье.
Намъ Богомъ данъ законъ любви.
«Апостолъ, отдохни мгновенье!
Усталъ ты,—ноги всѣ въ крови».
—Нѣтъ, нѣтъ; я въ міръ несу спасенье.
Намъ Богомъ данъ законъ любви.—

«Куда ты, Павелъ?»—Проповѣдать людямъ
Вѣсть мира, братства, правоты.—
«Останься съ нами; вмѣстѣ будемъ
Жить для наукъ и красоты».
—Нѣтъ; я иду повѣдать людямъ
Вѣсть мира, братства, правоты.—

«Куда ты, Павелъ?»—Со стези неправой
Направить души въ путь прямой.—
«Свѣтлѣй всего дорога славы.
Коль хочешь славы, съ нами пой!»
—Нѣтъ; я иду съ тропы неправой
Направить души въ путь прямой.—

«Куда ты, Павелъ?»—Благовѣстье Бога
Въ селенья скудныя несу.—

«Страшись! трудна туда дорога:
Въ горахъ злодѣи, звѣрь въ лѣсу».
—Нѣтъ; я благословеніе Бога
Въ селенія скудныя несу.—

«Куда ты, Павелъ?»—Въ города, пороки
Искоренить во всѣхъ сердцахъ.—
«Страшись! насмѣшки тамъ жестоки,
И много зла кипитъ въ страстяхъ».
—Нѣтъ; я идѹ туда пороки
Искоренить во всѣхъ сердцахъ.—

«Куда ты, Павелъ?»—Къ бѣднымъ и несчастнымъ;
Сказать имъ: Богъ одинъ великъ!—
«Ты бичъ вручишь врагамъ всевластнымъ,
И сгубить бѣдныхъ твой языкъ».
—Нѣтъ; я идѹ сказать несчастнымъ
И бѣднымъ: Богъ одинъ великъ!—

«Куда ты, Павелъ?»—На побережья моря,
Дрожащихъ ободрять друзей.—
«Какъ! ни года, ни трудъ, ни горе
Не потрясли души твоей?»
—Нѣтъ; я идѹ къ побережьямъ моря,
Дрожащихъ ободрять друзей.—

«Куда ты, Павелъ?»—Высказать все прямо
Гнетущимъ свой народъ царямъ.—
«Страшись! за горстку оиміама
Ты будешь выданъ ихъ жрецамъ».
—Нѣтъ; выскажу я правду прямо
Гнетущимъ свой народъ царямъ.—

«Куда ты, Павелъ?»—Въ судъ; свое ученіе
Передъ судьями возгласить.—
«Смягчи уступкой обвиненіе,
Хитрѣй старайся говорить».
—Нѣтъ; я идѹ свое ученіе
Передъ судомъ провозгласить.—

«Куда ты, Павелъ?»—Я несу на плаху
 Съдую голову свою.—
 «Лишь слово дай промолвить страху—
 И старость озлатятъ твою».
 —Нѣтъ, нѣтъ; я понесу на плаху
 Съдую голову свою.—

«Куда ты, Павелъ?»—Въ тихой сѣни рая
 По трудномъ отдохнуть пути.—
 «И жизнь и смерть твоя святая
 Примѣромъ будутъ намъ. Прости!»
 —Въ небесной, тихой сѣни рая
 По трудномъ отдохну пути.—

М. Михайловъ.

Разсказъ писателя.

Мой пріятель былъ человѣкъ съ недюжиннымъ талантомъ. Незадолго до его смерти,—онъ умеръ очень молодымъ,—я навѣстилъ его въ больницу... Тамъ, на больничной койкѣ, онъ разсказалъ мнѣ эпизодъ изъ своей жизни, хрипя больною грудью, кашляя и задыхаясь... Но блѣдныя щеки его зардѣлись, глаза горѣли хорошимъ, счастливымъ огнемъ.

Вотъ что разсказалъ мнѣ пріятель.

Было это въ началѣ семидесятыхъ годовъ... Нечего говорить мнѣ вамъ, что было за время тогда,—сами помните и знаете... Мы не увлекались наживой, не проводили время въ тунеядствѣ, какъ вошло, на примѣръ, въ моду теперь, и не кичились безвѣріемъ. Мы вѣрили въ будущее, въ свой народъ и умѣли любить его, а это—чуть ли не главное. Въ душѣ не было пусто,—тамъ жили свѣтлые и чистые идеалы... Царила совѣсть и властно подчиняла себѣ почти всѣхъ... Каждый, казалось, чувствовалъ свой долгъ передъ другими, предъ сѣрой, темной массой «меньшого брата»; каждый сознавалъ, что обязанъ ей всѣмъ своимъ нравственнымъ «я», своимъ духовнымъ богатствомъ, превосходствомъ, знаніемъ, и, чувствуя и сознавая—каялся!

Это покаянiе влекло къ самоотреченiю, толкало на подвигъ и самоотверженiе, звало къ расплатѣ за свой долгъ посвященiемъ себя исключительно однимъ насущнымъ потребностямъ и интересамъ этой массы... Правда, были, какъ всегда, и другiе элементы, но тогда они прятались или нагло старались по-пасть въ общiй тонъ, лгали ради какихъ-нибудь цѣлей, рассчитывая на довѣрчивость юнаго сердца...

Теперь любятъ иногда шипѣть на то время или пустить въ него отточенную зойльствомъ шпильку... Это бываетъ и удобно, и легко, когда хочешь прикрыть свое паденiе, или за душой у тебя ничего ровно нѣтъ... Ну, и говорить объ этомъ, значитъ, не стоитъ,—правда?! А вотъ что: любятъ иногда увѣрять тоже, будто въ насъ совсѣмъ не было молодости, будто мы были какъ-то неестественно взвинчены и выглядѣли стариками, а не юношами... Другъ мой, а я думаю, что именно мы-то и умѣли быть молодыми,—конечно, оговариваюсь, — смотря по тому, что называть молодостью... Веселья, смѣха, жизни у насъ, конечно, было не меньше, но къ тому же мы такъ любили свою молодость, такъ дорожили ею и своими молодыми силами, что растратить ихъ зря, хотя бы на самые сладкiе пряники считали бы грѣхомъ... Да и то сказать, — сладость-то, вѣдь, относительная вещь!... Ну, да, вотъ, судите сами...

Прiятель закашлялъ отъ волненiя и продолжалъ:

Нашъ товарищескiй кружокъ весь былъ проникнутъ и этой вѣрой, и этими идеалами... Мы учились, набирались знанiй, твердо сознавая, для чего это намъ нужно, и, обладая ясно намѣченной цѣлью, отбрасывали, какъ ненужное, все, что не соотвѣтствовало и не служило прямо и непосредственно этой цѣли. Медики, юристы, техники и т. д., и т. д.—всѣ мы думали учиться жить простой, трудовой, мужичьею жизнью, гдѣ, конечно, нѣтъ мѣста роскоши и культурнымъ привычкамъ. Такимъ образомъ, мы отказались отъ посѣщенiя театровъ, отрицали занятiя художествами, ничѣмъ не служившими нашей цѣли, иронизировали надъ поэзiей, приучали себя къ лишенiямъ и во всемъ себѣ отказывали... Костюмъ нашъ и общiй видъ часто были невозможны съ культурной точки зрѣнiя, ма-

неры ужасны,—нѣкоторые изъ насъ, болѣе молодые, правду сказать, даже бравировали подчасъ этою невозможностью ма-неръ и костюма,—но за то, въ общемъ, мы были честны и искренни... Да, мой другъ, мы заслуживали отъ маменьки-ныхъ сынковъ и кисейныхъ дѣвицъ кличку «ригористы», и таковыми мы были на самомъ дѣлѣ... Наша личная жизнь была чиста... Теперь любятъ подсмѣиваться и надъ нашими пледами, сапогами, нашими рубашками, прическами, ногтями и т. д., и т. д... Теперь, когда все это уже пережито, издали, оно можетъ-быть и кажется отчасти смѣшнымъ, — кто его знаетъ?—но тогда... Впрочемъ, нѣтъ, я не то хочу сказать... Я хочу сказать, что, подсмѣиваясь, люди забываютъ одно—искренность, честность и чистоту цѣли...

Я тоже шелъ за всѣми, но, правду сказать, я не былъ цѣ-ленъ... Я исповѣдывалъ то же, что и мои друзья, я готовился къ тому же, что и они, но на днѣ моего сундука, окрашен-наго зеленою краской, таились несомнѣнные доказательства не-мощи плоти... Тамъ таились цѣлыя кипы повѣстей и рома-новъ, написанныхъ украдкой, ночью, воровски, подъ непреодо-лимымъ зудомъ писанья, превозмогавшимъ мою волю. Этотъ зудъ или страсть, все равно, проявился у меня сравнительно рано, и я, признаться, краснѣлъ и стыдился его, казалось, больше всего на свѣтѣ... Товарищи знали, однако, объ этой страсти, но изъ деликатности избѣгали говорить о ней, убѣ-дившись, какъ это меня злитъ и волнуетъ... Слово «писатель», по отношенію ко мнѣ, звучало въ моихъ ушахъ одной ядови-тѣйшей ироніей и равнялось бы самому тяжкому оскорбленію... Я былъ увѣренъ, что всѣ эти романы и повѣсти не стоятъ и мѣднаго гроша,—и такъ оно было, конечно, на самомъ дѣлѣ,—но, признаюсь, я страстно и безумно-ревниво любилъ ихъ... Я любилъ каждую страничку, каждый листикъ, каждую строч-ку, за что—право, не знаю,—потому что, спрошенный по со-вѣсти, я долженъ былъ бы отвѣтить, что всѣ они ничто иное, какъ ребяческій, наивный бредъ... Но я хранилъ ихъ, какъ святыню... И эта святыня была открыта только одному суще-ству—Машенькѣ.

Право, другъ мой, я не знаю, какъ вамъ нарисовать нашу Машеньку, потому что для обрисовки этого святого типа нужны талантъ и краски творца Миньоны и Гретхенъ. Да и тѣхъ хватить ли еще, не знаю, потому что у Миньоны и Гретхенъ не было той широкой и, какъ море, бездонной любви къ міру и людямъ, не было того самоотреченія во имя другихъ, совершенно чужихъ, не было способности на самый строгій подвигъ во имя отвлеченнаго исповѣдуемаго идеала и, если хотите, не было той простоты... Тамъ, кажется, была скорѣе наивность, чѣмъ простота, и, во всякомъ случаѣ, какая-то наивная простота, чѣмъ братская, умная, естественная простота Машеньки, лишенная всякаго эффекта и картинности, вытекающая изъ одной вѣры и любви къ людямъ, изъ дѣйствительнаго самоотреченія. У Машеньки «себя», если такъ можно выразиться, не было. Вся она и все въ ней было для другихъ... Два бога было въ ея культѣ: деревня, для которой она слушала акушерскіе курсы, чтобы затѣмъ расплыться въ ея сѣрой массѣ, и «несчастные» — нуждавшіеся въ помощи, для которыхъ она несла все, что могли добыть ея крошечныя ручки... Даже мы, «ригористы», звали ее подвижницей и монашкой...

Вы знаете, — у меня ужъ такъ устроена голова, что я люблю думать аналогіями и сравненіями... Представьте себѣ ненастье, мрачное осеннее ненастье, пронизывающую слякоть, промозглый туманъ, удушливый и тяжелый, заволокнувшій все окрестъ до тошноты. И представьте себѣ, что все это вдругъ исчезло, смѣнилось яркой весенней картиной. Сквозь тучи прорвалось голубое небо и жаркое солнце, туманъ исчезъ, все окрестъ зазеленѣло, благодатное тепло замѣнило сырость и холодъ... И вы получите представленіе о томъ, что дѣлало въ нашей средѣ появленіе Машеньки... Строгая и ласковая, кроткая и смѣлая, тщедушная и сильная волей, энергіей, выносливостью, она была нашей совѣстью, горячей искрой, что не разъ поддерживала тлѣвшее въ нашихъ сердцахъ чистое пламя. Предъ ней нельзя было никому лгать, ломаться, кокетничать, — одинъ взглядъ ея добрыхъ чудныхъ глазъ разсѣивалъ, какъ дымъ, всякую неправду...

Маленькая, худенькая, тщедушная на видъ брюнетка, она являлась живой загадкой: гдѣ, какимъ образомъ въ такомъ маленькомъ тѣлѣ могла сосредоточиваться такая великая нравственная сила. Семнадцатилѣтней дѣвушкой, потерявшей мать, загнанную въ гробъ мужемъ, она замѣнила ее для своихъ меньшихъ сестеръ, которыя такъ и звали ее «мамой», воспитала, выучила и даже умѣла сдерживать буйнаго отца, который, какъ-то невольно, ей подчинялся. Вѣчная хлопотунья-работница, она никогда, казалось, не знала усталости, грусти, хандры и управляла домомъ, никогда не поднимая даже голоса. Все какъ-то ее слушалось и подчинялось само собою, безъ принужденія, — все относилось къ ней любовно, съ невольнымъ уваженіемъ...

Только одна Оекла кухарка позволяла было себѣ ворчать на своего «ангела-барышню» за то, что та, какъ будто, совсѣмъ «и не барышня», о себѣ совсѣмъ не заботится, а лишь о младшихъ сестрахъ и, «точно старуха какая», о женихахъ и гадать не хочетъ...

— Ровно бы вы ужъ и не невѣста, барышня! — ворчала Оекла. — Ровно бы, молъ, хуже другихъ... Совсѣмъ какъ есть напротивъ... Жениховъ-то отбою не было бы, кабы вы только не сурьезничали да въ старухи не наровили...

Но Машенька только улыбалась въ отвѣтъ, — такія мысли, казалось, совсѣмъ не укладывались въ ея красивой головкѣ. Такія мысли и у насъ не укладывались... Машенька — невѣста, Машенька — предметъ страстной любви, — казалось абсурдомъ. Она могла быть сестрой, «мамой», свѣточемъ, совѣстью, — но невѣстой — она!? Монашка!? — Нѣтъ, намъ это тоже не приходило въ голову. За своей любовью всѣхъ, за своими цѣлями и культомъ она не оставляла себѣ самой ничего, чего бы, казалось, хотѣла и желала, ничего личного, и теряла, такимъ образомъ, всѣ свойства и характеръ «личности». Въ глазахъ cadaго она являлась скорѣе живымъ образомъ нравственной красоты, чѣмъ женщиной.

Потерявъ отца и получивъ свое наслѣдство, когда ей было уже около 23 лѣтъ, она всѣ свои 5 тысячъ отдала другимъ,

вѣря, что эти деньги пойдутъ на доброе дѣло... Сама она, — ея сестры были уже пристроены, — сама она поселилась въ мансардѣ, стала ходить на курсы, а хлѣбъ и чухонское масло, — потому что ничего другого у нея никогда не было, — она зарабатывала иглой и грошовымъ урокомъ. Все, что оставалось отъ хлѣба и масла и высшаго и рѣдкаго баловства — «чая», — она несла другимъ, своимъ «несчастливымъ»... Но, что всего страннѣе, этотъ хлѣбъ и масло, эти скупые настои чая съ ней дѣлили и другіе, ихъ доставало и на тѣхъ, кто заходилъ къ ней голоднымъ... Какъ она это умѣла дѣлать, оставалось ея секретомъ...

Я и теперь еще помню, какъ она въ своей крошечной свѣтелкѣ, глядѣвшей такъ мило и уютно, сама крошечная, одѣтая въ свое вѣчно одно и то же и вѣчно чистенькое сѣрое платье, любовно и мягко встрѣчала меня и другихъ вопросомъ: — «ужъ навѣрное голодны, ужъ правда голодны!» — и, бросая иглу или книгу, указывала намъ на хлѣбъ и масло... Я всегда отвѣчалъ «да», подходилъ къ ея столу и вытаскивалъ изъ кармана то купленные по дорогѣ яйца, то кусокъ колбасы или что-нибудь другое, и Машенька сейчасъ же начинала укоризненно качать головой.

— Ахъ, буржуа, ахъ буржуа!... Ахъ, какой вы буржуа, Павелъ! — приговаривала она, глядя на меня не то съ улыбкой, не то съ мягкимъ укоромъ. — Не можетъ безъ лакомствъ! Ужъ не хотите ли еще сигару и кофе?!

Сигара и кофе... Это былъ мой грѣхъ, моя ахиллесова пята, моя слабость, съ которой я часто тщетно боролся и за которую Машенька и прозвала меня далеко нелестнымъ эпитетомъ «буржуа». Сигара и кофе значили: сластолюбіе, чревоугодничество, преступное баловство, котораго не знаетъ народъ, и потому я былъ «буржуа»... Въ то время это было очень обидное слово... Но въ устахъ Машеньки оно не звучало обидой... Глубокой лаской свѣтились ея глаза, немного насмѣшливой или, скорѣй, смѣющейся лаской, и въ тонѣ ея голоса слышался тотъ матерински-нѣжный укоръ, съ которымъ мать шутя говорить шалуну сыну: «ахъ, какой ты драчунъ!» Разъ

даже, когда я провалялся двое сутокъ больной, слегка простудившись, и товарищи, сложивши послѣдніе гроши, баловали меня клюквеннымъ морсомъ, Машенька сама принесла мнѣ копѣчную сигару.

«— На-те ужъ, курите!... Только выздоравливайте скорѣе, буржуа! — говорила она, хмуря брови и стараясь быть суровой, но тутъ-же улыбнулась, когда я съ нѣгой закурилъ свое «преступное баловство». — Ахъ, какой вы буржуа!... Сейчасъ и просіялъ весь!...»

Признаться, я любилъ это «буржуа» и даже порою нарочно на него набивался... Это слово какъ-то невольно выдѣляло меня изъ общей среды ея друзей, дѣлало меня не «всѣми», а «однимъ», а съ другой стороны — тонъ, которымъ она произносила свое ворчливое «буржуа», ясно свидѣтельствовавъ, что, несмотря ни на что, Машенька относится ко мнѣ и тепло и любовно... Я даже любилъ ее поддразнивать своей «буржуазностью» и пользовался для этого каждымъ случаемъ... Тацимся мы, бывало,¹ съ Петербургской стороны и я непременно наровлю посадить ее на извозчика, ставя ребромъ послѣдній пятіалтынный. Машенька ворчить на этотъ самый страшный буржуазный грѣхъ («Господи! да вы съума сошли... кататься на извозчикахъ!»), но садится, потому что я увѣрю ее, что уѣду одинъ, — все, молъ, равно погибнетъ пятіалтынный... Садится, ворчить, сто разъ повторяетъ свое «ахъ, буржуа», увѣряетъ, что это въ послѣдній разъ она согласилась, что она сойдетъ и т. д., а я напущу на себя угрюмый видъ и начну ее упрекать, что она меня разоряетъ...

— Я васъ разоряю?!

— Машенька вздрогнетъ, поблѣднѣетъ и въ испугѣ останавливаетъ на мнѣ въ упоръ свои темные, честные глаза...

— Я васъ разоряю, Павелъ!?

— Ну, да, конечно, разоряете! — ворчу я, чуть сдерживая хохотъ. — Сегодня извозчикъ, на дняхъ ветчины фунтъ... Тамъ, если помните, молоко...

— Да развѣ я васъ не браню сама за это?!

Но тутъ я не выдерживаю и начинаю хохотать... Машенька соображаетъ, наконецъ, въ чемъ дѣло, и тоже смѣется...

— Ахъ, вы, буржуа!... Настоящій буржуа!... Самъ-же франтить, а послѣ еще и попрекаетъ другихъ!... Ну, какъ-же не буржуа...

Такъ вотъ, только Машенькѣ открылъ я свою святыню... Она терпѣливо и съ интересомъ слушала мои романы, — ея одной я не стыдился. По цѣлымъ часамъ читалъ я ей эти толстыя тетради и часто она вмѣшивалась въ дѣйствіе, страстно моля пощадить понравившуюся ей героиню, которую авторъ приводилъ къ трагическому концу, или наказать, непременно наказать злодѣя, который въ повѣсти оставался торжествующимъ... Я спорилъ, горячо спорилъ, но, правду сказать, всегда передѣлывалъ такъ, какъ хотѣлось Машенькѣ... И, право, всегда вещь становилась лучше отъ этихъ исправленій, — на сторонѣ Машенькинаго чутья всегда оказывалась правда... Одному только я не могъ и не хотѣлъ вѣрить—ея увѣреніямъ, что у меня есть проблески дѣйствительнаго таланта.

Но я даже и думать не могъ объ этомъ, я только краснѣлъ, ибо, казалось, совсѣмъ не вѣрилъ въ себя... Быть «писателемъ», «печататься»—казалось мнѣ тогда чѣмъ-то такимъ великимъ и недостижимымъ, что всѣ настаиванья и увѣренья Машеньки не приводили ни къ чему.

Такъ тянулось дѣло, пока я не написалъ рассказъ, который, я знаю, нравится вамъ и который, напечатанный въ числѣ другихъ, далъ мнѣ имя... Какъ я его написалъ, какъ все это у меня вышло, я и теперь не могу дать себѣ яснаго отчета... Помню только, что состояніе мое тогда было особенное, совсѣмъ иное, чѣмъ когда я сочинялъ свои романы... Я возвращался къ себѣ на закатѣ, и всю дорогу меня преслѣдовали какъ-бы внезапно откуда-то взявшіеся образы... Сначала они были неясны, затѣмъ становились все яснѣе и яснѣе, все болѣе властно подчиняли себѣ мои мысли, наконецъ, встали предо мною до того ясно, что изъ-за нихъ я ничего не видѣлъ, не слышалъ, не понималъ и, всецѣло поглощенный ими, все ускоряя и ускоряя шаги, летѣлъ къ себѣ, какъ

сѹмасшедшій... Помнится, по тѣлу пробѣгалъ у меня какой-то странный холодъ, похожій на ознобъ, иногда нервно стучали зубы... Придя къ себѣ, я поспѣшно зажегъ лампу дрожавшими руками и сѣлъ писать... Что я писалъ, какъ писалъ, — я не знаю, или не помню... Право, мнѣ кажется теперь, что я писалъ безсознательно, что рука двигалась сама собою, помимо моей личной воли, какъ сами собою текли мои мысли, лились слова, цѣпляясь сами собою одно за другое, и вставляли картина за картиной. Помню только, что иногда я вскакивалъ, весь дрожа, нервно дѣлалъ нѣсколько шаговъ по горенкѣ, вновь садился, точно въ какомъ-то чаду, и все время курилъ и курилъ, бросая окурокъ за окуркомъ... Иногда я останавливался, потому что меня пронималъ все тотъ-же страшный ознобъ, и рука моя дрожала тогда, какъ въ лихорадкѣ... Я не зналъ времени, я совсѣмъ не сознавалъ, гдѣ я...

Когда я кончилъ, на дворѣ стоялъ уже ясный разсвѣтъ... Ни сна, ни малѣйшаго утомленія я не чувствовалъ... Напротивъ, я чувствовалъ себя необычайно легко и счастливо...

Я чувствовалъ себя такъ, точно съ груди моей скатилась вдругъ стопудовая гиря... И еще одно помню:—я вдругъ потерялъ свой стыдъ!... Да, этой новой своей вещи я почему-то уже не стыдился!... Мнѣ казалось, что я способенъ былъ выйти съ нею на улицу и прочесть ее встрѣчнымъ, не стыдясь и не краснѣя... Приди ко мнѣ всѣ мои друзья, я навѣрное сказалъ-бы имъ: — вотъ что я написалъ! — и прочелъ-бы вслухъ. Было-ли это магическое дѣйствіе дѣйствительнаго вдохновенія или что другое, — не знаю, но такое странное явленіе—было фактъ.

Я легъ, не раздѣваясь, но не спалъ, потому что сонъ не приходилъ, потому что все еще меня продолжало какъ-то странно знобить. Лежа, я курилъ и рука моя, державшая папиросу, все еще дрожала и дрожала... Наконецъ, я, какъ-то незамѣтно, заснулъ и проснулся только къ вечеру...

Я взялъ рукопись и пошелъ съ ней прямо къ Машенькѣ. У меня вдругъ почему-то проснулась неодолимая, совершенно новая потребность огласить написанное, подѣлиться имъ съ

другими, и эта потребность заглушала собою прежнюю застѣнчивость... У Машеньки я засталъ цѣлую толпу нашихъ друзей, но я, право, не сконфузился, не растерялся, а сказалъ очень просто и спокойно:

— Я написалъ, господа, одну вещицу... хотите прослушать?...

Всѣ переглянулись недоумѣвающе и удивленно. Машенька даже раскрыла широко свои глазки, но я не обратилъ на это никакого вниманія.

— Да, господа?

— Конечно, конечно! — отозвались всѣ хоромъ, все еще точно не вѣря своимъ ушамъ, но я разворачивалъ свою рукопись, даже не дождавшись этого «конечно».

Я покраснѣлъ и немного сконфузился только вначалѣ... Затѣмъ я какъ-будто овладѣлъ собою и весь вошелъ въ чтеніе, въ свой рассказъ... Я немного спѣшилъ, но читалъ все свободно и свободно, всецѣло забывая о другихъ... Не знаю, понималъ-ли, сознавалъ-ли я самъ, что читалъ... Можетъ быть—нѣтъ... Кажется, я только слышалъ свое чтеніе, слышалъ однимъ слухомъ, но сердце мое стучало особенно сильно,—это я помню... Наконецъ, передъ глазами мелькнула послѣдняя строчка, и я вновь почувствовалъ, какъ съ плечъ моихъ скатилась свинцовая гиря.

Кругомъ царилъ мертвая тишина. Ни звука, ни движенія... Я поднялъ глаза на Машеньку,—она сидѣла, точно окаменѣвъ, и по щекамъ ея текли крупныя слезы... Я обвелъ глазами всѣхъ,—всѣ лица были блѣдны, всѣ глаза усталились на меня съ какимъ-то изумленіемъ. Мое сердце какъ-то странно забилося и вдругъ я почувствовалъ, что задыхаюсь и блѣднѣю... Это было, другъ мой, торжество!...

— Павелъ!... Да ты, братъ, талантъ! — крикнуло два, три, пять, сотни, казалось, голосовъ разомъ, но я уже вскочилъ, бросилъ рукопись, вспыхнулъ вновь, задрожалъ и, какъ съумасшедшій, самъ не зная зачѣмъ, бросился вонъ... Я бѣжалъ, задыхался, останавливался и снова бѣжалъ..

Г. Мачетъ.

Похороны.

Слышишь—въ селѣ, за рѣкою зеркальной,
 Глухо разносится звонъ погребальный
 Въ сонномъ затишьи полей.
 Грозно и мѣрно, ударъ за ударомъ,
 Тонетъ въ дали, озаренной пожаромъ
 Алыхъ вечернихъ лучей.....
 Слышишь—звучить похоронное пѣнье:
 Это апостолъ труда и терпѣнья—
 Честный рабочій почилъ.....
 Долго онъ шель трудовую дорогой,
 Долго родимую землю съ тревогой
 Потомъ и кровью поилъ.
 Жегъ его полдень горячимъ сіяньемъ,
 Вѣтеръ знобилъ леденящимъ дыханьемъ,
 Туча мочила дождемъ...
 Вьюгой избенку его заметало,
 Градомъ на нивахъ его побивало
 Колось, взрощенный трудомъ.
 Много онъ вынесъ могучей душой,
 Съ дѣтства привыкшей бороться съ судьбой.
 Пусть же зарытый землей
 Онъ отдохнетъ отъ заботъ и волненья,
 Этотъ апостолъ труда и терпѣнья
 Нашей отчизны родной.

С. Надсонъ.

Чему радовался ехимникъ въ соловьиную ночь?

(Отрывокъ изъ романа).

Умирала зима окаянная. Въ лѣсахъ—по оврагамъ лежалъ
 еще рыхлымъ пластомъ больной, ноздреватый снѣгъ. Чуть дер-
 жался надъ весенними потоками, просочившимися подъ нимъ,

но и его уносили прочь дождевые воды. На солнопекѣ первая нѣжная зелень легкимъ налетомъ опушила уже вѣтви. Гдѣ стояла еще тѣнь—и тамъ давно покраснѣлись и вспухли почки, готовые раскрыться. Съ юга вѣяло радостнымъ дыханіемъ пробудившихся полей и вмѣстѣ съ нимъ неслись на сѣверь крикливыя стаи ранней птицы. Казалось, выси небесныя сами звенятъ по утрамъ. Слушая ихъ «здравствуй», отзывались стреко- томъ и гомономъ воскресія болота и лѣсныя поляны и робко- робко, точно налаживаясь, сталь-было, неувѣренный и стыд- ливый, заводить свою пѣсню соловей. Въ полдень солнце уже и жечь начинало и земля въ поту своей творческой работы исходила вечерними туманами. Все точно ждало послѣдняго всемогущаго слова: «да будетъ»! и оно вдругъ грянуло и про- катилось подъ разомъ нахлынувшими тучами, казалось въ блескѣ молніи и съ трепетомъ благоговѣнія было принято вни- мавшей ему природой. Земля приобщилась небу и къ утру уже нельзя было узнать ее. Пышно развернулась остальная листва. Зелеными, сквозными, нѣжными, веселыми облаками стали де- ревя, громко и смѣло запѣлъ свою вдохновенную пѣсню со- ловей, радостно вспыжились и зажурчали потоки и, грудью надувшись по вѣтру, двинулись паруса судовъ на широкихъ полноводныхъ рѣкахъ.

Свѣтлый май щедро тратилъ свои воскрешающія ласки...

Зимы точно не бывало... Не вѣрилось, что еще недавно все кругомъ томилось подъ ея всепобѣднымъ гнетомъ. «Свобода, свобода!» гремѣло въ тучахъ, «свобода» отзывались имъ вол- ны, унося еще порою послѣднія льдины, словно ржавыя звенья разбитыхъ цѣпей. «Свобода»,—всею грудью дышали поля.. А птицы,—тѣ, никогда не зная рабства,—съ своихъ лазурныхъ высотъ о ней же кричали солнцемъ облитой понижи... Попро- бовала было вернуться зима, точно опомнилась: дай-ко попы- таю. Ночью съ полюса темною силой надвинулась марь. Свер- нулась листва осины и, дрогнувъ, поникнули липы. Неугомон- ный сѣверный вѣтеръ по старой привычкѣ затянулъ свою व्यюжную пѣсню. Закрутились въ охолодѣвшемъ воздухѣ снѣ- жинки. Да не во время—къ самому разсвѣту было; выглянуло

золотымъ краешкомъ солнце—и палъ этотъ вѣтеръ о земь, чтобы ужъ и не подыматься больше.

Съ каждымъ днемъ ярче и наряднѣ май свѣтозарный. Рядить кусты въ нѣжныя краски цвѣтовъ весеннихъ, выходитъ ему навстрѣчу все живое, и самъ древній, дряхлый, старецъ Антонинъ сидитъ у окна своей кельи и любитъся на него... Чудится ему, что вновь осуществляется евангельское чудо; невидимо пришелъ Христосъ и воскресилъ Лазаря, семь мѣсяцевъ вкушавшаго смертныи сонъ подъ гробовымъ покровомъ зимы.

— Пришолъ милостивый!—шепчутъ безкровныя губы и радостно въ безчисленныхъ морщинахъ изъ-подъ сѣдыхъ бровей загораются старческія очи... Пришолъ—не даромъ ждала его земля крещеная...

А небо все синѣе, поля зеленѣе, листва на деревьяхъ гуще и цвѣты ароматнѣе...

— Ишь, что кадила раскрылись и фиміамомъ курятся!...—думаетъ старецъ и мерещится ему въ благоуханіяхъ этихъ безмолвная молитва благодарной земли.... Къ небесамъ возносится она безмятежная и чистая.

А какъ заведетъ [соловей свою пѣсню,—старецъ не затворяетъ окна. Слушаетъ ее и понимаетъ, и думаетъ, обо многомъ думаетъ! Луна серпомъ золотымъ прорѣжется за сквозною липою, въ обители гулко и истово ударить колоколъ и торжественно въ сумракѣ и прохладѣ поплывутъ его звуки,—а соловей еще пуще разливается и сыплетъ въ тихую душу старца Антонина тысячи мыслей и чувствъ... Внимаетъ этой пѣснѣ задумчивая ночь, кутаясь въ свои непроглядныя мистическія тѣни; встаютъ изъ глубокихъ понизей бѣлые призраки, и неподвижнымъ туманомъ стоя между деревьями, заслушиваются ея тоже; и листъ не шелохнется, чтобы не нарушить молитвеннаго молчанія природы... Идутъ ли запоздалые богомольцы—и точно эта пѣсня къ землѣ приковываетъ ихъ. Не замѣтивъ темнаго окна Антониновой кельи,—остановятся и долго стоятъ, и чувствуетъ старецъ въ эти минуты, что, на зло годамъ и обѣтамъ, одною жизнью живетъ онъ со всѣмъ, что

кругомъ него бьется безчисленными пульсами... Изъ-за тысячи верстъ раскрываются безвѣстныя могилы, — и дорогіе милые люди сходятся вокругъ его кельи, смотреть на него, улыбаются ему... Замолкнетъ соловей, и очнувшійся Антонинъ видитъ, что по его старческому, исхудалому лицу текутъ обильныя слезы!... Живая душа трепещется подъ черною схимой и воскресаетъ никогда не угасавшая любовь къ тѣмъ вонъ людямъ, что стоятъ и ждутъ въ ночномъ сумракѣ и туманѣ, не заведетъ ли опять одинокій пѣвецъ свою вдохновенную пѣсню...

— Хорошо поетъ!—доносится оттуда въ его келью...

— Да... сказано всякое дыханіе да хвалитъ Господа...

И опять смолкаетъ толпа крестьянъ богомольцевъ.

— Не спишь?—спрашиваетъ отецъ Антонинъ своего келейника, замѣчая его силуэтъ, прислонившимся къ темному стволу старой липы.

— Простите... Испушеніе... Соловей вотъ...—отдѣляется тотъ.

— Ну, чтожъ—слушай... слушай... Божья птичка-то.. Усладительная. Коли настоящее понимать—много мудрости въ ней сокрыто...

— Сказываютъ—курскій... Опять слышится, какъ болтаютъ богомольцы между собою.

— У насъ такъ не могутъ... наши соловьи то-ись...—доносится откуда-то. — Нашъ соловей хлипкій, онъ тебѣ колѣно сдѣлаетъ и шабашъ. Въ емъ силы настоящешей нѣтъ... А здѣсь...

— Здѣсь!... Здѣсь... мѣсто моленное... Онъ братъ тоже это понимаетъ. Сколько старцевъ его слушаютъ—долженъ онъ свое усердіе показать? Ты какъ думалъ—около обители ему благодаръ. Первымъ дѣломъ—за гнѣздо онъ спокоенъ, потому нашихъ деревенскихъ озорныхъ мальцевъ нѣтъ. Тихо... Ну, онъ и старается. Чтожъ, пойдемъ чаю попить?

И голоса замираютъ вдали, и чутко прислушивается къ нимъ старецъ Антонинъ. Дороги они и милы ему въ эту ночь, какъ дорогъ и милъ весь этотъ міръ.

И каждая мелочь кажется ему многозначущей и осмысленной въ уединеніи его кельи...

«Сапоги носить!—думаетъ онъ...—Чай пить! Слава тебѣ,

Господи, слава тебѣ!.. Въ наши-то времена сапоговъ не было, чаю и не слышали. Легче народу стало, куда легче... Ежели бы по прежнему—ой, трудно... Съ каждымъ годомъ преизбыточествениѣ будетъ. И мятутся людѣ и недовольны человѣки, а кабы они назадъ оглянулись! Поняли бы, сколь ихъ жребій легче... Нѣтъ, братъ,—вдохнулъ онъ, обращаясь въ сумракъ къ невѣдомому собесѣднику.—Ты это напрасно... Міръ тоже на мѣстѣ не стоитъ, шатко ли, валко ли, а все движется по путямъ указаннымъ ему... Ты думаешь—тяжко тебѣ, и ропщешь и въ смятеніи духа укоризненно сердце свое озлобляешь, а того, дурашка, и не видишь, сколь скудно до тебя-то отцы твои жили... Отъ Бога то сверху виднѣе. Ему все какъ на ладони. Онъ понимаетъ и не даетъ міру слишкомъ ужъ назадъ-то поворачивать... Покараетъ за грѣхи, а потомъ и смиляется... Ступайте-де, рабы, дорога вамъ вольная... Эхъ!.. По нашему бы имъ, тогда бы расчухали, сколь сладко было... А то сейчасъ: постигнетъ тебя бѣда временная и чудится она тебѣ сослѣпу съ гору... И никнетъ человѣкъ и вѣры не имѣетъ... А зорче посмотри—все тебѣ легче, чѣмъ прежде и перенеси свое бремя—еще отраднѣе станетъ... Ибо бремя мое легко есть!..»

Онъ сталъ—было на молитву... и воззрѣлся на темный ликъ простой иконы, точно вздрагивавшей въ тускломъ блескѣ лампады, но никакъ не могъ сосредоточить мыслей, спутанныхъ соловьиною пѣсней.

— Погодить надо. Пускай уляжется... — подумалъ онъ и опять сѣлъ къ окну.

Бѣлые фантомы тумана стояли еще между деревьями. Мѣсяцъ давно поднялся надъ липами, струившими свой медовый ароматъ. Мистическія тѣни безмолвствовавшей ночи недвижно лежали у самой кельи... И вспомнилась ему другая ночь, такая же тихая, сладкая, чарующая... Сколько ужъ лѣтъ тому назадъ,—пожалуй шестьдесятъ будетъ?.. Всѣ годы у Бога равны, а все-таки не мало ихъ прошло съ той поры, какъ онъ неуверенно, робко стоялъ у бѣлыхъ стѣнъ обители и ждалъ утра... «Въ сапогахъ народъ ходить... Чай пьеть...—опять пронеслось

въ его головѣ.—Слава тебѣ, Господи, смиловался надъ чело-
вѣками... Нѣтъ, я тогда босой былъ... Лапти то за плечами
точно сокровище какое несъ... Вонъ они соловья слушаютъ,
премудрость эту понимать могутъ. А и въ ту ночь тоже со-
ловей пѣлъ, только я его не могъ вмѣстить въ сердцѣ своемъ,
потому оно само у меня въ груди точно птица въ клѣткѣ тре-
пыхалось. Не до соловьевъ было. Не понимали мы этого...
Да!.. А утромъ то, какъ врата обители растворили, точно
звѣрь травленный, бокомъ вошелъ я и простому иноку въ
ноги палъ, да и замеръ... Потому у насъ одно пристанище
было—монастырь. Коли не приметъ онъ тебя, загнаннаго, скуд-
наго и истерзаннаго, быть тебѣ всю жизнь рабомъ человѣче-
скимъ, а прикроетъ тебя черною рясою—и превознесенъ ты
и воскресъ рабомъ Божьимъ... Да, имъ легко теперь! Иди куда
хочешь...

«Хорошо, что на добраго инокъ попалъ, самъ изъ крѣпост-
ныхъ—это-то мое понятно ему было. Кабы на духовнаго нат-
кнулся, выгнать бы опять на старое положеніе... И спраши-
валъ мало...

— Ты, говорить, какихъ помѣщиковъ?

— Свиристѣловыхъ, отвѣчаю.

— Знаю... Жестоковѣйные люди. Ну, да никто какъ Богъ.
Работать можешь? Здоровъ ты?..—Посмотрѣлъ, посмотрѣлъ на
меня да и утѣшилъ.—Богу, братъ тоже крѣпостные нужны,
чтобы на храмъ да на обители его трудились... Ступай пока
къ богомольцамъ, а я отцу игумену поговорю. Можетъ онъ и
благословить укрыть тебя...

И благословилъ. Лѣса тогда корчевали подъ нивы. Всякая
рука на счету была. И работаль же я... Господи! Бывало день
деньской кипишь, а все не умаешься. Вернешься въ обитель и
опять по хозяйству стараешься... Ужъ очень сердце преиспол-
нено было: какъ цвѣтъ весенній теплу да солнцу раскрыва-
лось. Братолюбивые были тогда иноки. Монастырекъ еще бѣд-
нялся. Только и жили тѣмъ, что сами нарабаемъ. Купцы го-
родскіе свои кубышки тоже хоронили сокровенно. Не такія
времена были, чтобы сокровища свои указывать. И отецъ Ан-

тонинъ усмѣхнулся. Красный околышъ-то всюду прозрѣвалъ; только ты хвостъ распустилъ, глядь—а онъ ужъ и закрученъ у него въ кулакѣ... И судіе неправедное тоже алкало и жаждало... Ноньче-то благодать. Мировой и самый плохой ежели, а все на семь пядей стараго судьи превозвышеннѣе. Жалуются ноньче—слышно. Нѣтъ, они бы нашего попробовали! Разъ случилось нашимъ инокамъ у мирового побывать... Сказывали. Храмина чистая—судъ всякой душѣ христіанской милостивый и равный... Спаси, Господи!.. Нѣтъ, у насъ-то какъ господинъ Свиристѣловъ, Николай Петровичъ, къ сестрѣ подбирался, да на дворъ ее велѣлъ къ себѣ привести,—такъ старшаго брата посадили въ тюрьму да безъ опросу всякаго пять годовъ держали, а меня, чтобы не посягалъ, въ солдаты подъ палки... Хороши обитатели стояли... Въ нихъ однѣхъ прибѣжища были»...

«А ноньче—чай, сапоги!».

И чай, и сапоги сливались въ глазахъ схимника въ одно съ волею и правомъ, съ достоинствомъ человѣческимъ и съ нерушимостью его. И умилялся старецъ и смахивалъ рукавомъ слезы изъ глазъ, бормоча про себя: Дай тебѣ, Богъ, кормилецъ ты нашъ, крестьянинъ!.. Дай тебѣ прочно стать въ своихъ сапогахъ, чтобы лиходѣй да злоионецъ не тащилъ ихъ съ тебя, не гнулъ тебя о земь—образъ и подобіе Божіе. Встанутъ еще многія невзгоды... Не разомъ и зима отходить. Нѣтъ-нѣтъ да и попытается закружить вьюгой; а только разъ ужъ встало солнышко, да тепломъ настоящимъ повѣяло,—не страшна тебѣ сила тьмы... Уступитъ она... Слышь, уступитъ... Не одолѣетъ сила адава... Тьма кромѣшная, коли дрогнула разъ, не бывать ей больше... Не бывать! Цвѣти же, земля родная!.. Красуйся, справедливая, милостивая!.. Помилуй Господь тѣхъ, кто послужилъ ей, кто рабовъ человѣческихъ Твоими рабами сдѣлалъ и изъ плѣна египетскаго извелъ ихъ... Авось и земля Хаанаанская не далека: постранствуемъ еще въ пустынь и откроется она очамъ, медомъ и млекою текущая...

И простершись предъ тускло озаренной иконой, жарко, радостно и умиленно молился старецъ Антонинъ за землю Христову, за тѣхъ, кто далъ ей волю, за то, чтобы дѣло рукъ ихъ

было прочно и крѣпко и незыблемо, и чтобы не одолѣли ихъ силы адовы...

А отдохнувшій соловей опять проснулся и прокатился въ торжественномъ молчаніи майской ночи своею вдохновенною пѣснью... отвѣтною, радостною... Точно говорила она старческому сердцу: не бойся за достояніе братьевъ твоихъ... Несокрушимо выдержать оно всѣ удары лихіе и ярче, и пышнѣе расцвѣтетъ еще, окрѣпнувъ въ борьбѣ. Вѣрь только, жди и надѣйся. Глубоко пускаетъ свои корни добро, широко развѣтвляются они, и не рукѣ человѣческой вырвать ихъ изъ души, отверсней истинному слову любви братской. Все пройдетъ, все измѣнится — только правда будетъ стоять на радость и счастье человѣчества...

Вас. Немировичъ-Данченко.

*
* * *

Свѣтаетъ, товарищъ!..

Работать давай!

Работы усиленной

Требуешь край...

Работай руками,

Работай умомъ,

Работай безъ усталы

Ночью и днемъ!

Не думай, что трудъ нашъ

Безслѣдно пройдетъ;

Не думай, что думъ нашихъ

Міръ не пойметъ...

Работай лишь съ пользою

На нивѣ людей,

Да сѣй только честныя

Мысли на ней...

А тамъ ужъ что будетъ,

То будетъ пускай...

Такъ ну же работать мы
 Дружно давай!
 Работать руками,
 Работать умомъ,
 Работать безъ устали
 Ночью и днемъ.

Н. Омулевскій.

Легенда.

Былъ у Христа младенца садъ,
 И много розъ взростилъ Онъ въ немъ;
 Онъ трижды въ день ихъ поливалъ,
 Чтобъ сплестъ вѣнокъ себѣ потомъ.
 Когда же розы расцвѣли,
 Дѣтей еврейскихъ созвалъ Онъ;
 Они сорвали по цвѣтку,
 И садъ былъ весь опустошенъ.
 — «Какъ ты сплетишь теперь вѣнокъ?
 Въ твоёмъ саду нѣтъ больше розъ!» —
 «Вы позабыли, что шипы
 Остались мнѣ», сказалъ Христосъ.
 И изъ шиповъ они сплели
 Вѣнокъ колючій для Него,
 И капли крови, вмѣсто розъ,
 Чело украсили Его.

А. Плещеевъ.

(Изъ Бурдильена).

The night has thousand eyes.

Ночь смотреть тысячами глазъ,
 А день глядитъ однимъ;
 Но солнца нѣтъ—и по землѣ
 Тьма стелется, какъ дымъ.

Умъ смотритъ тысячами глазъ,
 Любовь глядитъ однимъ;
 Но нѣтъ любви—и гаснетъ жизнь,
 И дни плывутъ, какъ дымъ.

Я. Полонскій.

Данилушка.

(Психологическій очеркъ).

Было время, когда многіе у насъ на Руси не имѣли фамилій; для многихъ эта роскошь пріобрѣтена послѣ. Иванъ сынъ Ѳедотовъ или сынъ Антоновъ, сынъ Васильевъ — и довольно. Развѣ только сосѣди или товарищи дадутъ прозвище, и это прозвище носить получившій, носятъ дѣти его, внуки и т. д., и потомъ Корова или Свинтухъ, или Полосуха и проч. превращается въ Коровина, Свинтухина, Полосухина. Такъ и нашъ Иванъ Ивановичъ не имѣлъ фамиліи.

Иванъ Ивановичъ былъ дьячекъ богатаго приволжскаго села К. Поживалъ онъ отлично, не хуже иного дьякона, потому что рублей триста ассигнаціями было у него доходу, была землишка подъ садомъ, были неводки. Жена его, Татьяна Карповна, ткала знатныя полотна и вязала вареги, копила творогъ, и это давало доходу рублей на полтора ста въ годъ. Были и частныя занятія у Ивана Ивановича: онъ читалъ псалтирь по покойникѣ у помѣщика Степаныча, училъ букварю двухъ дворовыхъ людей, доставалъ иногда переписку изъ сосѣдняго города и бралъ по десяти копѣекъ за листъ; кромѣ того, онъ мастеръ былъ рѣзать изъ мѣди и кипариса крестики, четки, образа, деревянные ложки; ухвертки, зубочистки и другія мелкія издѣлія. Однимъ словомъ, Иванъ сынъ Ивановъ стоилъ бы права имѣть фамилію, чтобы и въ потомствѣ не забыли его. Онъ былъ дьячекъ, право, лучше иного дьякона, даже и такого, у котораго толстый басъ. Талантовъ у него было много. Всему онъ научился самъ. Хозяйство у него исправнѣйшее.

Онъ любилъ почитать и книжку, только самаго серьезнаго

содержанія и церковной печати: напрімѣръ Четьи-Минею, Святцы, Библію и т. п. Въ церкви онъ читалъ какъ и всѣ дьячки читаютъ: скребъ себѣ октавою, такъ что, когда приходилось произносить «Господи помилуй» 40 разъ, у него выходило «помилосты, помилосты»; но дома онъ читалъ съ чувствомъ, съ разстановкой, даже съ толкомъ. Такой идеальный дьячекъ жилъ еще въ тѣ времена, когда дьячки носили косы и бороды, — то и другое у него было не причесано; сюртукъ длинный, шаровары въ сапоги, шапка съ широкимъ козырькомъ, что очень шло къ его фигурѣ. Помѣщики его любили, священникъ не могъ нахвалиться имъ, а прихожане считали его за авторитетъ не только по хозяйственной, но и по другимъ частямъ.

Жена и дѣти Ивана Иванова жили въ страхѣ Божиѣмъ. Хотя нашъ Иванъ Ивановъ и придерживался того убѣжденія, что жена — слабый, немощный сосудъ, и такой сосудъ, который снаружи красивъ, а внутри полонъ скверны и нечистоты, — все-таки онъ любилъ жену, — не романически, конечно, а похристіански, какъ заповѣдали святые Отцы. Съ дѣтьми онъ разговаривалъ мало, отвѣчая имъ резонно, коротко и ясно. Изрѣдка только онъ позволялъ себѣ поболтать съ ними, позволялъ имъ хохотать и карабкаться къ нему на шею; — и странно, дѣти, имѣвшіе къ нему какой-то страхъ, въ этихъ случаяхъ были свободны и, не стѣсняясь, пихали пальцы свои ему въ ротъ и носъ, тербели за бороду и жидкія косички. Но лишь только произнесетъ отецъ: «довольно!» — сразу оставляли его. Онъ былъ убѣжденъ, что ребенка, хотя разъ въ мѣсяцъ, слѣдуетъ испарить, но, имѣя мягкую натуру, онъ парилъ ихъ рѣдко, за что не мало претерпѣвалъ мученій совѣсти.

— Эхъ, избалую я дѣтей! — говорилъ онъ вздыхая. — Ну, да что-жъ ты станешь дѣлать. Станешь сѣчь — имъ больно, а мнѣ и еще того больнѣй. Не могу.

Но и на него иногда находилъ часъ грѣха. Начнетъ онъ бродить по комнатѣ, — бродить день, другой, не ѣсть, не пить, не говорить ни съ кѣмъ, и все точно перемогается. Наконецъ скажетъ: «Нѣтъ, грѣхъ ужъ видно такой!» и чрезъ полчаса является пьянъ-пьянехонекъ, и лыкомъ не вяжетъ авторитетъ

села К. Однако пьяный онъ никогда не шумить, сидить молча, подгорюнившись, и ничто не заставитъ его говорить. На другой день онъ опять начинаетъ старую, трезвую и разумную жизнь, какъ будто вчера ничего не случилось, а жена ничего и не намекнетъ ему о вчерашнемъ. У ней есть такое убѣжденіе: — «не спрашивай: пить или нѣтъ; кто не пьетъ нынѣ? ты смотри, какой онъ во хмѣлю». Ну, а Иванъ Ивановъ былъ хорошъ во хмѣлю.

У Ивана Иванова былъ сынъ Андрюша, сынъ Петюша, сынъ Данилушка и дочь Анна. Знатная Анна была у него. Ну, да не о ней дѣло. — Хороши были и братцы ея, да и не о нихъ собственно дѣло. Дѣло о Данилушкѣ.

Данилушка былъ мальчикъ очень бойкій. Онъ былъ любимецъ матери. Название «матушкинъ сыночекъ» употребляется въ двухъ смыслахъ: матушкинъ баловень и матушкинъ любимецъ. Замѣчаютъ, что маменькинъ сыночекъ и маменькина дочка вообще бываютъ счастливы и умны. Былъ ли Данилушка счастливъ, это увидимъ послѣ. Но умъ его и разные способности и таланты уже обнаруживались въ его натурѣ даже теперь. Та же разносторонность, даже способность ко всему, какъ и у отца: сдѣлать ли корабликъ, съ лихимъ хлыстомъ удочку, запустить съ разными невиданными белеन्द्रями и трещетками змѣя, однимъ обломкомъ ножа сдѣлать лукъ и стрѣлы — это для него ничего не значило: все легко было для него. Мало того, что онъ, бывало, перейметъ что-нибудь, онъ всегда пойдетъ далѣе, сдѣлаетъ дополненія, измѣненія, улучшенія. Многое изобрѣлъ онъ даже самъ. Напримѣръ, онъ устроилъ между стѣной сарая палку, перехватилъ ее веревкой, двинулъ веревку — валъ пришелъ въ дѣйствіе со скрипомъ и трескомъ; это потѣшало Данилу. Но вотъ онъ дотронулся до конца палки: она была горяча. «Это отчего?» запало ему въ голову. «Горячо бываетъ отъ огня! Подожди же!»

Онъ позвалъ братьевъ, сплелъ изъ мочалы толстую веревку, чтобы она могла перенести сильнѣйшее треніе, и вотъ началась работа. Старшіе братья спрашивали: что изъ этого будетъ?

— А вотъ увидите,—отвѣчалъ Данилушка; послѣ быстрого, усиленнаго тренія, концы палки издали дымъ, а потомъ вспыхнулъ и огонь. Дѣти вскрикнули отъ удивленія.

Удивительно былъ изобрѣтательный мальчикъ этотъ Данилушка. Самъ онъ выдумалъ тенета для птицы. Однажды онъ забрался на чердакъ и бросилъ въ слуховое окно птичьи перушки и пухъ. Только вдругъ стрижь, на полъ-аршина отъ его носу, схватилъ перо и унесъ. Это понравилось Данилушкѣ. Онъ сталъ продолжать забаву. Другой стрижь сдѣлалъ то же, третій, четвертый. Хорошо. Этотъ случай такъ и прошелъ. Но Данилушкѣ запало въ голову, какъ бы это на пухъ поймать стрижа. Пробовалъ бросать пухъ, поджидая стрижа, а сзади и метнеть камнемъ. Нѣтъ, не выходитъ. На нитку привяжетъ перо и думаетъ: «пущу; какъ онъ хватить, я и дерну: авось либо упадетъ на полъ»; но птица боится нитки, да и перо трудно летаетъ. Пыталъ, пыталъ, да и бросилъ это дѣло. Однажды онъ навязалъ на бичевку камень и пускалъ въ видѣ кометы въ воздухъ, съ крикомъ и хохотомъ. Когда надоѣла ему игра, онъ ударилъ камнемъ объ колъ, желая оборвать или раздробить его, но камень залетѣлъ далѣе, ударилась веревка, обвилась около кола, да такъ и захлестнулась... Вдругъ Данило остановился! Это поразило его! Нѣтъ, не поразило, а духъ изобрѣтательности именно послалъ ему вдохновеніе. Мгновенно, подобно молніи, пробѣжали въ головѣ его тысячи мыслей и выдумокъ и онъ вскричалъ: «А! теперь я поймаю стрижа». Онъ, увидѣвъ братьевъ, увѣрялъ ихъ, что поймаетъ руками этого стрижа, который летитъ стрѣлой по улицѣ и полю, и вьется надъ Волгой, который не боится ни ястреба, ни человѣка, который такъ досадно смѣлъ, что между ногъ мчится... Братъ смѣялись надъ нимъ, разболтали матери, мать сказала Ивану Иванову, и за ужиномъ всѣ потѣшались надъ Даниломъ, который собирался поймать руками стрижа.

— Да ты-бъ и стерлядей наловилъ намъ руками,—говорилъ дядечекъ.—Эхъ, Данило, тебя пороть надо!

— А что если, тятка, я поймаю? что тогда? Тогда ты, тятка, для удища крюкъ подари, да два гроша.

— А если не поймашь?

— Тогда, тятка, вихры натряси!

— А зачѣмъ тебѣ два гроша?

— Я куплю долото...

— Хе, хе, хе! Да никакъ тебя, братъ, Данило, и вправду пороть надо, парить надо!.. На два гроша долото хочеть купить...

— Да что-жь? Старостинъ сынишка продаетъ стамеску...

— Ну, ладно, хорошо. Пусть уговоръ будетъ. А когда-жь поймашь?

— Завтра поймаю.

— Хорошо...

Настала тихая волжская ночь, поднялись туманы выше нагорнаго берега, легко плещется рѣка, а въ тиши ночи дуетъ пѣсно стоголосый соловей!.. Спитъ нашъ изобрѣтатель...

Поутру Данило вбѣжалъ, раскраснѣвшись, въ избу; глазенки его бѣгали, дышалъ онъ сильно, — жизнь играла во всей фигуркѣ его коренастенькой, здоровенькой, развившейся на деревенскомъ воздухѣ. Онъ трепеталъ весь отъ восторга.

— Мать, братья, сюда!

— Что?

— Смотрите! — и онъ выпустилъ изъ рукъ стрижа.

Озадачило всѣхъ это. Поднялась разспросы, толки, смѣхъ, — одинъ стрижъ бился съ разлета грудью въ стекло, такъ что звенѣло...

— Ну, Данило, драть тебя надо: ахъ, ты пузырь мой, чумичка моя; ладожская, братъ, у тебя душа! Вотъ тебѣ десять копѣекъ, а не два гроша. Танюша, а? Чмокни - ка ты меня, а?

— Ну, старый, чмокни тебя средь бѣлаго дня! Ишь что выдумалъ. Право!..

— Да ты повѣрь, выйдетъ изъ Данилы толкъ. Башка онъ будетъ!

— Все-жь десять копѣекъ деньги, — ворчала дьячиха.

— Но какъ-же ты поймалъ? — спросилъ дьячекъ.

Данило объяснилъ. Онъ досталъ нитку, навязалъ на нее

камешекъ съ горошинку, а къ другому концу привязаль перо и пустиль по воздуху; стрижь съ разлету схватилъ его; камень отлетѣль въ сторону, сдѣлалъ кругъ въ воздухѣ, обмоталъ птицу и связаль ее по крыльямъ; птица шарахнулась наземь; оставалось брать ее руками...

Такіе подвиги приобрѣтали Данилушкѣ полное вниманіе со стороны семьи. Имъ гордилось семейство. Но странно, на долю Данилки доставалось много подарковъ, ласкъ, похвалъ и разныхъ удовольствій, но и много колотушекъ, щипковъ, брани, и сѣченъ онъ бывалъ иногда не одинъ законный разъ въ мѣсяцъ. Это понять просто. Онъ былъ беспокойный ребенокъ. Бывало, привяжется къ матери, а не то къ отцу,—не отстать да и только...

Разъ онъ прочиталь, что царь Саулъ разрубилъ коровъ на части и разослалъ ихъ по царству.

— Тятка...

— Что тебѣ, каналья?

— Да вѣдь это смѣшно, тятка.

— Что такое?

— Да зачѣмъ Саулъ коровъ-то зарубилъ?

— Какихъ такихъ коровъ?

— Вѣдь онъ зарубилъ коровъ-то.

— А да; это значить, что кто не пойдетъ на войну, у того я стада порублю.

— Да какъ же это говядину разсылали по царству?

— Охъ, Данилко, пороть тебя надо. Съ послами царь разослалъ.

— Ну да, съ послами, говядину-то...

— Молчи, Данилка, не кощунствуй...

— Чего молчи! Вѣдь этого никогда не бываетъ!

— Охъ ты, озорникъ этакой! Стой-ка! Ну-ка, это что? Это каково? А! Ну-ка, я вотъ лозой-то по этому мѣсту; ну-ка, я тебя съ затылка попробую...

Это дьячекъ отдѣлывалъ своего сына; сынокъ верещаль и вопилъ на всѣ лады. Тутъ прибѣгала дьячиха, отнимала сына и бранила своего супруга. Но у супруга, право, было

доброе сердце. Онъ, по теоріи, убѣжденъ былъ въ необходимости пороть чадо; но это ему всегда тяжело самому обходилось.

Что ни говорите, а розги всегда имѣютъ свою силу. Ребенку надо имѣть много природнаго характера, чтобы смѣяться надъ розгой. Иной ученикъ говоритъ: «не рѣпу сѣять» — это значитъ онъ отерпѣлъ, околотился. Но вѣдь Данилку сѣкли разъ въ мѣсяцъ. Тутъ отерпѣться трудно. Вотъ я зналъ одного дьячка, котораго въ молодости высѣкли въ одинъ день двѣнадцать разъ, — ну, тому ничего!

Такъ розги очень огорчали Данилушку. Мамка суетъ ему блинка, называетъ его соколомъ; блинокъ Данилушка съ размаху влѣпнеть въ стѣну, а самъ ляжетъ на брюхо и молчить. И весь тотъ день онъ капризничаетъ. Все не по немъ. Съ братьями рассорится, станетъ надъ ними смѣяться, да такъ задѣнетъ самолюбіе, что и тѣ его поколотятъ... За обѣдомъ сидитъ — надуется; забудутъ ему дать кусокъ какой, онъ самъ не попроситъ, но очень живо вообразитъ, что ему нарочно не даютъ.

— Что жъ ты, Данилка, не ѣшь?

Молчитъ Данилка.

— А? Ну же, говори!

Данилка надуется еще пуще.

— Ну, поѣшь, голубчикъ!

Вотъ, какъ скажутъ ему «голубчикъ», ему и станетъ подступать къ горлу. Насупится Данило, но не заплачетъ, потому что совѣстно заплакать. И вотъ вѣдь сѣкли парня, а выросъ себѣ — пока ничего. Какъ же это розги отъ него отскакивали? Отчего онѣ не производили потрясающаго дѣйствія, какъ на нѣкоторыя натуры? Отчего онъ не грубѣлъ подлозами? А это ужъ складъ натуры такой. Вообще пора убѣдиться, что ребенокъ, котораго не исправляютъ розги, имѣетъ натуру сильную, здоровую, что такое дитя общаетъ многое, не смотря на всѣ его шалости и упрямства; потому что это — намекъ на то, что для такой натуры сильно только нравственное возбужденіе, что онъ можетъ дѣйствовать только по высшимъ причинамъ, а не по страху...

Иногда отецъ бывалъ не въ духѣ, и тогда онъ ко всему придирался.

— Ты шапку-то гдѣ взялъ? — спрашиваетъ онъ сердито у Данилушки.

Данилка молча вѣситъ ее на гвоздь.

— А зачѣмъ козыремъ къверху?

Отецъ сознаетъ, что слѣдовало бы высѣчь Данилку, но ему и жалко его, и является въ душѣ Ивана Иванова смѣсь и бореніе разныхъ чувствъ: и грусти, и досады, и недовольства, и даже совѣстно ему, хотя и самъ онъ понять не можетъ, чего же ему совѣстно. Все его беспокоитъ, все раздражаетъ, и вотъ, придираясь къ старшему сынишкѣ, Петкѣ, онъ доводитъ его до того, что Петька грубитъ, и отецъ паритъ Петьку... Послѣ этого тѣ же чувства недовольства и беспокойства поднимаются еще градусомъ выше. Отецъ грозитъ лозой и на Анну; но Анну спрятала мать. Тогда запищалъ двухлѣтній Андрей, но... о, Господи! — отецъ и Андрейку паритъ. Тутъ является мать, начинаетъ ругать мужа, назоветъ его, забывая страхъ Божій, и лысымъ дуракомъ, и другимъ разумнымъ словомъ наставить... Супругу свою отецъ ужъ не паритъ.

Въ этомъ отношеніи и семейные порядки были странные. Въ минуту нерасположенія, толкъ и правда въ семьѣ были иные: дозволенное запрещалось; умное прежде—теперь становится глупымъ, негоднымъ; за что отецъ самъ иногда, въ добромъ духѣ, похваливалъ, за то теперь слѣдовали розги и казни. Благосостояніе и спокойствіе семьи зависѣло отъ того, какъ настроенъ отецъ, который всегда любилъ на комъ-нибудь сорвать свой гнѣвъ; у него ужъ такая была натура, что непременно выражалась и въ лицѣ, и въ словѣ, и въ дѣлѣ.

— Поди ты прочь, что торчишь тутъ,—вдругъ ни съ того, ни съ сего скажетъ отецъ. Это ужъ и знайте, что онъ либо не доспалъ, либо сосѣдъ съ нимъ въ чемъ-нибудь не поладилъ, лошадь нездорова, или пасмурный день произвелъ дурное впечатлѣніе. Случалось, напр., что у Ивана Иваныча выходилъ весь табакъ; понюхать страшно хочется, а надо

ждать до утра, — тоска такая нападетъ; или, наприм., голодный онъ всегда бываетъ сердить.

— Да поди ты прочь, каналья! — кричитъ онъ съ голоду на Данилку.

Данилка отходить къ окну и начинаетъ скрипѣть гвоздемъ по стеклу. Отецъ бѣсится.

— Ахъ ты, лѣшій! — говорить онъ.

Ужъ тутъ такъ и знайте, что дойдетъ до порки.

И порка давно царить въ семьѣ, какъ необходимое педагогическое средство. Анну отецъ началъ парить на седьмомъ году, Данилу на пятомъ, Петруху на третьемъ, а Андрейку не пожалѣлъ и на второмъ. Причина этому единственно заключалась въ томъ, что, по мѣрѣ умноженія семейства, при-смотръ дѣлался сложнѣе и затруднительнѣе, и розга употреблялась чаще и чаще, какъ средство вспомогательное и болѣе хозяйственное въ педагогическомъ отношеніи. Объяснять ребенку, что худо и почему худо, — долго; ну, а поспѣкъ, онъ и не будетъ дѣлать ничего нехорошаго.

Условія, въ которыя поставленъ человѣкъ, чѣмъ запутаннѣе, сбивчивѣе, противорѣчивѣе, тѣмъ труднѣе человѣку саморазвиться правильно. Данило былъ ребенокъ умный; онъ, встрѣчаясь постоянно съ противорѣчіями со стороны старшихъ, привыкъ полагаться на самого себя и свое рѣшеніе считалъ послѣднимъ. Ребенокъ чувствовалъ, что его сѣкутъ не за то собственно, что онъ повѣсилъ шапку козырькомъ вверхъ, а за то, что лошадь нездорова и батька сердить. Онъ не могъ опредѣленно выразить свои ощущенія, но чувствовалъ, что отцовское «хочу такъ!» часто не имѣетъ основанія, и увлекался не тѣмъ, чего отецъ хотѣлъ, а воспитывалъ и въ себѣ тоже свое «хочу такъ!» Отецъ часто недоумѣвалъ, что за упорство у Данилки, въ кого онъ только выдался; а, очевидно, что Данило у него же и учился упорству, поддаваясь нравственному вліянію не сѣченій и наставленій, а вліянію его поступковъ: Данилка инстинктивно растилъ въ себѣ свое маленькое, ребячье «хочу!» и если отцу приходилось, въ недобромъ расположеніи, придраться къ Данилѣ, то всегда повторялось явле-

ніе, подобное тому, какое описали мы выше. Но еслибы въ его семействѣ было полное отреченіе правъ дитяти, что стало бы съ Данилой? Изъ него либо вышло забитое, несчастное существо, автоматъ, дурачекъ, розиня и плакса, либо просто страшно бѣснующійся негодяй.

Но не одна тѣнь была въ жизни Данилы; въ ней былъ и свѣтъ, и добрая сторона въ семействѣ чаще преобладала надъ беспорядкомъ; крикъ и неудовольствія раздавались не такъ часто, какъ смѣхъ и радостный говоръ.

Данилѣ одиннадцать лѣтъ. Онъ мальчикъ крѣпкій, здоровый и коренастый; его воспитали нашъ сельскій воздухъ, здоровая пища, свобода и приволье деревенское; лѣтомъ подпекло солнце, зимой отполировалъ морозъ. Въ немъ уже обнаруживается та же способность ко всякому дѣлу, какая была и у отца, и то же обиліе талантовъ.

Онъ не только гулялъ да изобрѣталъ разныя хитрыя штуки: онъ былъ полезнымъ членомъ въ семьѣ. Учился по книгѣ онъ зимою, больше учился изъ жизни и природы. Ребенокъ все видѣлъ, что совершалось въ его средѣ, во многія входилъ разсужденія, многимъ завѣдывалъ. Въ быту другихъ дѣтей, жизнь взрослого рѣзко отличается отъ ихъ жизни: тамъ возрасты менѣе соприкасаются въ занятіяхъ, и дитя рѣдко выходитъ изъ сферы игрушекъ и учебниковъ, начиная жить полною жизнью только по окончаніи курса, по выходѣ изъ школы. А здѣсь дитя живетъ и до училища: сводить ли на водопой лошадь, помочь отцу около дома, въ огородѣ, и въ саду, и въ рыбныхъ промыслахъ, понянчить маленькаго брата, пѣть съ отцомъ на клиросѣ—все это поручалось Данилѣ, по мѣрѣ дѣтскихъ силъ. И все это развивало въ Данилѣ практичность и ясность взгляда.

Въ свободное время онъ отправлялся въ лѣсъ, черезъ рвы и болота путешествовать; легкая лодченка уносила его съ бѣднымъ завтракомъ на цѣлый день. Данило ловко уже владѣетъ веслами; заправилъ онъ въ камыши, пустилъ съ длиннымъ хлыстомъ лесы и замеръ въ ожиданіи: скоро-ль поплавокъ нырнетъ въ воду. Родители не боятся, что ихъ дѣти могутъ по-

тонуть. Здѣсь дитя свободнѣе, самостоятельнѣе, и это лучшая сторона въ его воспитаніи.

— Гдѣ ты до сихъ поръ болтался, Данилко?

— А въ Деурино ходилъ.

А Деурино-то пятнадцать верстъ отъ дому. Данилѣ давно хотѣлось обслѣдовать всѣ окрестности. Онъ знаетъ, гдѣ растутъ самые лучшіе грибы и сморода, и яблоки, и разная ягода, и орѣхъ; знаетъ, гдѣ въ болотахъ самые высокіе султаны, на Волгѣ самые густые камыши; видалъ онъ и могилку некрещеннаго сынишки старосты, и овраги, и окрестные ручьи; на кладбищѣ знаетъ всѣхъ покойниковъ за пять лѣтъ, на память помнитъ всѣ надписи на плитахъ и крестахъ; на лодкѣ на дальнее пространство изѣздивъ Волгу и къ верху, и къ низу. Мастеръ онъ былъ отыскивать дикихъ пчелъ, зналъ отличныя мѣста для уженія въ рѣкѣ. Онъ былъ неутомимый ходокъ. Вслушивался онъ, гуляя по лѣсамъ, въ голоса птицъ: зналъ и дятла, и ястреба, и синицу, слыхивалъ соловья и заслушивался его цѣлыя ночи. Его дѣтскій крикъ и пѣсня спугивали въ соснахъ сѣраго рябчика и тетерку; видѣлъ онъ, какъ съ полей поднимались стада журавлей и лебединые полки. Онъ засиживался по цѣлымъ часамъ надъ муравейникомъ, наблюдая муравьиные хлопоты и работы, походы и битвы, порядокъ и управленіе...

Понятно, каково было Данилѣ, свободному, какъ воздухъ, свѣжему, здоровому, сильному и умному ребенку, подчиниться капризу отца и розгѣ. Его щеки запеклись отъ загара, голова позолочена солнцемъ, грудь воспитана въ еловыхъ и липовыхъ лѣсахъ, тѣло выросло изъ сельской пищи, бродячая жизнь укрѣпила его, развила наблюдательность и умъ. Да, это счастливая сторона его воспитанія; потомъ уже никакой учебникъ, никакая ботаника и зоологія не научатъ тому, что онъ теперь въ одинъ день замѣтитъ въ лѣсахъ и на водахъ. А потянутся по Волгѣ барки, какихъ ни наглядится онъ лицъ, какихъ не увидитъ товаровъ! Не выѣзжая изъ деревни, онъ зналъ больше всякаго городского мальчика, окруженнаго нѣжными гувернантками, учебниками, глобусами, картинами и другими

лицами и препаратами воспитанія. Но ни одинъ городской мальчикъ не видывалъ картины такой, какія видывалъ Данило. Никому учебникъ не говорилъ такъ много, какъ Данилъ говорила мать-природа. Да онъ и самъ былъ дитя природы. Ему не преподавали по рецептамъ изучать сначала ариѳметику и грамматику, потомъ средне-учебныя науки. Онъ всему учился сразу—и логика, и практическая философія, и языки, и вѣра, и сельское хозяйство, и географія на тридцать верстъ въ окружности, и право, на сколько оно извѣстно въ деревнѣ,—все ему извѣстно—все онъ черпаетъ не изъ мертвыхъ книгъ, а прямо изъ жизни, изъ природы. И за то навѣки останется въ сердцѣ его все, что онъ почерпнулъ изъ этого естественнаго источника.

Но какъ жалко Данилу, что его жизнь стѣснялась дома, что эту силу и здоровье, почерпнутыя изъ природы, направляли упорству.

Безапелляціонное «хочу» и недоброе расположеніе духа не всегда однако царствовали въ семьѣ дьячка. Вотъ глубокая осень. Отецъ обошелъ свои гумна и нашелъ, что всего-то у него вдоволь. Онъ радъ и спокоенъ. Данило принесъ первую клюкву. Кипитъ самоваръ на столѣ. Анна качаетъ люльку; мать стучитъ спицами; Петруха мастеритъ какую-то штуку долотомъ; отецъ добылъ Четьи-Минею и начинаетъ читать о Георгіѣ Побѣдоносцѣ и св. великомученицѣ Варварѣ. Бываютъ во всякомъ болѣе или менѣе добромъ семействѣ тихіе, мирные вечера, когда въ воздухѣ вѣетъ благодать и кротость; всѣхъ посѣтило легкое расположеніе, нѣтъ ни хохоту, ни крику дѣтскаго. Это не счастье, которое волнуетъ кровь,—это чудные часы жизни, послѣ которыхъ не остается ни утомленія, ни пустоты въ душѣ, это—поэзія семейной жизни! Въ такія минуты ребенокъ, утомившись игрой, положить голову на руку; взоръ его углубленъ, и не угадать, сознаетъ ли онъ себя, или не сознаетъ. Самоваръ шумитъ и свиститъ; раздается мѣрная октава Ивана Иванова. Данило, забравшись въ уголъ, слушаетъ сказанія о великихъ чудотворцахъ. У него замираетъ сердце и, въ патетическихъ мѣстахъ, дрожитъ слеза на рѣсницѣ, и

потомъ долго мечтается ему о такой святой и блаженной жизни, и представляется уже ему, что вотъ и его ведутъ къ Деоклитіану, и онъ читаетъ «Вѣру», и проводятъ его черезъ всѣ роды казней и мученій, и мечтается ему, что онъ все это перенесетъ и переможетъ и будетъ святымъ.

Славныя мѣста есть на Волгѣ для уженья рыбы. Данило и всѣ старшіе братья Данилы обнаруживали въ себѣ охотниковъ страстныхъ. Рыболовство было ихъ страстью. Легкая лодченка уносила ребятъ съ хлыстами на цѣлый день, и родители не боялись, что ихъ дѣти могутъ потонуть. Въ этомъ сословіи не балуютъ дѣтей. Посмотрите: мальченка семи лѣтъ верхомъ на лошади отправляется за восемь верстъ въ кабакъ. Здѣсь съ бреднемъ ловятъ дѣвченки щукъ у берега; четверо босоногихъ въ однихъ рубашенкахъ, двухлѣтнихъ и трехлѣтнихъ дѣтей ползаютъ на самой дорогѣ,—измазались они и набили ротъ пескомъ. Петюшка, сынишка старосты, одинъ ходитъ по лѣсамъ, не боясь заблудиться; вонъ мальчуга забрался на ворота и выдѣлываетъ тамъ разныя штуки: отецъ ему только сказалъ: «Сашка, оборвешься!» и пошелъ далѣе... Свобода полная процвѣтаетъ въ этомъ сословіи.

Знатно проводили время на Волгѣ братья Ивановы. Данилъ—и во время охоты, и дома, послѣ охоты, когда кровать качалась подъ нимъ, какъ лодка, въ глазахъ рябѣли волны, изъ за шкапа выглядывалъ кустъ или барка, и постоянно поплавокъ шмыгалъ въ воду,—вездѣ мерещилась охота въ большомъ размѣрѣ. «Вотъ еслибы наловить рыбы, продать ее, да закупить удочекъ, можно бы много наловить рыбы», думалъ онъ. Но пуще всего ему хотѣлось половить ночью, о чемъ онъ просилъ отца и что ему было строго запрещено... Но что западетъ въ голову Данилѣ, того ничѣмъ, бывало, не выбьешь...

Братьевъ онъ давно сманивалъ на охоту ночную...

Разъ предпріятіе состоялось... Рѣшились уйти безъ спросу. Въ одной комнатѣ съ ними спалъ отецъ; двери запирались накрѣпко, и потому рѣшено было уйти въ окно. Примѣрно всѣ

полегли... Данило чутко прислушивался къ тому, какъ засыпалъ отецъ. Вотъ раздалось его сапѣнье... Въ темномъ углу поднялась голова Данилы...

— Братцы, вы лежите, а я приподниму окно,—шепнулъ онъ.

Нужно было удивляться терпѣнію и осторожности Данилы. Онъ, по крайней мѣрѣ, четверть часа пробирался къ окну и не сводилъ глазъ съ отца. Посмотритъ на отца, на окно, потомъ на мѣсто, куда ступить, прислушивается къ одеждѣ своей... Отецъ пошевелинулъ головой... Данило такъ и окаменѣлъ на мѣстѣ, даже самъ не чувствуетъ своего дыханія. Вотъ луна выплыла и облила полосами сквозъ окно спальную... Андрюшу вдругъ дернуло гыкнуть—ему стало чего то смѣшно.

— А когда такъ,—сказалъ вслухъ, впрочемъ не громко, Данило,—такъ вотъ же вамъ!..

Онъ пошелъ смѣло, отодвинулъ окно и былъ таковъ. Отецъ только повернулся на другой бокъ. Немногая погода и братья послѣдовали его примѣру. Ночь удалась. Рыбы наловили дѣти мало, но прекрасно провели ночь. Ранехонько возвратились они домой, и никто не узналъ этого. Похожденія ночныя стали повторяться чаще и чаще... Наконецъ, они однажды были замѣчены. Страшно перепугались братья, когда отецъ ночью поймалъ Данилу въ самомъ окнѣ за чупрынъ. Ночью же была и расправа...

Но на другой день, странно, отецъ разсудилъ, отчего же не пустить ихъ ночью побаловаться, вѣдь не первый разъ, и ребятамъ была объявлена свобода.

Вскорѣ Данило сталъ замѣчать, что въ семьѣ съ нимъ начали обходиться какъ-то особенно. Мать, бывало, пойдетъ, погладитъ его по головѣ и вздохнетъ. Она никогда не цѣловала своихъ дѣтей. Однажды онъ накуралесилъ, и хоть не былъ паренъ уже мѣсяца два, но и тутъ его не выпороли Батяка подарилъ ему два гроша въ воскресный день и сказалъ. «Смотри, братъ, купи денежку, можетъ и пригодится». Данило спряталъ деньги; онъ носилъ ихъ въ сапогѣ подъ ногой... Мать ему стала давать самую большую порцію за обѣдомъ и, когда

братишки косились на это, она говорила имъ: «Ну, найдитесь еще! Данилушкѣ надо побольше!» Часто шептались родители между собою и смотрѣли въ то время на Данилу. Данило сталъ предчувствовать что-то недоброе. Не то, чтобы ребенокъ замѣтилъ и опредѣлилъ ясно и подробно всѣ перемѣны обхожденія; нѣтъ, а перемѣны сами давали себя чувствовать, и Данило, видя, что около него что-то не то, сталъ задумываться. Однако, еслибъ его спросили, о чемъ онъ беспокоится, онъ самъ не сказалъ бы. Ему казалось, что ему — такъ что-то неловко. Обстоятельства, наконецъ, стали опредѣляться.

— Что, Данилка? ты не боишься, плутъ, розогъ? а? жаль мнѣ тебя, Данилка, — сказалъ дьячекъ, и замѣтно стало для Данилы, что отецъ не договариваетъ.

— Щи да каша — ѣда наша; въ щяхъ силушка русская, а каша — подспорье къ ней. Приучайся къ кашѣ. Не всегда будешь ѣсть, какъ дома кормятъ. А два гроша цѣлы?

— Цѣлы.

— Ну, вотъ тебѣ еще два, — пригодятся.

Данилушка молча взялъ деньги.

— Ничего, Данилушка, розги ничего, притерпишься, голубчикъ; не рѣпу сѣять...

— Да что ты, тятка, точно не договариваешь?

— Вишь ты, въ училище хочеть везти, такъ и не договариваетъ, — вставила мать.

— Ну, что жъ, Данило? какъ ты полагаешь, а?

— Ну, въ бурсу, такъ въ бурсу...

— А парятъ тамъ, Данилко, чортъ ихъ побери, знатно...

Данило и прежде зналъ, что ему придется въ училище ѣхать, и что оно отъ дому за триста верстъ, но ему представлялось, что это можетъ случиться не раньше, какъ черезъ сто лѣтъ; такія вещи, дескать, не сразу дѣлаются.

— А чѣмъ тамъ тятка, сѣкутъ?

— Розгами же, Данилко; только сѣчетъ-то солдатъ; одинъ сѣчетъ, да два держать: одинъ за ноги, да одинъ за голову... А то, бывало, и сѣкутъ-то двое... съ одной стороны, да съ другой стороны. Худая это штука, Данилко...

- Я убѣгу, тятка.
- Нѣтъ, не убѣжишь! Тамъ солдатъ стоитъ у воротъ.
- Такъ я съ дороги убѣгу.
- А куда-жъ съ дороги пойдешь!..
- А въ разбойники!..
- Полно, Данило, отпорю...
- Ну да, отпорю...
- Ну, полно... На еще два гроша, на; купи денегу, пригодится.

Насталъ памятный для Данилки четвертокъ, 17 число августа 1837 года... Въ избѣ была хлопотня. Съ утра пекли и варили. Въ углу лежалъ узелокъ и халатикъ Данилы... Братшки были вымыты и одѣты по праздничному. Отецъ задумчиво ходилъ по комнатѣ. Данило лежалъ на лавкѣ внизъ брюхомъ и сердито плевалъ на полъ. Пришелъ священникъ и сталъ служить молебенъ Козьмѣ и Даміану, безсребренникамъ. Данилѣ, наконецъ, страшно стало. Показалось ему, что соборуютъ его, а не просятъ у Бога умудрить его, яко Соломона... Октава Ивана Иванова звучала глухо и уныло... Потомъ сѣли закусить. Отецъ Василій, благословивъ трапезу, сказалъ:

— Ну, дай Богъ твоему сынку счастье. А ты, Данило, учись, да слушайся старшихъ,—все будетъ хорошо, и самъ полюбишь науку и умудритъ тебя Господь, и будешь большимъ человекомъ. Но, охо-хо, трудна наука, трудна. Молись, Данило, чаще Богу, все пронесетъ онъ мимо тебя. Поди, благословлю я тебя.

Данило принялъ благословеніе батюшки.

— Ну, и я тебѣ скажу, сынокъ, кое-что: терпи, все терпи; вытерпишь, человекомъ будешь. А вытерпѣть надо—такая ужъ участь. Больше я тебѣ ничего не скажу. Ну, мать, благослови сына, да и прощаться надо.

— Ахъ, ты, Данилушко, вотъ ты у насъ какой слабенькій, а тамъ тебя въ конецъ ошциплють, окаянные. Прсцай ты, мое красное солнышко!..

Мать причитала и плакала,—все шло по обычаю и формѣ.

Помолились Богу, еще перецѣловались, присѣли на лавки и, помолчавъ минутъ десять, всѣ поднялись.

— Ну, пойдѣте на улицу!

На улицѣ опять перецѣловались и простились. Тронулась лошаденка; мать перекрестила воздухъ; долго она стоитъ да крестить, захлебываясь слезами. Отецъ сѣлъ вмѣстѣ съ сыномъ. Дорога прямая, какъ лента... Долго виднѣется шапка дычка...

Но вотъ скрылся возокъ. Мать взвизгнула и оперлась на перила крыльца. Стонетъ она и надрывается. Андрюшка ухватился за подолъ и тоже реветъ... И есть чему плакать, есть!..

1859.

Н. Помяловскій.

Т а й н а.

(Очеркъ).

— Подсудимый, вы обвиняетесь въ томъ, что 3-го декабря минувшаго года вы въ вашей квартирѣ покушались на убійство вашего родного сына, Николая Холодова, внезапно набросившись на него съ ножомъ, взятымъ вами тутъ же, на обѣденномъ столѣ, причемъ нанесли ему рану въ шею, рану, признанную врачами тяжелой. Признаете ли вы себя въ этомъ виновнымъ?

При первыхъ словахъ предсѣдателя со скамьи подсудимыхъ поднялся сухощавый, незначительнаго вида старикъ въ черномъ сюртукѣ, не блиставшемъ новизной, но шитомъ безукоризненно. Лицо его было блѣдно, глаза, окруженные мелкими морщинками, смотрѣли просто, вдумчиво, не выражая ни злобы, ни замѣтнаго страданія. У него были короткіе, рѣденькіе усы и узенькая сѣдая бородка. На впалыхъ морщинистыхъ щекахъ волосы не росли. Голова была острижена очень низко, волосы на ней хорошо сохранились и были почти сплошь черные.

Онъ откашлялся, нѣсколько разъ подрядъ сдвинулъ сѣдые, рѣдкія брови, и сказалъ съ разстановкой, внятно, но голосомъ негромкимъ и слегка дрожащимъ:

— Признаю себя виновнымъ!

— Разскажите, какъ было дѣло.

— Такъ, какъ разсказано въ обвинительномъ актѣ. Я ничего не могу ни измѣнить, ни прибавить!

Сказавъ это, онъ сѣлъ на свое прежнее мѣсто, опустилъ голову и сложилъ руки на колѣняхъ.

— Подсудимый, что же васъ заставило совершить этотъ поступокъ?—спросилъ предсѣдатель.

Старикъ медленно, съ очевидной неохотой опять поднялся.

— Я ничего не могу прибавить,—повторилъ онъ и поспѣшно опустился на скамейку. Но предсѣдатель еще не кончилъ свои вопросы.

— Подсудимый! Старикъ опять поднялся и посмотрѣлъ на спрашивавшаго съ укоромъ. Взглядъ его какъ-бы говорилъ: «зачѣмъ вы меня тревожите? Развѣ вы не видите, что я ничего не хочу сказать?»

— Подсудимый! Вы имѣете право отказаться отъ дачи объясненій. Итакъ, вы пользуетесь этимъ правомъ и не желаете давать объясненій?

— Я ничего не могу прибавить!—въ третій разъ повторилъ старикъ Холодовъ.

— Садитесь!

Онъ сѣлъ и тотчасъ-же принялъ прежнюю позу. Среди присяжныхъ, сидѣвшихъ напротивъ, произошло легкое движеніе. Нѣкоторые изъ нихъ шептались, взглядывая на старика. Въ то время, какъ предсѣдатель внимательно смотрѣлъ въ какую-то бумагу, а секретарь что-то записывалъ быстрымъ почеркомъ, въ публикѣ повторилось то же движеніе, что и среди присяжныхъ. Всѣ съ любопытствомъ осматривали старика, который, казалось, весь сосредоточился на своихъ рукахъ, лежавшихъ на колѣняхъ, и не обращалъ никакого вниманія на то, что вокругъ него дѣлалось. По оживленному выраженію лицъ всѣхъ присутствовавшихъ въ залѣ можно было видѣть, что дѣло съ перваго же момента сполна завладѣло общимъ вниманіемъ. Даже члены суда, сидѣвшіе по обѣ стороны предсѣдателя, обыкновенно, какъ-бы по самому смыслу своей должности, начинаю-

щіе скучать уже съ той минуты, когда вводятъ подсудимаго, на этотъ разъ раздѣляли общее оживленіе.

— Г. судебный приставъ, пригласите свидѣтеля Налимова!

Старикъ не перемѣнилъ позы. Свидѣтель Налимовъ—человѣкъ лѣтъ тридцати, красавецъ, съ короткими бѣлокурыми кудрями, одѣтъ очень изысканно, смотритъ весело, почти радостно и только въ тотъ моментъ, когда взоръ его какъ-бы случайно упалъ на старика, на лицѣ его выразилась жалость.

Свидѣтель Налимовъ звучнымъ, пріятнымъ баритономъ сообщаетъ, что онъ въ семействѣ Холодова съ давнихъ поръ былъ принятъ какъ свой человѣкъ. Еще когда старикъ Холодовъ былъ учителемъ въ гимназіи, онъ былъ его ученикомъ; ставши студентомъ, онъ давалъ уроки его сыну Николаю, а кончивъ университетъ, получилъ мѣсто учителя въ той же гимназіи, гдѣ до своей, по причинѣ старости и разстроеннаго здоровья, отставки преподавалъ Холодовъ. За недѣлю до катастрофы онъ сдѣлалъ предложеніе дочери старика и получилъ согласіе. 3-го декабря онъ обѣдалъ у нихъ; обѣдала вся семья, старикъ былъ серьезенъ и молчаливъ, чего прежде за нимъ не замѣчалось.

— Напротивъ, говорилъ свидѣтель,—онъ любилъ поболтать въ своей семьѣ, любилъ затрогивать отвлеченныя темы, часто вспоминалъ о томъ времени, когда онъ былъ студентомъ московскаго университета, съ восторгомъ пересказывалъ намъ цѣлыя лекціи Грановскаго, къ памяти котораго онъ относился съ обожаніемъ; иногда со слезами на глазахъ вспоминалъ о томъ, какъ однажды былъ счастливъ увидѣть на улицѣ въ Москвѣ Бѣлинскаго... Въ этотъ день онъ ѣлъ молча и какъ бы не замѣчалъ нашихъ шутокъ и смѣха. Николай опоздалъ къ обѣду, пришелъ ко второму блюду, и когда онъ вошелъ и весело, съ какой-то шуткой, которая насъ всѣхъ разсмѣшила, сѣлъ за столъ, старикъ посмотрѣлъ на него долгимъ взглядомъ, но ни сказалъ не слова. Послѣ обѣда мы ушли въ кабинетъ, а Иванъ Петровичъ остался и медленно чистилъ свой апельсинъ. Онъ сказалъ Николаю: «погоди минутку, ты мнѣ нуженъ!» Николай остался, а мы ушли въ кабинетъ. Надо было пройти гостиную. Мы притворили дверь, думая, что у

старика съ сыномъ будетъ какой-нибудь серьезный разговоръ; не хотѣли мѣшать. Николай былъ на третьемъ курсѣ, часто уходилъ изъ дому и иногда возвращался къ утру. Это портило ему здоровье, старикъ былъ недоволенъ, и мы думали, что объ этомъ будетъ рѣчь. Въ кабинетѣ мы продолжали шутить и смѣяться. Пили кофе. Прошло съ четверть часа. Вдругъ слышимъ въ столовой шумъ. Николай кричитъ. Стулъ упалъ, тарелка свалилась со стола и разбилась. Мы вбѣжали и увидѣли ужасную картину. Старикъ вцѣпился одной рукой въ горло молодому человѣку, а въ другой—былъ ножъ... У Николая шея была окровавлена... Мы развели ихъ. Старикъ весь дрожалъ, губы его и руки тряслись. Мы отвели его въ гостиную и уложили на диванъ. Онъ лишился чувствъ... Вотъ все, чему я былъ очевидцемъ.

Задавалъ вопросы прокуроръ. Онъ заставилъ свидѣтеля повторить, что за обѣдомъ, еще до прихода сына, старикъ былъ молчаливъ и задумчивъ, а слѣдовательно уже тогда обдумывалъ свой преступный замыселъ. Свидѣтель повторилъ первую часть, относительно же второй отозвался, что ему неизвѣстно, что именно обдумывалъ старикъ, когда былъ молчаливъ. Прокуроръ также попросилъ свидѣтеля вспомнить, не имѣлъ ли подсудимый, когда былъ учителемъ, жестокихъ привычекъ, на примѣръ—драть за уши или запирать въ карцеръ.

— Никогда!—рѣшительно и съ достоинствомъ отвѣтилъ Нахимовъ:—это былъ человѣкъ въ высокой степени гуманный!

— Вы говорили, что сдѣлали предложеніе дочери подсудимаго и оно было принято?

— Да, я это уже сказалъ.

— А затѣмъ?

— А затѣмъ... мы обручились.

— Больше ничего не имѣю,—закончилъ прокуроръ и почему-то посмотрѣлъ на свидѣтеля и на присяжныхъ засѣдателей ироническимъ взглядомъ.

Защитникъ интересовался другой стороною дѣла. Не случалось ли видѣть подсудимаго, въ бытность его учителемъ и послѣ—безъ причины задумчивымъ? Не замѣчалъ ли свидѣтель

въ немъ какихъ-либо странностей, характеризующихъ не вполнѣ нормальное состояніе умственныхъ способностей? Къ глубокому огорченію защитника свидѣтель ничего этого не замѣчалъ. Напротивъ, у Ивана Петровича всегда былъ ясный умъ и свѣтлый юношескій взглядъ на жизнь. Да, но вотъ свидѣтель упомянулъ о томъ, какъ старикъ со слезами вспоминалъ, что видѣлъ на улицѣ Бѣлинскаго. Развѣ это не казалось ему чудачествомъ? Свидѣтель не понимаетъ вопроса. Нѣтъ, ему это не казалось чудачествомъ. Съ выраженіемъ нѣкоторой тайной надежды защитникъ спросилъ еще, не случилось ли, что старикъ выпивалъ лишнее? Не выпилъ ли онъ и въ этотъ день за обѣдомъ лишнюю рюмку вина? — Это случилось изрѣдка, но въ предѣлахъ приличія. Сколько выпилъ старикъ въ этотъ день, свидѣтель не помнитъ. Этотъ отвѣтъ доставилъ большое удовольствіе защитнику. Онъ даже поклонился свидѣтелю и сказалъ, что больше у него нѣтъ вопросовъ.

— Подсудимый, не имѣете ли что-либо объяснить по поводу показаній свидѣтеля Налимова?

Подсудимый чуть-чуть привсталъ, опираясь обѣими руками на спинку адвокатской скамьи. — Все такъ было! — сказалъ онъ тихо, но его слова были хорошо слышны, потому что въ залѣ въ это время стояла тишина, которая какъ-то сама собой водворялась всякій разъ, когда старикъ подымался, чтобы дать вынужденный отвѣтъ.

Ввели свидѣтельницу Варвару Холодову. Молодая дѣвушка съ блѣднымъ красивымъ лицомъ; со старикомъ нѣтъ сходства, только глаза — сѣрые, небольшіе, такіе же вдумчивые и съ такимъ же выраженіемъ грусти, какъ и у него. Говоритъ тихо, прерывающимся голосомъ, словно каждую минуту готова разрыдаться. Она сообщаетъ то же, что говорилъ Налимовъ, но путается, повторяетъ и дѣлаетъ большія паузы. Прокуроръ и защитникъ и къ ней пристають съ тѣми же вопросами, но садятся оба разочарованные. У нея кружится голова; предсѣдатель отпускаетъ ее.

Опять свидѣтельница Холодова; эту зовутъ Маріей. Старуха высокаго роста, съ важной, благородной осанкой, вся въ чер-

номъ. Хочетъ отвѣчать на вопросъ предсѣдателя, но у нея не выходитъ ни одного слова. Ей мѣшаютъ слезы, она рыдаетъ.

Члены суда начинаютъ позѣвывать. Въ публикѣ замѣтно падаетъ оживленіе. Она почти начинаетъ убѣждаться, что тутъ нѣтъ никакой тайны, и дѣло объясняется очень просто—припадкомъ умоизступленія. Это слишкомъ простая вещь, чтобы ею интересоваться. Только когда медленно и неохотно подымается старикъ, чтобы дать то или другое разъясненіе, она еще съ упованіемъ смотритъ на него, не откроетъ ли онъ что-нибудь. Вдругъ онъ однимъ сильнымъ словомъ приподыметъ завѣсу и тамъ откроется какая-нибудь страшная семейная тайна—и публика будетъ разомъ вознаграждена за терпѣніе... Но всѣ его объясненія, — это три слова: «Все такъ было». Это становится скучно и досадно.

Являются на сцену горничная и кухарка, какой-то посторонній свидѣтель—учитель, который долженъ былъ охарактеризовать подсудимаго какъ человѣка, безпристрастно, какъ постороннее лицо. Что же,—человѣкъ онъ былъ мягкій, справедливый, неспособный даже неосторожнымъ словомъ обидѣть невиннаго. Кухарка и горничная слышали въ столовой крикъ. Тарелка разбилась. У молодого барина изъ шеи струилась кровь... Все такъ просто, обыденно и сухо. Ни одного шага къ тайнѣ, ни одного намека на то, что для нея здѣсь было мѣсто...

Но есть еще надежда. Предсѣдатель поручилъ приставу пригласить свидѣтеля Николая Холодова. При одномъ этомъ имени всѣ разомъ напрягли вниманіе. Это была послѣдняя надежда.

Николай Холодовъ—очень молодой человѣкъ въ студенческомъ мундирѣ. Какъ онъ похожъ на отца, удивительно. Черезъ пятьдесятъ лѣтъ это будетъ точь въ точь Иванъ Петровичъ, съ такими же жидкими усами, съ узенькой бородкой, съ безволосыми щеками. Только глаза у него нѣсколько другіе: длиннѣе и темнѣе и нѣтъ въ нихъ того задумчиво-грустнаго выраженія; напротивъ, въ нихъ есть что-то холодное.

Онъ блѣденъ, но входитъ ровной походкой, становится у

маленькаго чернаго столика и смотреть прямо на председателя. Старикъ глядитъ внизъ, а онъ не глядитъ на старика. Мундиръ у него новенькій, хорошо спитъ и отлично сидитъ на немъ.

— Свидѣтель Николай Холодовъ, расскажите, что вы знаете по этому дѣлу!

Свидѣтель Николай Холодовъ молчитъ. Лицо его стало еще блѣднѣе, голова чуть-чуть покачивается отъ волненія.

— Вы желаете дать показаніе?—спрашиваетъ председатель.

— Здѣсь уже, вѣроятно, все рассказали... Мнѣ тяжело говорить!.. произносить молодой человѣкъ дрожащимъ, тихимъ голосомъ.

— Вы имѣете право отказаться отъ дачи показаній, но если можете, говорите... Ваши показанія очень важны...

— Мы обѣдали... тихо, останавливаясь послѣ каждой короткой фразы, заговорилъ Николай Холодовъ:—когда кончили обѣдъ, отецъ велѣлъ мнѣ остаться. Мы были вдвоемъ... Онъ на меня накинута... И дальше ужъ вы знаете...

— О чемъ говорилъ вашъ отецъ, когда вы были вдвоемъ?

— Онъ говорилъ... Право, я теперь не могу вспомнить...

— Свидѣтель!—обращается къ нему прокуроръ:—не было ли до этого эпизода у васъ съ отцомъ какой-нибудь исторіи, на примѣръ—крупнаго разговора, въ которомъ вы сказали бы ему какое-нибудь обидное слово? Не можете ли вы объяснить поступокъ подсудимаго местию за обиду?

— Разговоры, конечно, бывали... отецъ любилъ читать нотатки...

— А вы ему возражали, не соглашались съ нимъ?

— Это бывало.

— На примѣръ? Не можете ли вспомнить что-нибудь?

— На примѣръ, отецъ ссылался на свое время... Говорилъ, что въ его время у молодежи были твердые принципы, а теперь молодежь измѣлчала...

— А вы отвѣчали?

— Я отвѣчалъ, что... я человѣкъ своего времени... Каково время, таковъ и я...

— Но вы, вѣроятно, чѣмъ-нибудь вызывали его на подобные упреки?..

— Отцу не нравился мой образъ жизни...

— То есть? Чтò именно въ вашемъ образѣ жизни не нравилось ему?

— Напримѣръ, я съ товарищами игралъ въ винтъ... Мы часто собираемся и играемъ въ винтъ...

— А отецъ вашъ находилъ это безнравственнымъ, не правда ли? спросилъ прокуроръ съ усмѣшкой и посмотрѣлъ на присяжныхъ засѣдателей такимъ взглядомъ, который говорилъ: «Но кто-же изъ васъ, гг. присяжные засѣдатели, не играетъ въ винтъ? И я играю, и г. председатель играетъ»...

— Онъ говорилъ, что въ моемъ возрастѣ должны быть другія увлеченія, болѣе благородныя, согрѣтыя какой-нибудь возвышенной идеей...

Спрашиваетъ защитникъ:

— Свидѣтель, не замѣчали ли вы, что отецъ вашъ, по мѣрѣ приближенія старости, какъ-бы терялъ прежнюю ясность ума?

Николай Холодовъ въ первый разъ мелькомъ взглянулъ на отца. Старикъ чуть-чуть приподнялъ голову и глядѣлъ на него изподлобья, но внимательно и, какъ казалось, спокойно.

— Мнѣ такъ кажется!.. нерѣшительно отвѣтилъ молодой человекъ. Старикъ нахмурилъ брови и сталъ какъ-бы прислушиваться къ словамъ сына.

— Васъ поразилъ поступокъ отца? Онъ былъ для васъ неожиданностью?

— Да... Я не ожидалъ ничего подобнаго!..

— Какъ же вы сами объясняете его?

— Не знаю... Не могу объяснить!..

Онъ опять взглянулъ на отца мелькомъ и опять встрѣтился съ его внимательнымъ взглядомъ.

— Не замѣтили ли вы, что онъ въ этотъ день за обѣдомъ пилъ много вина?

Молодой человекъ замаялся, покраснѣлъ и промолвилъ дрожащимъ, прерывающимся голосомъ: — Кажется... Это очень вѣроятно...

Вдругъ старикъ поднялся и, впиваясь въ молодого человѣка острымъ, пронизывающимъ взглядомъ, сказалъ совсѣмъ новымъ голосомъ, какъ будто это былъ не тотъ самый человѣкъ, который въ началѣ слѣдствія нехотя давалъ свои показанія:

— Позвольте мнѣ объяснить... Я не могу дольше сдержатъ себя...

Николай Холодовъ быстро повернулъ лицо свое къ старику и тотчасъ же опустилъ глаза и отшатнулся на шагъ назадъ. Въ пылающемъ взглядѣ отца, въ исходившемъ отъ самаго сердца голосѣ, онъ прочиталъ не одно только волненіе, но и рѣшимость разсказать все. Поняла это и публика, вниманіе которой уже было значительно утомлено ничего незначущими подробностями, въ которыхъ нельзя было отыскать ни тѣни, ни малѣйшаго намека на какую-нибудь тайну. И вдругъ—такая неожиданность. Старикъ самъ проситъ слова, онъ больше не можетъ сдержатъ себя. Ясное дѣло, что свидѣтели умышленно чего-то не договаривали. Тайна есть, и они ее знаютъ, въ особенности хорошо знаетъ ее Николай Холодовъ. Не даромъ голосъ его такъ дрожалъ, когда онъ отвѣчалъ на вопросы прокурора, не даромъ онъ то блѣднѣлъ, то краснѣлъ при вопросахъ защитника. А какъ смутилъ его взглядъ старика, какъ онъ задрожалъ и пошатнулся при его послѣднихъ словахъ!

— Свидѣтель, садитесь! Подсудимый, вы можете давать ваше объясненіе!—сказалъ предсѣдатель.

Николай Холодовъ нетвердыми шагами подошелъ къ первой скамьѣ, гдѣ сидѣла его сестра и рядомъ съ нею Налимовъ; онъ на секунду остановился передъ пустымъ мѣстомъ, подумалъ, круто свернулъ въ сторону и сѣлъ на третьей скамьѣ. Глубокая тишина водворилась въ залѣ.

— Онъ лжетъ! Этотъ молодой человѣкъ—мой сынъ, но я говорю, что онъ лжетъ!.. выразительно покачивая головой, промолвилъ старикъ:—онъ знаетъ, что я не пилъ вина!.. Въ этотъ день я почти не ѣлъ за обѣдомъ и выпилъ, можетъ быть, не больше полустакана вина. Онъ это знаетъ и лжетъ... Онъ знаетъ причину, онъ хорошо знаетъ ее, но стыдится, потому что она для честнаго юноши позорна... Мать и сестра, можетъ быть,

и не знаютъ, а онъ знаетъ. Вы, господа судьи, тоже должны узнать... Я молчалъ, я не хотѣлъ говорить, я думалъ, что онъ самъ раскается чистосердечно и скажетъ: «такъ было, и я сожалѣю объ этомъ». Но онъ не сожалѣетъ... Онъ думаетъ, что честнѣе — намекнуть, что отецъ выжилъ изъ ума и заставить подозрѣвать, что онъ пьяница... Вы слышали, какъ онъ сказалъ? Не прямо: «да, онъ въ этотъ день выпилъ много вина», а косвенно: «кажется... очень вѣроятно»... Прямо сказать онъ не посмѣлъ. Это—трусость лжеца!.. Господа, онъ—мой сынъ: вы видите, какъ онъ на меня походить... Господа, мнѣ больнѣе говорить это, чѣмъ вамъ слушать... Но разъ вамъ приходится судить объ этомъ, знайте правду. Вотъ какъ было дѣло. Не знаю, какъ это выходитъ и отчего это, что мы, отцы, бьемся всю жизнь, чтобы передать дѣтямъ наши честныя правила, а дѣти вырастаютъ и начинаютъ говорить чуждымъ для насъ языкомъ, какъ будто не съ нами выросли... Да, Налимовъ сказалъ правду: я съ восторгомъ вспоминаю время, когда слушалъ Грановскаго, и почитаю себя счастливымъ, что видѣлъ хоть на улицѣ Виссаріона Григорьевича Бѣлинскаго... И я говорилъ сыну: вотъ чему они учили. Развивай свой умъ, будь честенъ въ большомъ, какъ и въ маломъ. И онъ огорчалъ меня, потому что, будучи юношей, когда душа естественно стремится къ высокому, онъ съ любовью игралъ въ карты, думалъ и говорилъ о томъ, какъ бы поскорѣе кончить курсъ и сдѣлать получше карьеру... Господа, я ничего не имѣю противъ карьеры, какая по силамъ человѣку. Всякій долженъ служить родинѣ и я самъ служилъ до старости, занимая мѣсто учителя, —я получалъ жалованье, чины и награды... Но это само приходитъ въ свое время. Но когда юноша съ перваго университетскаго курса мечтаетъ объ этомъ, это свидѣтельствуетъ о преждевременномъ охлажденіи сердца, на это смотрѣть грустно и больно. Пусть мы заблуждались, а потомъ сдѣлались трезвы, но заблужденія эти были святыя, они очищали душу... Горе тому, кто родился застрахованнымъ отъ этихъ заблужденій!.. Его жизнь—вѣчная ночь, въ его сердцѣ—вѣчный холодъ...

— Подсудимый, не отвлекайтесь и говорите только о дѣлѣ!.. замѣтилъ предсѣдатель.

— Хорошо, я буду говорить только о дѣлѣ. Я обращался съ своимъ сыномъ ровно и сдержанно, но въ душѣ я ужъ давно былъ во враждѣ съ нимъ. Своими взглядами на жизнь, своимъ поведеніемъ онъ оскорблялъ все мое прошлое, которое было чисто какъ дождевая капля; онъ топталъ въ грязь мои идеалы, которые я считалъ святыми... Да, я былъ съ нимъ во враждѣ. И вотъ однажды пришла ко мнѣ одна женщина, я никогда не встрѣчалъ ея. Она—вдова бѣднаго чиновника,—я не назову ея имени. Она старуха. Мы говорили съ нею наединѣ въ моемъ кабинетѣ. Слезы мѣшали ей говорить. Вотъ что она рассказала мнѣ: «Вашъ сынъ Николай знакомъ съ нами уже больше года. Онъ бываетъ у насъ запросто, и я привыкла смотрѣть на него какъ на своего человѣка. У меня есть дочь—единственное мое сокровище. Ей семнадцать лѣтъ, она кончила прогимназію и готовилась въ учительницы. Она—красивая дѣвушка, и я замѣтила, что между ними есть симпатія. Но я никогда не думала... Ахъ вы, какъ отецъ, понимаете, что мы думаемъ о своихъ дѣтяхъ лучше, чѣмъ они есть въ дѣйствительности... Ну, однимъ словомъ, моя дочь скоро сдѣлается матерью... Когда я узнала объ этомъ, я чуть съ ума не сошла отъ отчаянія. Мы—честные люди. Но моя дочь даже не плакала. Она съ такимъ убѣжденіемъ говорила: «Я люблю Колю и онъ меня любитъ... Ему осталось немного до окончанія курса. Когда онъ кончитъ, мы обвѣнчаемся. Я такъ счастлива». Это меня немного успокоило. Я подумала: это—несчастье, но все-таки его можно загладить. Однажды я пригласила вашего сына, когда дочери не было дома, и сказала ему: «мнѣ извѣстно все. Я хочу слышать лично отъ васъ, что вы имѣете честныя намѣренія относительно Саши. Конечно, вы должны были вести себя благоразумнѣе, но это непоправимо». Онъ покраснѣлъ и сказалъ: «Вы не должны сомнѣваться въ моихъ намѣреніяхъ». Послѣ этого онъ не былъ у насъ недѣли двѣ, потомъ зашелъ, посидѣлъ часъ, а затѣмъ проходитъ недѣля, другая, мѣсяцъ, около двухъ мѣсяцевъ прошло, онъ ни

разу не заглянулъ къ намъ. Мое сердце встревожилось. Я написала ему упрекъ: «отчего вы не заходите? Сашенька очень тревожится! Не больны ли вы?» Онъ отвѣтилъ мнѣ, что очень занятъ, готовится къ экзамену и просить извиненія — и въ письмѣ ни слова о Сашенькѣ... Ни одного слова!.. Я написала ему, что такъ нельзя, что никакіе экзамены не могутъ помѣшать ему забѣжать на минуту и успокоить Сашеньку. Я прибавила, что ихъ отношенія съ Сашенькой обязываютъ его къ этому. И что-же онъ мнѣ отвѣтилъ? Вотъ что!» Она подала мнѣ бумагу, въ которой я прочиталъ слова, написанныя рукой моего сына. Да, я узналъ его руку: «Милостивая государыня! Я не понимаю, о чемъ вы говорите и что вамъ отъ меня нужно. Ни въ какихъ особенныхъ отношеніяхъ съ вашей дочерью я не состоялъ и состоять не буду»... Эту подлость, господа судьи, написалъ мой сынъ! Я говорю—подлость, потому что это была ложь. Въ этомъ я скоро убѣдился. Я постарался успокоить мою гостью, обѣщалъ поговорить съ сыномъ, обѣщалъ побывать у нихъ. Но я долго не говорилъ съ сыномъ. Я прежде хотѣлъ посмотреть, что это за люди. И я былъ у нихъ не разъ и всякій разъ, когда я уходилъ отъ нихъ, поговоривши съ этой несчастной дѣвушкой, я не могъ удержаться отъ слезъ. Какъ она вѣрила ему, моему сыну! Она вѣрила даже тогда, послѣ того письма. Она говорила, что этого не можетъ быть, что онъ честный человѣкъ, —одумается и придетъ. И вотъ наконецъ наступилъ день, когда я рѣшилъ поговорить съ сыномъ. Я сказалъ ему—остаться послѣ обѣда. Это уже вы слышали, господа судьи, вамъ говорили и о томъ, какъ упала и разбилась тарелка, но вы не знаете самаго главнаго... мой разговоръ съ сыномъ! Боже мой, неужели я долженъ повторить его здѣсь? Это ужасно! Но я повторяю его... Дайте мнѣ выпить воды, господинъ защитникъ...

Защитникъ подаль ему воды и, взглянувъ на старика, былъ пораженъ блѣдностью его лица. Старикъ глотнулъ воды и продолжалъ ослабѣвшимъ голосомъ:

— Я сказалъ ему, что мнѣ все извѣстно... А онъ мнѣ отвѣтилъ съ ядовитой улыбкой: «а, вамъ уже нажаловались». Я

спросилъ его: «ты не отрицаешь, что эта дѣвушка стала матерью отъ тебя?» Онъ отвѣтилъ: «по всей вѣроятности!» Я сказалъ: «ты говорилъ ей, что женишься на ней, когда кончишь курсъ?» Онъ отвѣтилъ: «въ такихъ случаяхъ всегда говорятъ это!» Я сказалъ: «если ты честный человѣкъ, ты долженъ сѣйчасъ-же обвиняться съ нею! Я выхлопочу тебѣ разрѣшеніе у попечителя»... Онъ пожалъ плечами и отвѣтилъ: «неужели вы хотите, чтобъ я изъ-за какой-нибудь глупости, изъ-за мимолетнаго увлеченія испортилъ всю карьеру?» Послѣ этого у меня еще хватило силы сказать: «Я хочу только, чтобъ ты не былъ подлецомъ!» Онъ отвѣтилъ... слушайте, что онъ отвѣтилъ:—«Ахъ, папа! Вы дожили до старости и не знаете, что въ жизни ничего нельзя добиться, если будешь всегда поступать честно»... Онъ сказалъ это... Этимъ онъ отрѣзалъ себя отъ меня... Я помню только, что я весь превратился въ негодованіе. Я не знаю, что я съ нимъ сдѣлалъ, какъ въ рукѣ моей очутился ножъ, падала ли тарелка, кричалъ ли онъ... Но у меня осталось смутное воспоминаніе или—лучше сказать—чувство... что я хотѣлъ задушить его... Вотъ какъ было дѣло... Это все!

Послѣднія слова онъ произнесъ совсѣмъ ослабѣвшимъ голосомъ, почти шепотомъ, и опустился на скамейку. Въ залѣ тихо раздавались всхлипыванія жены подсудимаго. Дочь его закрыла платкомъ глаза. Николай Холодовъ сидѣлъ на своемъ мѣстѣ съ раскраснѣвшимъ лицомъ и нервно пощипывалъ бородку.

Прокуроръ пожелалъ сдѣлать дополнительный допросъ свидѣтелю Николаю Холодову. Молодой человѣкъ опять вышелъ на средину и разгоряченными глазами смотрѣлъ въ упоръ на предсѣдателя, очевидно боясь, какъ-бы не встрѣтиться съ взглядомъ отца.

— Вы, свидѣтель, не отрицаете того, что рассказалъ здѣсь подсудимый?

— Я не отрицаю факта... Но...

Старикъ заволновался и задвигался на мѣстѣ. Онъ нервно вытянулъ шею впередъ и съ страшнымъ напряженіемъ прислушивался.

— Но... факту дано одностороннее и превратное толкование!...

Эти слова какъ-бы обожгли старика. Онъ быстро вскочилъ съ мѣста и какъ-то запинаясь прокричалъ:

— Еще слово... еще одно слово!..

— Говорите!—сказалъ предсѣдатель.

— Я только жалѣю... Я объ одномъ жалѣю...

Онъ остановился и тяжело дышалъ.

— О чемъ вы жалѣете? Договаривайте, подсудимый!

— Я жалѣю, что тогда... что не... не убилъ этого негодяя!..

Онъ тяжело опустился на мѣсто, склонилъ голову на спинку адвокатской скамьи и, весь вздрагивая, глухо зарыдалъ. Николай Холодовъ повернулся и преувеличенно-твердыми шагами вышелъ изъ залы.

Публика почти не слушала заключеній двухъ экспертовъ. Прокуроръ говорилъ вяло, холодно и какъ-то формально доказывая, что старикъ еще до обѣда задумалъ убійство. Защитникъ развивалъ мысль, что какъ-бы мы ни преклонялись передъ высокими принципами чести, но въ нормальномъ состояніи родительская любовь всегда должна взять верхъ надъ гражданскимъ негодованіемъ, и отсюда дѣлалъ выводъ, что подсудимый дѣйствовалъ въ состояніи умоизступленія.

Присяжные согласились съ нимъ и старикъ Холодовъ былъ отпущенъ на свободу. Когда онъ, шатающійся и блѣдный, выходилъ изъ залы, а за нимъ слѣдовали плачущія жена и дочь, публика думала о юношѣ, который часъ тому назадъ вышелъ отсюда. Какъ-то они теперь встрѣтятся дома и каковы будутъ ихъ дальнѣйшія отношенія?

И. Потапенко.

* * *

Въ туманѣ утреннемъ невѣрными шагами
Я шель къ таинственнымъ и чуднымъ берегамъ.
Боролася заря съ послѣдними звѣздами,
Еще летали сны—и, схваченная снами,
Душа молилася невѣдомымъ богамъ.

Въ холодный бѣлый день дорогой одинокой,
 Какъ прежде, я иду къ невѣдомой странѣ.
 Разсѣялся туманъ, и ясно видить око
 Какъ труденъ горный путь, и какъ еще далеко,
 Далеко все, что грезилось мнѣ.

И до полуночи неробкими шагами
 Все буду я идти къ желаннымъ берегамъ,
 Туда, гдѣ на горѣ, подъ новыми звѣздами,
 Вѣсь пламенѣющій побѣдными огнями,
 Меня дождется мой заветный храмъ.

В. Соловьевъ.

Между своими.

I.

Вскорѣ послѣ выхода корвета въ кругосвѣтное плаваніе или, какъ говорятъ матросы, въ «дальнюю», Иванъ Артемьевъ, совсѣмъ молодой, цвѣтущаго здоровья матросъ, краснощекій красивый брюнетъ, лихой брамсельный *) и загребной на капитанскомъ вельботѣ,—простудился поздней, ненастной осенью и серьезно занемогъ, схвативъ воспаление легкихъ.

Болѣзнь затянулась. Молодой матросъ, видимо, таялъ.

Когда, мѣсяцъ спустя, корветъ зашелъ на нѣсколько дней въ Брестъ, судовой врачъ, молодой человѣкъ, лѣтъ пять какъ окончившій курсъ въ московскомъ университетѣ, снова долго и внимательно выслушивалъ и простукивалъ еще недавно богатырскую, а теперь исхудалую, съ рѣзко-выступающими ребрами, смуглую грудь Артемьева и, отправившись къ капитану, доложилъ ему, что Артемьева слѣдовало бы списать съ корвета и оставить въ Брестѣ, въ морскомъ госпиталѣ.

— Развѣ онъ плохъ, докторъ?

— Очень плохъ... Скоротечная форма чахотки.

— И нѣтъ надежды спасти его?

*) Матросъ, который ходитъ крѣпить брамсели—самые верхніе паруса.

— По моему мнѣнію, никакой?—не безъ зазорнаго апломба, присущаго очень молодымъ врачамъ, отвѣчалъ докторъ и принималъ еще болѣе серьезный видъ.

— Жаль отправлять бѣднягу умирать къ чужимъ людямъ... Ну, да что дѣлать! Все-таки на берегу ему будетъ лучше, чѣмъ у насъ въ лазаретѣ. Вѣдь у насъ въ лазаретѣ для больныхъ скверно, а?

— Для серьезно - больныхъ не хорошо. Каюта маленькая. Воздуха мало. Удобствъ никакихъ...

— Такъ, такъ... Вы говорили объ этомъ Артемьеву?

— Нѣтъ еще. Сегодня скажу, а завтра, если разрѣшите, самъ свезу его въ госпиталь и сдамъ французскимъ врачамъ.

Черезъ часъ послѣ этого разговора, докторъ, нѣсколько взволнованный, но старавшійся скрыть это волненіе, вошелъ въ лазаретъ—небольшую, сіявшую чистотой каюту, помѣщавшуюся на кубрикѣ. Несмотря на пропущенный въ двери виндзейль *), въ низенькой каютѣ отдавало сырмь, спертымъ воздухомъ и сильно пахло лѣкарствами. Въ ней было четыре койки, по двѣ у каждой переборки, расположенныя, въ видѣ наръ, одна надъ другой. Три были пусты, а въ четвертой, внизу, головою къ борту судна, лежалъ единственный больной на корветѣ, матросъ 1-й статьи, Иванъ Артемьевъ.

Онъ лежалъ съ широко-раскрытыми, большими, блестящими, черными глазами, серьезными, съ выраженіемъ какой-то сосредоточенной вдумчивости, какая часто бываетъ у безнадежно и долго-больныхъ. Его осунувшееся смуглое лицо съ заостреннымъ носомъ, словно прозрачными ноздрями, съ удлиннившимся подбородкомъ, чернѣвшимъ щетиной небритой бороды, съ характерными горѣвшими пятнами на впалыхъ щекахъ, съ выдавшимися скулами и сухими воспаленными губами,—его лицо было спокойно, красиво и мертвенно-блѣдно. Сразу чувствовалось, что смерть уже сторожить это еще недавно крѣпкое, здоровое тѣло.

При входѣ доктора не въ урочное время, Артемьевъ при-

*) Виндзейль—парусинный вентиляторъ, верхъ котораго находится на палубѣ.

поднял съ подушки голову съ мокрыми у висковъ волосами, снова опустилъ ее и, перебирая край байкового бѣлаго одѣяла своими восковыми пальцами, худыми и длинными съ выросшими желтыми ногтями,—вопросительно-испуганно и подозрительно повелъ взглядомъ на вошедшаго.

— Ну, что, братецъ, все знобить?—искусственно-развязнымъ и небрежнымъ тономъ проговорилъ врачъ, полагая, что онъ, такимъ образомъ, подбадриваетъ больного и въ то же время чувствуя какую-то неловкость передъ этимъ испуганнымъ взглядомъ матроса.

— Знобить, ваше благородіе! А то всѣмъ, кажется, здоровъ. Нутренне ничего не болитъ, ваше благородіе! — съ живостью отвѣчалъ Артемьевъ.

И все еще глядя на врача съ подозрительной пытливостью, торопливо прибавилъ:

— Вотъ еслибы отъ этого самого ознобу ослобониться, я опять вошелъ бы въ силу, ваше благородіе... Ознобъ только... не пущаетъ.

Глухой его голосъ звучалъ надеждой. Онъ, видимо, употреблялъ усилія, чтобы казаться при докторѣ бодрымъ и не столь слабымъ, точно въ немъ бродили какія-то смутныя подозрѣнія насчетъ недобрыхъ намѣреній доктора, и больной хотѣлъ обмануть его.

Докторъ, добродушный и мягкій москвичъ, еще не закаленный своею профессіей настолько, чтобы равнодушно смотрѣть на людскія страданія, опустилъ голову, чтобы скрыть невольное смущеніе, почему-то откашлялся и, избѣгая смотрѣть въ эти пытливые, черные глаза больного, проговорилъ все тѣмъ же искусственно-небрежнымъ тономъ:

— Въ томъ то и дѣло, братецъ, чтобы озноба не было... И ты, конечно, поправишься... Объ этомъ нечего и говорить... Я не сомнѣваюсь...

Онъ на мгновеніе остановился, поднялъ голову и встрѣтилъ радостный, увѣренный взглядъ больного.

И, несмотря на тяжелое чувство, охватившее его при этомъ взглядѣ, продолжалъ еще веселѣе и увѣреннѣе:

— Поправишься, конечно... Опять молодцомъ станешь, но

только для этого тебѣ надо на берегъ... А на корветѣ, братъ, плохая поправка... Понимаешь?

— Куда же это на берегъ?—испуганно и жалобно прошепталъ больной, словно бы въ недоумѣніи.

— А здѣсь, въ Брестъ, въ госпиталь... Тамъ отлично... Тамъ живо поправка пойдетъ... А какъ поправишься, тебя оттуда въ Кронштадтъ отправятъ, а изъ Кронштадта въ деревню пойдешь, къ себѣ домой... Я тебѣ и бумагу такую дамъ.

Выходило какъ будто очень хорошо. Но съ первыхъ же словъ доктора въ глазахъ и въ лицѣ молодого матроса появилось выраженіе такого страха, отчаянія и скорби, что докторъ окончилъ свою рѣчь далеко не съ той развязной веселостью, съ которой началъ.

На мгновеніе больной замеръ, словно бы пораженный.

Но вслѣдъ затѣмъ онъ проговорилъ съ отчаянной мольбой:

— Ваше благородіе! Отецъ родной! Не отсылайте меня съ «конверта». Дозвольте остаться. Явите божескую милость!

Докторъ сталъ его уговаривать: на берегу онъ скоро выздоровѣетъ, а здѣсь болѣзнь можетъ затянуться...

— Ваше благородіе! Будьте добры... Ужъ ежели Богъ не пошлетъ мнѣ поправки, дозвольте хоть умереть между своими, а не на чужой сторонѣ!

Отъ волненія онъ закашлялся. Изъ груди его вырывался зловѣщій, глухой шумъ и что-то внутри клокотало. Его чудные большіе глаза глядѣли на доктора съ такою мольбой, что молодой докторъ, видимо, колебался.

— Но, послушай, Артемьевъ... вѣдь тамъ тебѣ было бы лучше!.. Снова началъ онъ.

— На чужой-то сторонѣ лучше? Да я тамъ съ тоски, ваше благородіе, помру. Здѣсь—свои ребята. Пожалѣютъ, по крайности. Слово есть съ кѣмъ перемолвить... а тамъ?.. Не погубите, ваше благородіе! Дозвольте остаться! Я скоро поправлюсь, вотъ только въ теплыя мѣста придемъ, и опять буду исправнымъ матросомъ, ваше благородіе!—молилъ матросъ, словно бы оправдываясь и за свою болѣзнь, и за то, что онъ не можетъ быть исправнымъ, лихимъ матросомъ.

Взволнованный этимъ отчаяніемъ, докторъ почувствовалъ жестокость своего рѣшенія и ласково проговорилъ:

— Ну, ну, не волнуйся, братъ... Ужъ если ты такъ не хочешь, оставайся!

Радостная, благодарная улыбка озарила мертвенное лицо Артемьева, и онъ съ чувствомъ произнесъ:

— Вѣкъ не забуду, ваше благородіе!

Снова докторъ пошелъ въ капитанскую каюту и, рассказавши капитану объ отчаяніи молодого матроса, просилъ теперь разрѣшенія оставить его на корветѣ.

Капитанъ охотно согласился и замѣтилъ:

— Вотъ скоро въ тропикахъ будемъ... Воздухъ чудный... Быть можетъ, Артемьеву и лучше будетъ. Какъ вы думаете, докторъ?

— Къ сожалѣнію, ничто не спасетъ бѣднягу. Дни его сочтены!—съ увѣренностью отвѣчалъ молодой врачъ и даже нѣсколько обидѣлся, что капитанъ какъ будто не вполне довѣряетъ его авторитету.

— А какой славный матросъ былъ!—пожалѣлъ капитанъ.

II.

Когда на бакѣ—этомъ матросскомъ клубѣ, гдѣ обсуждаются всѣ явленія судовой жизни—узнали, что Артемьева хотѣли отправить во французскій госпиталь и что затѣмъ оставили на корветѣ,—всѣ матросы искренно порадовались за товарища.

Со всѣхъ сторонъ сыпались замѣчанія:

— Ужъ коли помирать, такъ по крайности между своими, а не по-собачьи, у чужого забора!

— Это что и говорить... Лучше прямо въ море бросить!

— Тутъ хоть призоръ есть, а тамъ пойми, что онъ лопочетъ!

— И безъ попа... Такъ безъ отпущенія и отдашь душу...

— Ишь вѣдь что было выдумалъ дохтуръ! Къ французамъ! А еще добрый!

— Добѣръ, а поди-жъ...

— Молодъ очень! Дохтуръ, а того не вдомекъ, что матросу никакъ не годится умирать въ чужихъ людяхъ. Можетъ господамъ все равно, а російскій матросъ на это охоткой не согласится!—авторитетно рѣшилъ старый унтеръ-офицеръ Антиповъ, раскуривая у кадки съ водой, вокругъ которой собрался кружокъ, свою трубочку, набитую махоркой.

И, раскуривъ ее, категорически и властно прибавилъ:

— То-то оно и есть. И уменъ, и ученъ, а разуму мало. Нажить его, братецъ ты мой, надо. А то: къ французамъ! И выходить, что дохтуръ самъ вродѣ какъ быто французъ.

Всѣ на минутку примолкли, точно напешшіе разгадку поведения доктора. Приговоръ такого авторитетнаго человѣка, какъ унтеръ-офицеръ Архиповъ, очень уважаемаго матросами за справедливость, былъ, нѣкоторымъ образомъ, разрѣшающимъ аккордомъ.

И съ этой минуты нашъ милый судовой врачъ пошелъ у матросовъ подъ шуточною кличкой «француза».

— А что, милѣй человѣкъ, господинъ фершалъ, Игнатъ Степанычъ! Развѣ Ванька Артемьевъ того... помреть?

Съ такими словами обратился къ подошедшему фельдшеру немолодой, коренастый, чернявый матросъ съ добродушной физиономіей, сизый носъ которой свидѣтельствовалъ о главномъ недостаткѣ Рябкина, извѣстнаго весельчака, балагура и сказочника, безшабашнаго марсоваго, ходившаго на штыкъ-болтъ *), и отчаяннаго забуддыги и пьяницы, пропивавшаго, когда попадалъ на берегъ, не только деньги, но и всѣ собственныя вещи.

Фельдшеръ, мужчина лѣтъ около сорока, съ рыже-огненными волосами, весь въ веснушкахъ, рябой и некрасивый, но считавшій себя неотразимымъ Донъ-Жуаномъ для кронштадтскихъ горничныхъ, сдѣлалъ серьезную мину, перенятую имъ отъ докторовъ, заложилъ палецъ за бортъ своего скюртука и не безъ апломба отвѣтилъ:

*) Штыкъ-болтъ—оконечность марса—рен, на которой труднѣе крѣпить парусъ, чѣмъ на остальной части рен.

— Туберкулёзись... Ничего съ нимъ, братецъ, не подѣлаешь.

— Чихотка, значить?

— Пневмонія—одна форма, туберкулёзись — другая. Тебѣ, впрочемъ, братецъ, этой мудрости не понять — не про тебя писано. Для этого тоже надо специалистомъ быть!—продолжалъ фельдшеръ, любившій-таки огорашивать матросовъ разными подобными словечками.—Могу тебѣ только сказать, что бѣдному Артемьеву не долго жить.

— Ну,—испуганно воскликнулъ Рябкинъ.

— То-то, ну! Съ туберкулёзисомъ не шути, братецъ ты мой. Онъ и лошадь обрабатываетъ, а не то, что человѣка.

— Ахъ, и жалко же, братцы, матроса! И парень-то какой душевный!—промолвилъ Рябкинъ, и обычная, веселая улыбка сбѣжала съ его лица.

И всѣ, кто тутъ былъ, пожалѣли Артемьева.

— Рано, любезный, хоронишь!—строго и внушительно обратился старый унтеръ-офицеръ къ фельдшеру.—Богъ-то можетъ не послушаетъ васъ съ дохтуромъ, а вызволить человѣка.

— Да я - то что? По мнѣ, живи на здоровье. Тутъ не я, а наука!

— На-у-ка!—презрительно протянулъ Архиповъ. — Господь и науку обернетъ, ежели на то Его воля...

И Архиповъ, сунувъ трубку въ карманъ, не спѣша, вышелъ изъ круга.

Фельдшеръ только безнадежно пожалъ плечами. Дескать, нечего съ ними разговаривать!

III.

Недѣли черезъ двѣ корветъ уже плылъ въ тропикахъ, направляясь къ югу. Погода стояла восхитительная. На небѣ ни облачка. Тропическая жара умѣрялась ровнымъ, вѣчно дующимъ въ одномъ направленіи, мягкимъ пассатомъ и свѣжей влагой океана.

И корветъ шелъ да шелъ узловъ по семи, по восьми, имѣя

на себѣ всю парусину. Не даромъ же моряки зовутъ плаваніе въ тропикахъ, съ пассатомъ, дачнымъ плаваніемъ. Въ самомъ дѣлѣ, спокойное, благодатное плаваніе! Не надо и брасомъ шевелить, то-есть мѣнять положеніе парусовъ. И для матросовъ эта пора самой спокойной морской жизни. Стоять они на вахтѣ не по-вахтенно *), а по отдѣленіямъ, и вахты самыя пріятныя. Не приходится ждать бурь и непогодъ, бѣжать рифы брать, то уменьшать, то прибавлять парусовъ, словомъ, не приходится быть постоянно «на-чеку». На этихъ вахтахъ почти никакой работы. И матросы коротаютъ ихъ, «лясничая» между собою, вспоминая въ тропикахъ родную сторону, развлекаясь иногда зрѣлищемъ китовъ, пускающихъ фонтаны, любуясь блестящими на солнцѣ летучими рыбками, маленькими, далеко летающими отъ берега петрелями, громадными бѣлоснѣжными альбатросами и высоко рѣющими въ прозрачномъ воздухѣ фрегатами. А въ эти дивныя тропическія ночи съ міриадами мигающихъ звѣздъ,—ночи, когда вся команда спитъ на палубѣ,—вахтенные, примостившись кучками, коротаютъ время еще болѣе интимными воспоминаніями или сказками, которыя рассказываетъ кто нибудь изъ умѣлыхъ сказочниковъ, къ удовольствію слушателей.

Вахтенный молодой офицеръ, весь въ бѣломъ, легкомъ костюмѣ, ходитъ взадъ и впередъ по мостику, поглядываетъ впередъ, нѣтъ ли гдѣ огоньковъ идущаго судна, вдыхаетъ полной грудью прохладный воздухъ ночи, невольно мечтаетъ, предаваясь воспоминаніямъ, и, усталый отъ долгой ходьбы, прислоняется къ поручнямъ, дремлетъ съ открытыми глазами, какъ умѣютъ дремать моряки, и снова начинаетъ ходить вновь вспоминая, быть можетъ, кого нибудь изъ близкихъ, находящихся далеко, далеко, или пару милыхъ глазъ, кажущихся среди океана еще милѣе, или маленькую руку, съ тонкими длинными пальцами, съ голубыми жилками, просвѣчивающими сквозь нѣжную бѣлизну кожи,—руку, которую еще недавно онъ украдкой цѣловалъ въ Кронштадтѣ... Въ эти ласкающія ночи моря-

*) Вся судовая команда раздѣлена пополамъ на двѣ вахты. Въ каждой вахтѣ по два отдѣленія.

ки, давно не бывшіе на берегу, становятся нѣсколько сентиментальны.

А корветъ, плавно покачиваясь, идетъ себѣ впередъ во мракъ ночи, свободно и легко разсѣкая грудью океанъ съ тихимъ гуломъ искрящейся брызгами воды, оставляя за собой широкую алмазную ленту, блестящую фосфорическимъ свѣтомъ.

Иногда только эта безмятежная прелесть плаванія въ тропикахъ нарушается набѣгающими шквалами съ проливнымъ дождемъ. Приближеніе такого шквала внимательно сторожится зоркимъ глазомъ вахтеннаго офицера. Посматривая въ бинокль, онъ вдругъ замѣчаетъ на далекомъ, только-что чистомъ горизонтѣ маленькое сѣрое пятно. Оно становится все больше и больше и быстро вырастаетъ въ темную грозовую тучу, соединенную съ океаномъ сѣрымъ косымъ дождевымъ столбомъ, освѣщеннымъ лучами солнца. И эта туча, и этотъ сѣрый широкій столбъ стремительно несутся къ корвету. Солнце скрылось. Вода почернѣла. Въ воздухѣ душно... Туча все ближе и ближе... Корветъ уже готовъ къ встрѣчѣ внезапнаго гостя: брамсели убраны; марсели, фокъ и гротъ взяты на гитовы... Шкваль налетѣлъ, охвативъ со всѣхъ сторонъ судно сѣрой мглой, накренилъ корветъ, понесъ его на минуту съ страшной быстротой, облилъ всѣхъ ливнемъ крупнаго тропическаго дождя, помчался далѣе, и черезъ минуту, другую и туча и дождевой столбъ становятся все меньше и меньше и кажутся на противоположномъ горизонтѣ крошечнымъ сѣрымъ пятнышкомъ.

И снова высокое голубое небо съ веселой лаской смотритъ сверху. Воздухъ полонъ чудной свѣжести. Снова корветъ поставилъ всѣ паруса, и тотъ же мягкій, ровный пассатный вѣтерокъ несетъ его. Матросскія рубахи уже просохли,—только въ снастяхъ еще блестятъ капли—и снова поставленный тентъ защищаетъ головы моряковъ отъ ослѣпительныхъ лучей тропическаго солнца.

IV.

Артемьеву, казалось, стало лучше. Лихорадка мучила его съ болѣе долгими промежутками, онъ чувствовалъ себя бодрѣй, съ

аппетитомъ ѣлъ кушанье съ каютъ-компанейскаго стола и пилъ по двѣ рюмки мадеры въ день. По распоряженію доктора, больного съ утра выводили на верхъ, и онъ проводилъ тамъ цѣлые дни, лежа, бѣльшей частью въ койкѣ, подвѣшенной у шкафута—на средней части судна, смотрѣлъ на обычную утреннюю чистку, на обычныя передъ-обѣденныя работы и ученія, слушалъ хорошо знакомую артистическую ругань боцмана и окрики офицеровъ, перекидывался словами съ подходившими къ нему матросами, и все это его занимало, приобрѣтая въ его глазахъ какую-то прелесть новизны. Иногда онъ по долгу глядѣлъ своими большими серьезными глазами и на безбрежный, сверкавшій на солнцѣ океанъ, и на бирюзовую высь неба, глядѣлъ и задумывался, словно пытаясь разрѣшить какую-то загадку, неожиданно возникшую для него послѣ долгаго созерцанія природы и какихъ-то новыхъ странныхъ думъ, являвшихся во время долгой болѣзни.

По временамъ мысли его витали въ воспоминаніяхъ о далекой бѣдной деревушкѣ съ черными избами, о мужичьей жизни, объ этомъ темномъ лѣсѣ, куда онъ съ отцомъ часто ѣздилъ по ночамъ рубить «божій лѣсъ», который почему-то считали казеннымъ, и тогда скорбное чувство подкрадывалось къ сердцу. Онъ жалѣлъ своихъ, жалѣлъ о тяжелой мужичьей долѣ, спрашивалъ себя, отчего Богъ не ко всѣмъ милостивъ, и снова задумывался, глядя на чудное небо, точно оно могло дать отвѣтъ.

Его часто охватывала дремота: онъ забывался на короткіе промежутки, и ему снились сны. Въ этихъ сновидѣніяхъ Артемьевъ былъ по прежнему сильный, здоровый, ретивый матросъ, летавшій духомъ на марсъ, крѣпившій брамсель или наваливавшійся изо-всѣхъ силъ на весло, когда приходилось на щегольскомъ вельботѣ отвозить капитана.

И, внезапно просыпаясь, онъ съ грустью чувствовалъ свою безпомощность и часто съ горечью смотрѣлъ на свои исхудалыя руки, ощупывалъ свои выдавшіяся ребра, винилъ доктора за то, что не входитъ въ силу, и каждое утро съ трогательной простотой молилъ Бога, чтобы Господь послалъ ему поправку.

Но и въ «теплыхъ мѣстахъ» поправка не приходила, и больной становился все болѣе нетерпѣливымъ и раздражительнымъ. Но о смерти онъ не думалъ, надѣясь, что ознобъ «отпуститъ», наконецъ, и онъ опять войдетъ въ силу.

Его только удивляло особое вниманіе, какое ему теперь оказывали. Къ нему подходили офицеры и капитанъ и говорили добрыя, обнадеживающія слова. Самъ ругатель-боцманъ, прежде изрѣдка «смазывавшій» Артемьева по уху и часто ругавшій его, теперь, напротивъ, нѣтъ, нѣтъ да и заглянетъ къ нему въ койку. И грубый, сиплый голосъ боцмана звучитъ непривычной для уха молодого матроса нѣжностью, хотя боцманъ какъ то сердито хмуритъ брови, глядя на исхудалое лицо больного. Онъ скажетъ два-три слова и, уходя, прибавитъ:

— Ну, братъ, теперь скоро и на поправку. Не рука матросу долго валяться! Богъ милостивъ... Поправишься.

И всѣ, онъ это чувствовалъ, какъ-то особенно относились къ нему.

«За что?» — иногда думалъ онъ, растроганный такимъ непривычнымъ вниманіемъ.

И вскорѣ бѣдняга узналъ «за чтò», услыхавъ неосторожный разговоръ двухъ матросовъ о томъ, что ему, по словамъ доктора, жить осталось ужъ немного. «Слава Богу, коли день десять протянетъ»!

Онъ обомлѣлъ и какъ-то вдругъ весь почувствовалъ, что это правда, и что онъ не жилецъ на бѣломъ свѣтѣ.

И скорбныя, жгучія слезы тихо скатились съ его славныхъ глазъ.

На слѣдующій день онъ исповѣдывался и причастился.

V.

Ахъ, какія тяжелыя были эти безконечно длинныя послѣднія ночи въ маленькой душной каютѣ! Сна почти не было. Больной изрѣдка забывался и снова приходилъ въ себя и лежалъ неподвижно съ открытыми глазами въ полутемной каюткѣ, освѣщенной слабымъ свѣтомъ фонаря. Кругомъ тишина. Слышно

лишь бульканье воды у борта, да легонькое поскрипывание корвета.

Тоска, щемящая, безнадежная тоска!

Но забулдыга и пьяница Рябкинъ не забывалъ больного въ его ночномъ одиночествѣ. Каждую ночь, передъ вахтой или смѣнившись съ вахты, Рябкинъ, лишая себя сна, осторожно входилъ въ лазаретъ, присаживался на полъ у койки Артемьева, успокаивалъ его, старался подбодрить и начиналъ рассказывать ему свои безконечныя сказки.

Онъ ихъ рассказывалъ увлекательно, мастерски, съ различными, имъ самимъ сочиненными вариантами, и деликатно измѣнялъ конецъ сказки, если онъ былъ печальный или оканчивался чьей-нибудь смертью.

И молодой матросъ, нѣсколько успокоенный, слушалъ ихъ и иногда дремалъ, убаюканный этимъ тихимъ, ритмическимъ кадансомъ сказочной рѣчи.

Случалось, Артемьевъ неожиданно прерывалъ рассказчика и спрашивалъ:

— Послушай, Рябкинъ, что я хочу спросить...

— Что, Ваня?

— Какъ ты думаешь, какъ будетъ на томъ свѣтѣ? Тяжело душѣ или нѣтъ?

Рябкинъ, никогда въ жизни не думавшій о такихъ деликатныхъ предметахъ, на секунду задумывался, но со свойственной ему находчивостью быстро рѣшалъ вопросъ и увѣренно отвѣчалъ:

— Надо, братецъ ты мой, полагать, что душѣ нашего брата будетъ хорошо... Господскимъ душамъ будетъ хуже... это вѣрно... потому имъ на этомъ свѣтѣ очень даже выгодно... Ну, значить, и вали-валомъ, голубчики, въ адъ... Сдѣлайте ваше одолженіе... Пожалуйте!.. Однако изъ нашего званія тоже, я думаю, не всякому въ рай... Мнѣ, примѣрно, голубчикъ мой, давно въ пеклѣ паекъ готовъ за то, что я жру это самое винище. Небось, заставятъ растопленную мѣдъ глотать... А силушки нѣтъ, милая человѣкъ, бросить эту самую водку!.. Вотъ оно какъ будетъ на томъ свѣтѣ!—заклучилъ Рябкинъ, выполнѣ увѣренный, казалось,

въ правильности своихъ внезапныхъ соображеній насчетъ «того свѣта».

Нѣсколько секундъ длилось молчаніе.

И молодой матросъ вновь заговорилъ:

— Тоже иной разъ думается: вотъ умеръ человѣкъ, а что тамъ?

— Да брось ты глупыя мысли. Вотъ тоже!.. Еще, братъ, мы съ тобой и на этомъ свѣтѣ поживемъ. А какъ, братецъ ты мой, вечеръ боцманъ Ваську Скобликова звѣзданулъ! Въ кровь! Въ самую, значить, носовую часть!—круто переѣвилъ Рябкинъ разговоръ, желая отвлечь вниманіе товарища отъ грустныхъ предметовъ.

Но Артемьевъ молчалъ, оставаясь равнодушнѣе къ этому сообщенію. Его, казалось, уже не занимали всѣ эти прежде интересовавшія его вещи. Все это представлялось теперь ему какимъ то далекимъ прошлымъ.

— У васъ на форъ-брамсели вотъ тоже... Михайловъ брамъ-горденя не отдалъ. Ну, и костилъ же его, братъ, старшій офицеръ сегодня. Однако, всего разъ съѣздилъ.

Но вмѣсто отвѣта Артемьевъ вдругъ сказалъ:

— Не хочца помирать, голубчикъ, а надо. Такъ, видно, Богу угодно, чтобы меня бросили въ океанъ! — прибавилъ онъ съ тоской.

— Вѣдь вотъ глупый, право глупый! Съ чего ты зря мелишь. Да нешто я не понимаю матросскаго здоровья? Отлично, братецъ, понимаю. Слава Богу, двѣнадцать лѣтъ въ матросахъ околачиваюсь... Тоже вотъ у насъ на «Копчикѣ» молодой матросикъ былъ и занемогъ, какъ ты. Такъ около году провалялся у насъ на клиперѣ, а послѣ въ такую поправку пошелъ, что страсть.

Но эти слова, повидимому, мало утѣшали Артемьева. Рябкинъ это чувствовалъ и снова начиналъ сказку.

— Ты бы спать шель, Рябкинъ.

— Спать? Да бытто неохота спать.. Ужо утромъ высплюсь!

— Ишь ты, сердешный... Жалѣешь... Добѣрь... Богъ тебѣ и вино простить!

VI.

Корветъ подходилъ къ экватору. Артемьевъ доживалъ послѣдніе дни.

Однажды, рано утромъ, онъ попросилъ къ себѣ въ лазаретъ гардемарина Юшкова, который прежде училъ Артемьева грамотѣ, часто разговаривалъ съ нимъ, писалъ отъ него письма въ деревню, къ родителямъ, и былъ очень расположенъ къ молодому матросу.

— Простите, баринъ, что обезпокоилъ... Исполните послѣднюю просьбу—напишите домой грамотку... Да вотъ вещи какія послѣ меня останутся, такъ чтобы отослать, какъ вернетесь въ Рассею.

Гардемаринъ сталъ, было, успокаивать его, но матросъ оставилъ его:

— Полно, голубчикъ баринъ! Я знаю, что умру.

И онъ передалъ завернутые въ тряпочку два золотыхъ и, указывая на байковый платокъ, двѣ рубахи, башмаки, вязаный шарфъ и еще кое-какія вещи, собранныя на лазаретномъ столѣ, просилъ все это послать отцу съ матерью.

— И отпишите имъ, баринъ, что я такъ и такъ... померъ, и что завсегда былъ покорнымъ ихъ сыномъ и буду на томъ свѣтѣ молиться за нихъ и за всѣхъ хрестьянъ... И сестрицамъ, и братцамъ, и всей деревнѣ нижайшій поклонъ... Напишите, баринъ?

— Напишу!—отвѣчалъ гардемаринъ, глотая слезы.

— А другую грамотку отпишите, баринъ, въ Кронштадтъ, Авдотѣ Матвѣевнѣ Николаевой... А какъ вернетесь,—отдайте ей вотъ эти гостинцы.

И онъ указалъ глазами на шелковый красный платокъ и маленькое колечко съ поддѣльнымъ камнемъ, купленные имъ въ Копенгагенѣ.

— Адресъ тутъ же лежитъ на платочкѣ... Маменька ихняя торгуешь на рынкѣ... Такъ напишите ей, что она напрасно тогда не вѣрила... Думала, что я такъ только... и все смѣялась. Напиши ей, баринъ, что ежели я путался съ другими, такъ

отъ обиднаго моего сердца, а желанная была одна она. И напишите, что я шлю ей свой, нижайшій поклонъ, цѣлую въ сахарныя ея уста и дай ей Богъ всякаго благополучія. Напишите, баринъ?

— Напишу.

— А затѣмъ спасибо вамъ за все, добрый баринъ. Простимся!

Сдерживая рыданія, гардемаринъ поцѣловалъ матроса и выбѣжалъ изъ лазарета.

VII.

Въ ту же ночь молодой матросъ умеръ.

Трупъ его одѣли въ полный матросскій костюмъ и раннимъ утромъ вынесли на верхъ, на шканцы, и положили на доскѣ, лежавшей на козлахъ. Передъ обѣдомъ, въ присутствіи капитана, офицеровъ и всей команды, была отслужена священникомъ панихида. И эта служба, и это печальное пѣніе отличнаго хора пѣвчихъ здѣсь, среди безбрежнаго, сверкавшаго океана, такъ далеко, далеко отъ родины, производили невыносимо тоскливое впечатлѣніе.

Послѣ панихиды всѣ подходили прощаться съ усопшимъ. Флагъ съ утра былъ приспущенъ, въ знакъ того, что на суднѣ покойникъ.

Къ вечеру трупъ зашили въ парусинный мѣшокъ, плотно охватывавшій мертвое тѣло, къ ногамъ привязали ядро, и послѣ отпѣванія и отдачи воинскихъ почестей, при глубокомъ молчаніи команды, четыре матроса понесли усопшаго на доскѣ къ борту корвета, наклонили доску, и трупъ молодого матроса съ легкимъ всплескомъ исчезъ въ прозрачной синевѣ океана.

Всѣ разошлись въ суровомъ безмолвіи. У нѣкоторыхъ на глазахъ блестѣли слезы. Рябкинъ плакалъ какъ малый ребенокъ.

А справа величественно закатывалось солнце, заливая багровымъ блескомъ далекій горизонтъ.

Н. Станюковичъ.

* * *

Не грусти, что листья
Съ дерева валятся,—
Будущей весною
Вновь они родятся,—

А грусти, что силы
Молодости таютъ,
Что черствѣетъ сердце,
Думы засыпаютъ...

Только лишь весною
Теплою повѣетъ—
Дерево роскошно
Вновь зазеленѣетъ...

Силы-жъ молодыя
Сгибнуть, не вернутся,
Сердце очерствѣетъ—
Думы не проснутся!

И. Суриковъ.

Горними тихо летѣла душа небесами;
Грустныя долу она опускала рѣсницы;
Слезы, въ пространство отъ нихъ упадая, звѣздами
Свѣтлой и длинной вилися за ней вереницей.

Встрѣчныя тихо ее вопрошали свѣтила:
Что ты грустна? о чемъ эти слезы во взорѣ?
Имъ отвѣчала она:—я земли не забыла,
Много оставила тамъ я страданья и горя.

Здѣсь я лишь ликамъ блаженства и радости внемлю;
Праведныхъ души не знаютъ ни скорби, ни злобы—
О, отпусти меня снова, Создатель, на землю,
Было-бъ о комъ пожалѣть и утѣшить кого бы.

А. Толстой.

Беседа досужихъ людей.

Собрались разъ въ богатомъ домѣ гости. И случилось такъ, что завязался серьезный разговоръ о жизни.

Говорили про отсутствующихъ и про присутствующихъ, и не могли найти ни одного человѣка, довольнаго своею жизнью.

Мало того, что никто не могъ жаловаться счастьемъ, но не было ни одного человѣка, который бы считалъ, что онъ живетъ такъ, какъ должно жить христіанину. Признавались всѣ, что живутъ мірской жизнью въ заботахъ только о себѣ и своихъ семейныхъ, а не думаютъ никто о ближнемъ и ужъ тѣмъ меньше о Богѣ.

Такъ говорили гости между собою и всѣ были согласны, обвиняя самихъ себя въ безбожной, нехристіанской жизни.

— Такъ зачѣмъ же мы живемъ такъ, — вскричалъ юноша, зачѣмъ дѣлаемъ то, что сами не одобряемъ? Развѣ мы не властны измѣнить свою жизнь? Мы сами сознаемъ что губить насъ наша роскошь, изнѣженность, наше богатство, а главное наша гордость, наше отдѣленіе себя отъ братьевъ. Чтобы быть знатнымъ и богатымъ, мы должны лишить себя всего, что даетъ радость жизни человѣку, мы скучиваемся въ городахъ, изнѣживаемъ себя, губимъ свое здоровье и, не смотря на всѣ наши увеселенія, умираемъ отъ скуки и отъ сожалѣнія, что жизнь наша не такая, какая она должна быть.

Зачѣмъ же жить такъ, зачѣмъ губить такъ всю жизнь, все то благо, которое дано намъ отъ Бога? Не хочу жить по прежнему. Брошу начатое ученіе, оно вѣдь приведетъ меня ни къ чему другому, какъ къ той же мучительной жизни, на которую мы всѣ теперь жалуемся. Откажусь отъ своего имѣнія и пойду жить въ деревнѣ съ бѣдными; буду работать съ ними, научусь работать руками и, если нужно бѣднымъ мое образованіе, буду сообщать его имъ, но не черезъ учрежденія и книги, а прямо, живя съ ними по-братски.

— Да, я рѣшилъ, — сказалъ онъ, вопросительно взглядывая на своего отца, который былъ тутъ же.

— Желаніе твое доброе, — сказалъ отецъ, — но легкомысленное и

необдуманное. Тебѣ представляется все столь легкимъ потому, что ты не знаешь жизни. Мало ли что намъ кажется хорошимъ! Но дѣло въ томъ, что исполненіе этого хорошаго очень бываетъ трудно и сложно.

— Трудно идти хорошо по битой колеѣ, но еще труднѣе прокладывать новые пути. Ихъ прокладываютъ только люди, которые вполне созрѣли и овладѣли всѣмъ тѣмъ, что доступно людямъ.

— Тебѣ кажутся легкими новые пути жизни потому, что ты не понимаешь еще жизни. Все это легкомысліе и гордость молодости. Мы, старые люди, для того и нужны, чтобы умѣрять ваши порывы и руководить васъ нашимъ опытомъ, а вы, молодые, должны повиноваться намъ, чтобы воспользоваться нашимъ опытомъ. Твоя жизнь дѣятельная еще впереди, теперь ты растешь и развиваешься. Воспитайся, образуйся вполне, стань на свои ноги, имѣй свои твердыя убѣжденія и тогда начинай новую жизнь, если чувствуешь къ тому силы. Теперь же тебѣ надо повиноваться тѣмъ, которые руководятъ тебя для твоего блага, а не открывать новые пути жизни.

Юноша замолчалъ, и старшіе согласились съ тѣмъ, что сказалъ отецъ.

— Вы правы,—обратился къ отцу юноша человѣкъ женатый, среднихъ лѣтъ.—Правда,—сказалъ онъ,—что юноша, не имѣя опыта жизни, можетъ ошибиться, отыскивая новые пути жизни, и его рѣшеніе не можетъ быть твердо, но вѣдь всѣ мы согласились въ томъ, что жизнь наша противна нашей совѣсти и не даетъ намъ блага. Поэтому нельзя не признавать справедливымъ желаніе выйти изъ этой жизни.

Юноша можетъ принять свою мечту за выводъ разума, но я не юноша, и скажу вамъ про себя: слушая разговоры нынѣшняго вечера, мнѣ пришла въ голову та же самая мысль. Та жизнь, которую я веду, очевидно для меня не можетъ дать мнѣ спокойствія совѣсти и блага. Это мнѣ показываетъ и опытъ, и разумъ. Такъ чего же я жду? Бьешься съ утра до вечера для семьи, а на дѣлѣ выходитъ, что и самъ и семья живемъ не по Божьи, а все хуже и хуже увязаемъ въ грѣхахъ. Дѣлаешь для

семьи, а семья вѣдь не лучше, потому что то, что дѣлаешь для нихъ, не есть благо. И потому я часто думаю, что не лучше ли бы, еслибъ я измѣнилъ всю свою жизнь и сдѣлалъ бы именно то, что сказалъ молодой человѣкъ, — пересталъ бы о женѣ и дѣтяхъ заботиться, а только бы о душѣ думалъ. Не даромъ и у Павла сказано: «женившійся печется о женѣ, а не женившійся о Богѣ».

Не успѣлъ договорить этого женатый, какъ напустились на него всѣ бывшія тутъ женщины и его жена.

— Объ этомъ нужно было раньше думать,—сказала одна изъ пожилыхъ женщинъ

— Надѣлъ хомутъ, такъ тяни. Этакъ и всякій скажетъ, что хочу спастись, когда ему трудно покажется вести и кормить семью. Это обманъ и подлость. Нѣтъ, человѣкъ долженъ сѣумѣть въ семьѣ по Божьи жить. А то такъ-то легко спастись одному. Да и главное поступить такъ, значить поступить противъ ученія Христа. Богъ велѣлъ другихъ любить, а этимъ вы для Бога другихъ оскорблять хотите. Нѣтъ, у женатаго свои опредѣленные обязанности, и онъ не долженъ пренебрегать ими. Другое дѣло, когда семья уже поставлена на ноги. Тогда дѣлайте для себя, какъ хотите. А семью насиловать никто не имѣетъ права.

Но женатый не согласился съ этимъ. Онъ сказалъ: «я не хочу семью бросать. Я только говорю, что семью-то и дѣтей надо вести не по-мірски, не къ тому, чтобы они приучались жить для своей похоти, какъ вотъ мы говорили, а надо вести такъ, чтобы дѣти смолodu приучались къ нуждѣ, къ работѣ, къ помощи людямъ и главное къ братской жизни со всѣми. А для этого нужно отказаться отъ знатности и богатства». — Нечего другихъ ломать, пока самъ не по Божьи живешь,—съ горячностью сказала на это его жена. Ты самъ жилъ смолodu въ свое удовольствіе, за что же ты своихъ дѣтей и свою семью мучить хочешь? Пускай вырастутъ въ покоѣ, а потомъ, что захотятъ, то и будутъ дѣлать сами, а не ты ихъ заставляй.

Женатый замолчалъ, но бывший тутъ старый человѣкъ заступился за него.

— Положимъ,—сказалъ онъ,—нельзя женатому человѣку, приу-

чивъ семью къ извѣстному достатку, вдругъ лишитъ ее всего этого. Правда, что если ужъ начато воспитаніе дѣтей, то лучше окончить его, чѣмъ все ломать. Тѣмъ болѣе, что возросшія дѣти сами изберутъ тотъ путь, который найдутъ для себя лучшимъ. Я согласенъ, что семейному человѣку трудно и даже невозможно безъ грѣха перемѣнить свою жизнь. Вотъ намъ, старикамъ, это и Богъ велѣлъ. Я про себя скажу: живу я теперь безъ всякихъ обязанностей, живу, по правдѣ сказать, только для своего брюха: ѣмъ, пью, отдыхаю, и мнѣ самому гадко и противно.

Вотъ мнѣ такъ пора бросить эту жизнь, раздать свое имѣніе и хоть передъ смертью пожить такъ, какъ Богъ велѣлъ жить христіанину.

Не согласились и съ старикомъ. Тутъ была его племянница и крестница, у которой онъ крестилъ всѣхъ дѣтей и дарилъ по праздникамъ, и его сынъ. Всѣ возражали ему.

— Нѣтъ,—сказалъ сынъ,—вы поработали на своемъ вѣку, вамъ надо отдохнуть и не мучить себя. Вы прожили 60 лѣтъ съ своими привычками, вамъ нельзя отстать отъ нихъ. Вы только будете напрасно мучить себя.

— Да, да,—подтвердила племянница—будете въ нуждѣ, и будете не въ духѣ, будете ворчать и нагрѣшите больше. А Богъ милосердъ и всѣхъ грѣшниковъ прощаетъ, а не только васъ, такого добраго, дядюшка.

— Да и къ чему намъ?—прибавилъ другой старикъ, ровесникъ дядюшки.—Намъ ужъ съ тобою всего можетъ быть два дня жить осталось. Къ чему затѣвать?

— Что за чудо!—сказалъ одинъ изъ гостей (онъ все молчалъ). Что за чудо! Всѣ говоримъ, что хорошо по Божьи жить, и что живемъ худо и духомъ и тѣломъ мучаемся, а какъ только дошло дѣло до дѣла, такъ выходитъ, что дѣтей ломать нельзя, а надо ихъ воспитывать не по Божьему, а по старому. Молодымъ нельзя изъ воли родительской выходить, а надо имъ жить, не по Божьему, а по старому. Женатымъ нельзя жену и дѣтей переламывать, а надо жить не по Божьему, а по старому. А старикамъ не къ чему начинать и не привыкли они, да имъ два дня жить осталось. Выходитъ, что жить хорошо никому нельзя, только поговорить можно.

Л. Толстой.

Крестникъ.

Вы слышали, что сказано: око за око
и зубъ за зубъ; а я говорю вамъ: не
противься злему... Мате. V, 38, 39.

Мнѣ отмщеніе, Авъ воздамъ. Римл.
XII, 19.

1.

Родился у бѣднаго мужика сынъ. Обрадовался мужикъ, пошелъ къ сосѣду звать въ кумовья. Отказался сосѣдъ; не охота къ бѣдному мужику въ кумовья идти. Пошелъ бѣдный мужикъ къ другому, и тотъ отказался.

Всю деревню исходилъ, нейдетъ никто въ кумовья. Пошелъ мужикъ въ иную деревню. И попадаетъ ему на встрѣчу прохожій человѣкъ. Остановился прохожій человѣкъ.

— Здравствуй,—говоритъ,—мужичекъ, куда Богъ несетъ?

— Даль мнѣ,—говоритъ мужикъ,—Господь дѣтище, во младости на посмотрѣніе, подъ старость на утѣшеніе, а по смерти на поминъ души; а по бѣдности моей никто въ нашей деревнѣ въ кумовья нейдетъ. Иду кума искать.

И говоритъ прохожій человѣкъ:

— Возьми меня въ кумовья.

Обрадовался мужикъ, поблагодарилъ прохожаго человѣка и говоритъ:

— Кого же въ кумы звать?

— А въ кумы,—говоритъ прохожій человѣкъ,—позови купеческую дочь. Поди въ городъ, на площади каменный домъ съ лавками, у входа въ домъ проси купца, чтобъ отпустилъ дочь въ крестныя матери.

Усумнился мужикъ.—Какъ мнѣ,—говоритъ,—нареченный кумъ, къ купцу богачу идти? Побрезгаетъ онъ мною, не отпустить дочь.

— Не твоя печаль. Ступай проси. Къ завтраму, къ утру, изготovskyся, приду крестить.

Воротился бѣдный мужикъ домой, поѣхалъ въ городъ къ купцу. Поставилъ лошадь на дворѣ. Выходитъ самъ купецъ.

— Чего надо?—говорить.

— Да вотъ, господинъ купецъ. Далъ мнѣ Господь дѣтище въ младости на посмотрѣніе, подъ старость на утѣшеніе, а по смерти на поминъ души. Пожалуй, отпусти дочь свою въ крестныя.

— А когда у тебя крестины?

— Завтра утромъ.

— Ну, хорошо, ступай съ Богомъ, завтра къ обѣднѣ приѣдешь.

На другой день пріѣхала кума, пришелъ и кумъ, окрестили младенца. Только окрестили младенца, вышелъ кумъ, и не узнали, кто онъ; и не видали съ тѣхъ поръ.

2.

Сталъ младенецъ возрастать, на радость родителямъ: и силенъ, и работающъ, и уменъ, и смиренъ. Сталъ мальчикъ десяти годовъ. Отдали его родители грамотѣ учиться. Чему другіе пять лѣтъ учатся — въ одинъ годъ выучился мальчикъ. И нечему его учить стало.

Пришла Святая недѣля. Сходилъ мальчикъ къ крестной матери, похристосовался, воротился домой и спрашиваетъ:

— Батюшка и матушка, гдѣ живетъ мой крестный? Я бы къ нему пошелъ, похристосовался.

И говорить ему отецъ:

— Не знаемъ мы, сынокъ любезный, гдѣ твой крестный живетъ. Мы сами о томъ тужимъ. Не видали его съ тѣхъ поръ какъ онъ тебя окрестилъ. И не слыхали про него, и не знаемъ, гдѣ живетъ, не знаемъ и живъ ли онъ.

Поклонился сынъ отцу, матери.

— Отпусти меня,—говорить,—батюшка съ матушкой, моего крестнаго искать. Хочу его найти, съ нимъ похристосоваться.

Отпустили сына отецъ съ матерью. И пошелъ мальчикъ искать своего крестнаго.

3.

Вышелъ мальчикъ изъ дому и пошелъ путемъ дорогой. Прошелъ половину дня, встрѣчается ему прохожій человекъ.

Остановился прохожій.

— Здравствуй,—говорить,—мальчикъ, куда Богъ несетъ?

И сказалъ мальчикъ: — Ходилъ я, говорить, къ матушкѣ крестной христосоваться, пришелъ домой, спросилъ у родителей: гдѣ живетъ мой крестный?—хотѣлъ съ нимъ похристосоваться. Сказали мнѣ родители: не знаемъ мы, сынокъ, гдѣ живетъ твой крестный. Съ тѣхъ поръ, какъ окрестили тебя, ушелъ онъ отъ насъ, и ничего мы про него не знаемъ, и не знаемъ, живъ ли онъ? И захотѣлось мнѣ повидать моего крестнаго; такъ вотъ иду искать его.

И сказалъ прохожій человѣкъ:

— Я твой крестный.

Обрадовался мальчикъ, похристосовался съ крестнымъ.

— Куда жъ ты,—говорить,—батьюшка крестный, теперь путь держишь? Если въ нашу сторону, такъ приходи въ нашъ домъ, а если къ себѣ домой, такъ я съ тобой пойду.

И сказалъ крестный:

— Недосугъ мнѣ теперь въ твой домъ идти, мнѣ по деревнямъ дѣло есть. А къ себѣ домой я назавтра буду. Тогда приходи ко мнѣ.

— Какъ же я тебя, батьюшка, найду?

— А вотъ иди все на восходъ солнца, все прямо; придешь въ лѣсъ, увидишь среди лѣса—полянка. Сядь на этой полянкѣ, отдохни и гляди, что тамъ будетъ. Выйдешь изъ лѣсу, увидишь садъ, а въ саду палатка съ золотой крышей. Это мой домъ. Подойди къ воротамъ. Я тебя самъ тамъ встрѣчу.

Сказалъ такъ крестный и пропалъ изъ глазъ крестника.

4.

Шелъ мальчикъ, какъ велѣлъ ему крестный. Шелъ-шелъ, приходитъ въ лѣсъ. Вышелъ на полянку и видитъ среди полянки сосна, а на соснѣ укрѣплена на суку веревка, а на веревкѣ превѣшенъ чурбанъ дубовый, пуда въ три. А подъ чурбаномъ корыто съ медомъ. Только подумалъ мальчикъ, зачѣмъ тутъ медъ поставленъ и чурбанъ привѣшенъ, затрещало въ

лѣсу, и видить, идутъ медвѣди: впереди медвѣдица, за ней пестунъ годовалый и позади еще трое медвѣжатъ маленькихъ. Потянула медвѣдица въ себя носомъ и пошла прямо къ корыту, а медвѣжата за ней. Сунула медвѣдица морду въ медъ, позвала медвѣжатъ, подскочили медвѣжата, припали къ корыту. Откачнулся чурбанъ недалеко, вернулся назадъ, толкнулъ медвѣжатъ. Увидала это медвѣдица, оттолкнула чурбанъ лапой. Откачнулся подальше чурбанъ, опять назадъ пришелъ, ударилъ въ середину медвѣжатъ, кого по спинѣ, кого по головѣ. Заревѣли медвѣжата, отскочили прочь. Рывнула медвѣдица, ухватила обѣими лапами чурбанъ надъ головой, махнула его отъ себя прочь. Улетѣлъ высоко чурбанъ, подскочилъ пестунъ къ корыту, уткнулъ морду въ медъ, чавкаетъ, стали и другіе подходить. Не успѣли подойти, прилетѣлъ чурбанъ назадъ, ударилъ пестуна по головѣ, убилъ его до смерти. Заревѣла пуще прежняго медвѣдица, какъ схватить чурбанъ да пустить его изо всѣхъ силъ вверхъ. Взлетѣлъ чурбанъ выше сука, даже веревка ослабла, подошла медвѣдица къ корыту и всѣ медвѣжата за ней. Летѣлъ, летѣлъ чурбанъ кверху, остановился, пошелъ книзу. Что ниже, то шибче расходится. Разошелся шибко налетѣлъ на медвѣдицу, какъ чебурахнетъ ее по башкѣ. Перевернулась медвѣдица, подергала ногами и издохла. Разбѣжались медвѣжата.

5.

Подивился мальчикъ и пошелъ дальше. Приходитъ къ большому саду, а въ саду высокія палаты съ золотой крышей. И у воротъ стоитъ крестный, улыбается. Поздоровался съ сыномъ крестнымъ, ввелъ его въ ворота и повелъ по саду. И во снѣ даже не снился мальчику такой красоты и радости, какая въ этомъ саду была.

Ввелъ крестный мальчика въ палаты. Палаты еще лучше. Провелъ крестный мальчика по всѣмъ горницамъ: одна другой лучше, одна другой веселѣе, и привелъ его къ запечатанной двери.

— Видишь ли, — говорить, — эту дверь? Замка на ней нѣтъ,

только печати. Отворить ее можно, да не велю я тебѣ. Живи ты и гуляй, гдѣ хочешь и какъ хочешь; всѣми радостями радуйся, только одинъ тебѣ заказъ: въ эту дверь не входи. А если и войдешь, такъ попомни, что ты въ лѣсу видѣлъ.

Сказалъ это крестный и ушелъ. Остался крестникъ одинъ и сталъ жить. И такъ ему весело и радостно было, что думалось ему, что прожилъ онъ тутъ только три часа, а прожилъ онъ тутъ тридцать лѣтъ. И какъ прошло тридцать лѣтъ, подошелъ крестникъ къ запечатанной двери и подумалъ: «отчего не велѣлъ мнѣ крестный входить въ эту горницу? Дай пойду, посмотрю, что тамъ такое?»

Толкнулъ дверь, отскочили печати, отворилась дверь. Вошелъ крестникъ и видитъ палаты больше всѣхъ и лучше всѣхъ, и въ серединѣ палатъ стоитъ золотой престолъ. Походилъ, походилъ крестникъ по палатамъ и подошелъ къ престолу, вошелъ по ступенямъ и сѣлъ. Сѣлъ и видитъ, у престола жезлъ стоитъ. Взялъ крестникъ въ руки жезлъ. Только что взялъ въ руки жезлъ, вдругъ отвалились всѣ четыре стѣны въ палатахъ. Поглядѣлъ кругомъ себя крестникъ и видитъ весь міръ, и все, что въ міру люди дѣлаютъ. Посмотрѣлъ прямо—видитъ море, корабли плаваютъ. Посмотрѣлъ вправо, видитъ чужіе, нехристіанскіе народы живутъ. Посмотрѣлъ въ лѣвую сторону, христіанскіе да не русскіе живутъ. Посмотрѣлъ въ четвертую сторону, наши русскіе живутъ. «Дай, говоритъ, посмотрю, что у насъ дома дѣлается, хорошо ли у насъ хлѣбъ родился?» Посмотрѣлъ на поле на свое, видитъ, крестцы стоятъ. Сталъ онъ считать крестцы, много ли хлѣба, и видитъ: ѣдетъ на поле телѣга и сидитъ въ ней мужикъ. Думалъ крестникъ, что родитель его ѣдетъ ночью снопы поднимать. Смотритъ: это Василий Кудряшовъ, воръ, ѣдетъ. Подѣхалъ къ копнамъ; сталъ накладывать. Досадно стало крестнику. Закричалъ онъ: «батюшка, снопы съ поля крадутъ!»

Проснулся отецъ въ ночномъ. «Приснилось мнѣ, говоритъ, что снопы крадутъ; дай поѣду, посмотрю». Сѣлъ на лошадь, поѣхалъ.

Пріѣзжаетъ на поле, увидалъ Василия, скричалъ мужиковъ. Избили Василия. Связали, повели въ острогъ.

Поглядѣлъ еще крестникъ на городъ, гдѣ его крестная жила. Видитъ: замужемъ она за купцомъ. И лежитъ она, спитъ, а мужъ ея всталъ, идетъ къ любовницѣ. Закричалъ крестникъ купчихѣ: «вставай, твой мужъ худыми дѣлами занялся».

Вскочила крестная, одѣлась, разыскала, гдѣ ея мужъ, изсрамила, избила любовницу, и мужа отъ себя прогнала.

Поглядѣлъ еще крестникъ на свою мать и видитъ: лежитъ она въ избѣ, и влѣзъ въ избу разбойникъ и сталъ сундукъ ломать.

Проснулась мать, закричала. Увидалъ разбойникъ, выхватилъ топоръ, замахнулся на мать, хочетъ ее убить.

Не сдержался крестникъ, какъ пустить жезломъ въ разбойника, прямо въ високъ ему попалъ, убилъ его на мѣстѣ.

6.

Только убилъ крестникъ разбойника, опять затворились стѣны, стали опять палаты какъ были.

Отворилась дверь, входитъ крестный. Подошелъ крестный къ сыну своему, взялъ его за руку, свелъ съ престола и говорить:

— Не послушалъ ты моего приказанія: одно худое дѣло сдѣлалъ—отворилъ запрещенную дверь; другое худое дѣло сдѣлалъ—на престолъ взошелъ и въ руки мой жезлъ взялъ; третье худое дѣло сдѣлалъ,—много зла въ мірѣ прибавилъ. Коли бы ты еще часъ посидѣлъ, ты бы половину людей перепортилъ.

И ввелъ крестный опять крестника на престолъ, взялъ въ руки жезлъ. И опять отвалились стѣны, и все видно стало.

И сказалъ крестный:

— Смотри теперъ, что ты своему отцу сдѣлалъ: Василій теперъ годъ въ острогѣ посидѣлъ, всѣмъ злодѣйствамъ научился и остервенѣлъ совсѣмъ. Смотри: вонъ онъ у отца твоего двухъ лошадей угналъ и, видишь: ему ужъ и дворъ заливаетъ. Вотъ что ты своему отцу сдѣлалъ.

Только увидалъ крестникъ, что загорѣлся отцовъ домъ, за-

крылъ отъ него это крестный, велѣлъ смотрѣть въ другую сторону.

— Вотъ,—говорить—мужъ твоей крестной уже годъ теперь какъ бросилъ жену, съ другими на сторонѣ гуляетъ, а она съ горя пить стала, а любовница его прежняя совсѣмъ пропала. Вотъ что ты съ своей крестной сдѣлалъ.

Закрылъ и это крестный, показалъ на его домъ. И увидалъ онъ свою мать: плачетъ она о своихъ грѣхахъ, кается, говорить: «лучше бы меня тогда разбойникъ убилъ, не надѣлала бы я столько грѣховъ».

— Вотъ, что ты своей матери сдѣлалъ.

Закрылъ и это крестный и показалъ внизъ. И увидалъ крестникъ разбойника: держать разбойника два стража передъ темницей.

И сказалъ ему крестный: «этотъ человѣкъ девять душъ загубилъ. Ему бы надо самому свои грѣхи выкупать, а ты его убилъ, всѣ грѣхи его на себя снялъ. Теперь тебѣ за всѣ его грѣхи отвѣчать. Вотъ что ты самъ себѣ сдѣлалъ. Медвѣдица разъ чурбанъ толканула, медвѣжатъ потревожила; другой разъ толканула—пестуна убила, а третій разъ толканула,—сама себя погубила. То же и ты сдѣлалъ. Даю тебѣ теперь сроку на тридцать лѣтъ. Иди въ міръ, выкумай разбойниковы грѣхи. Если не выкупишь, тебѣ на его мѣсто идти.

И сказалъ крестникъ: «какъ же мнѣ его грѣхи выкупать?»

И сказалъ крестный: «когда въ мірѣ столько же зла изведешь, сколько завелъ, тогда и свои и разбойниковы грѣхи купишь».

И спросилъ крестникъ: «какъ же въ мірѣ зло изводить?»

Сказалъ крестный: «иди ты прямо на восходъ солнца, придетъ поле, на немъ люди. Примѣчай, что люди дѣлаютъ и научи ихъ тому, что знаешь. Потомъ иди дальше, примѣчай то, что увидишь; придешь на четвертый день къ лѣсу, въ лѣсу келья, въ кельѣ старецъ живетъ, Расскажи ему все, что было. Онъ тебя научить. Когда все сдѣлаешь, что тебѣ старецъ велитъ, тогда свои и разбойниковы грѣхи купишь.

Сказалъ такъ крестный и выпустилъ крестника за ворота.

7.

Попшелъ крестникъ. Идетъ и думаетъ: «какъ мнѣ на свѣтѣ зло изводить? Изводить на свѣтѣ зло тѣмъ, что злыхъ людей въ ссылки ссылають, въ тюрьмы сажаютъ и казнями казнятъ. Какъ же мнѣ дѣлать, чтобы зло изводить, а на себя чужихъ грѣховъ не снимать?» Думалъ, думалъ крестникъ, не могъ придумать.

Шелъ, шелъ, приходитъ къ полю. На полѣ хлѣбъ выросъ хорошій, густой, и жать пора. Видитъ крестникъ, зашла въ этотъ хлѣбъ телушка, и увидали люди, посѣли верхами, гоняють по хлѣбу телушку изъ стороны въ сторону. Только хочеть телушка изъ хлѣба выскочить, наѣдетъ другой, испугается телушка, опять въ хлѣбъ; опять за ней скачутъ по хлѣбу. А на дорогѣ стоитъ баба, плачетъ: «загоняють они», говоритъ, «мою телушку».

И сталъ крестникъ говорить мужикамъ: «зачѣмъ вы такъ дѣлаете? Вы выѣзжайте всѣ вонъ изъ хлѣба. Пусть хозяйка свою телушку покличетъ. Послушались люди. Подошла баба къ краю, начала кликать: «тпрюси, тпрюси, буреночка, тпрюси, тпрюси!..» Насторожила телушка уши, послушала, послушала, побѣжала къ бабѣ, прямо ей подъ подбородокъ мордой, — чуть съ ногъ не сбила. И мужики рады, и баба рада, и телушка рада.

Попшелъ крестникъ дальше и думаетъ: «вижу я теперь, что зло отъ зла умножается. Что больше гоняють люди зло, больше зла разводять. Нельзя, значить, зло зломъ изводить. А чѣмъ его изводить? не знаю. Хорошо, какъ телушка хозяйку послушала; а то какъ не послушаетъ, какъ ее вызвать?»

Думалъ, думалъ крестникъ, ничего не придумалъ, пошелъ дальше.

8.

Шелъ, шелъ, приходитъ къ деревнѣ. Попросился въ крайней избѣ ночевать. Пустила хозяйка. Въ избѣ никого нѣтъ только одна хозяйка моетъ.

Вошелъ крестникъ, влѣзъ на печку и сталъ глядѣть, что хо-

зайка дѣлаеть; видитъ: вымыла хозяйка избу, стала столъ мыть. Вымыла столъ, стала вытирать грязнымъ ручникомъ. Станеть въ одну сторону стирать,—не вытирается столъ. Отъ грязнаго ручника полосами грязь по столу. Станеть въ другую сторону стирать,—однѣ полосы сотреть, другія сдѣлаеть. Станеть опять вдоль вытирать,—опять то же. Пачкаетъ грязнымъ ручникомъ, одну грязь сотреть, другую налѣпить. Поглядѣлъ, поглядѣлъ крестникъ, говорить:

— Что жъ ты это, хозяйюшка, дѣлаешь?

— Развѣ не видишь,—говорить,—къ празднику мою. Да вотъ никакъ столъ не домою, все грязно. Измучилась совсѣмъ.

— Да ты бы,—говорить,—ручникъ выполоסקала, а тогда-бъ стирала.

Сдѣлала такъ хозяйка, живо вымыла столъ. «Спасибо», говорить, «что научилъ».

На утро распрощался крестникъ съ хозяйкой, пошелъ дальше. Шелъ, шелъ, пришелъ въ лѣсъ. Видитъ, гнутъ мужики ободья. Подошелъ крестникъ, видитъ: кружатся мужики, а ободъ не загибается.

Поглядѣлъ крестникъ, видитъ: кружится у мужиковъ стуло, нѣтъ въ немъ державы. Посмотрѣлъ крестникъ и говорить:

— Что это вы, братцы, дѣлаете?

— Да, вотъ, ободья гнемъ. И два раза парили, измучились совсѣмъ—не загибаются.

— Да вы, братцы, стуло то укрѣпите, а то вы съ нимъ вмѣстѣ кружитесь.

Послушались мужики, укрѣпили стуло, пошло у нихъ дѣло на ладъ.

Переночевалъ у нихъ крестникъ, пошелъ дальше. Весь день и ночь шелъ, передъ зарей подошелъ къ гуртовщикамъ. Прилежъ онъ около нихъ. И видитъ: устали гуртовщики скотину и разводять огонь. Взяли сухихъ вѣтокъ, зажгли, не дали разгорѣться, наложили на огонь сырого хворосту. Зашипѣлъ хворостъ, затухъ огонь. Взяли гуртовщики еще суши, зажгли, опять навалили хворосту сырого,—опять затушили. Долго бились, не разожгли огня.

И сказалъ крестникъ: «вы не спѣшите хворость накладывать, а прежде разожгите хорошенько огонь. Когда жарко разгорится, тогда ужъ накладывайте».

Сдѣлали такъ гурьевщики; разожгли сильно, наложили хворость. Занялся хворость, разгорѣлся костеръ. Побылъ съ ними крестникъ и пошелъ дальше. Думалъ, думалъ крестникъ, къ чему онъ эти три дѣла видѣлъ,—не могъ понять.

9.

Шелъ, шелъ крестникъ, прошелъ день. Приходить въ лѣсъ; въ лѣсу келья. Подходить крестникъ къ кельѣ, стучится. Спрашивается изъ кельи голосъ:

— Кто тамъ?

— Грѣшникъ великій; иду чужіе грѣхи выкупать.

Вышелъ старецъ и говорить:

— Какіе такіе чужіе грѣхи на тебѣ?

Разсказалъ ему все крестникъ: и про отца крестнаго, и про медвѣдицу съ медвѣжатами, и про престолъ въ запечатанной палатѣ и про то, что ему крестный велѣлъ, и про то, какъ онъ на полѣ мужиковъ видѣлъ, какъ они весь хлѣбъ стоптали, и какъ телушка къ хозяйкѣ сама вышла.

— Понялъ я,—говорить,— что нельзя зло зломъ изводить, а не могу понять, какъ его изводить надо. Научи меня.

И сказалъ старецъ:

— А скажи же мнѣ, что ты еще по дорогѣ видѣлъ?

Разсказалъ ему крестникъ про бабу, какъ она мыла, и про мужиковъ, какъ они ободья гнули, и про пастуховъ, какъ они огонь разводили.

Выслушалъ старецъ, вернулся въ келью, вынесъ топорикъ щербатый. «Пойдемъ», говорить.

Отошелъ старецъ на поприще отъ кельи, показалъ на дерево.

— Руби,—говорить.

Срубилъ крестникъ, упало дерево.

— Руби теперь на трое.

Разрубилъ крестникъ на трое. Зашелъ опять въ келью старецъ, принесъ огня.

— Сожги,—говорить,—эти три чурака.

Развелъ крестникъ огонь, сжегъ три чурака, остались три головешки.

— Зарой въ землю на половину. Вотъ такъ.

Зарылъ крестникъ.

— Видишь: подъ горой рѣка, носи оттуда воду во рту, поливай. Эту головешку поливай такъ, какъ ты бабу училъ. Эту поливай, какъ ты ободчиковъ научилъ, а эту поливай, какъ ты пастуховъ научилъ. Когда проростутъ всѣ три, и изъ головешекъ три яблони вырастутъ, тогда узнаешь, какъ въ людяхъ зло изводить; тогда и грѣхи выкупишь.

Сказалъ это старецъ и ушелъ въ свою келью. Думалъ, думалъ крестникъ,— не могъ понять, что ему сказалъ старецъ. А сталъ дѣлать, какъ ему велѣно.

10.

Пошелъ крестникъ къ рѣкѣ, набралъ полонъ ротъ воды, вылилъ на головешку, пошелъ еще и еще: полилъ и другія двѣ. Уморился крестникъ, захотѣлось ему ѣсть. Пошелъ въ келью у старца пищи попросить. Отворилъ дверь, а старецъ мертвый на лавочкѣ лежитъ. Осмотрѣлся крестникъ, нашелъ сухариковъ, поѣлъ; нашелъ и заступъ и сталъ старцу могилу копать. Ночью воду носилъ, поливалъ, а днемъ могилу копалъ. Только выкопалъ могилу, хотѣлъ хоронить, пришли изъ деревни люди, старцу пищу принесли.

Узнали люди, что померъ старецъ и благословилъ крестника на свое мѣсто. Похоронили люди старца, оставили крестнику хлѣба; общались принести еще и ушли.

И остался крестникъ на старцевомъ мѣстѣ жить. Живетъ крестникъ, кормится тѣмъ, что ему люди носятъ и повелѣнное дѣло дѣлаетъ, во рту изъ рѣки воду носить, головешки поливаетъ.

Прожилъ такъ крестникъ годъ, и стало къ нему много лю-

дей ходить. Прошла про него слава, что живетъ въ лѣсу святой человѣкъ, спасается, ртомъ изъ-подъ горы воду носить, горѣлые пни поливаетъ. Стало къ нему много народу ходить. Стали и богатые кѣпцы ѣздить, ему подарки возить. Не бралъ ничего себѣ крестникъ, кромѣ нужды, а что ему давали, то другимъ бѣднымъ раздавалъ.

И сталъ такъ жить крестникъ: половину дня воду во рту носитъ, головешки поливаетъ, а другую половину отдыхаетъ и народъ принимаетъ.

И сталъ думать крестникъ, что такъ ему вѣчно жить, этимъ самымъ зло изводить и грѣхи выкупать.

Прожилъ такъ крестникъ и другой годъ, ни одного дня не пропустилъ, чтобы не полить, а все не проросла ни одна головешка

Сидитъ онъ разъ въ кельѣ, слышитъ: ѣдетъ мимо него человѣкъ верхомъ и пѣсни поетъ. Вышелъ крестникъ посмотреть, что за человѣкъ. Видитъ: человѣкъ сильный, молодой. Одежда на немъ хорошая, и лошадь и сѣдло подъ нимъ дорогія.

Остановилъ его крестникъ и спросилъ: «что онъ за человѣкъ, и куда ѣдетъ?»

Остановился человѣкъ.

— Я,—говоритъ,—разбойникъ, ѣзжу по дорогамъ, людей убиваю: что больше людей убью, то веселѣй пѣсни пою.

Ужаснулся крестникъ, думаетъ: «какъ въ такомъ человѣкѣ зло извести? Хорошо мнѣ тѣмъ говорить, которые ко мнѣ ходятъ, сами каются. А этотъ зломъ хвалится». Ничего не сказалъ крестникъ, пошелъ прочь, да подумалъ: «какъ теперь быть? Поведется этотъ разбойникъ здѣсь ѣздить, напугаетъ онъ народъ, перестанутъ ко мнѣ люди ходить. И имъ пользы не будетъ, да и мнѣ тогда какъ жить будетъ?»

И остановился крестникъ. И сталъ разбойнику говорить.

— Сюда,—говоритъ,—ко мнѣ люди ходятъ не зломъ хвалиться, а каяться и грѣхи отмаливать. Покайся и ты, если Бога боишься, а не хочешь каяться, такъ уѣзжай отсюда и не пріѣзжай никогда, меня не смущай и народъ отъ меня не отпугивай. А если не послушаешь, покараетъ тебя Богъ.

Засмѣялся разбойникъ. «Не боюсь», говоритъ, «я Бога, и тебя не послушаю. Ты мнѣ не хозяинъ. Ты, говоритъ, своимъ богомольствомъ кормишься, а я разбоемъ кормлюсь. Всѣмъ кормиться надо. Ты бабѣ, что къ тебѣ ходятъ, учи, а меня учить нечего. А за то, что ты мнѣ про Бога помянулъ, я завтра лишнихъ двухъ людей убью. И тебя бы нынче убилъ, да не хочется рукъ марать. А впередъ не попадайся».

Погрозилъ такъ разбойникъ и уѣхалъ. И не проѣзжалъ больше разбойникъ, и жилъ крестникъ по прежнему спокойно восемь лѣтъ.

11.

Пошелъ разъ ночью крестникъ свои головешки поливать, пришелъ въ келью отдохнуть и сидитъ, глядитъ на тропочку, скоро ли народъ придетъ. И не пришелъ въ этотъ день ни одинъ человекъ. Просидѣлъ крестникъ одинъ до вечера, и скучно ему стало, и раздумался онъ о своей жизни. Вспомнилъ онъ какъ разбойникъ его укорилъ за то, что онъ своимъ богомольствомъ кормится. И оглянулся крестникъ на свою жизнь. «Не такъ», думаетъ, «я живу, какъ мнѣ старецъ велѣлъ. Старецъ мнѣ эпитимію наложилъ, а я изъ нея хлѣбъ да славу людскую сдѣлалъ. И такъ соблазнился на нее, что скучно мнѣ, когда ко мнѣ народъ не ходитъ. А когда ходитъ народъ, то я только и радуюсь тому, какъ они мою святость прославляютъ. Не такъ жить надо. Запутался я славой людской. Преннихъ грѣховъ не выкупилъ, а новые нажилъ. Уйду я въ лѣсъ, въ другое мѣсто, чтобъ меня народъ не нашелъ. Стану одинъ жить, такъ, чтобы старые грѣхи выкупать, а новыхъ не наживать».

Подумалъ такъ крестникъ и взялъ мѣшечекъ сухарей и заступъ и пошелъ прочь отъ кельи къ оврагу, чтобы въ глухомъ мѣстѣ себѣ земляночку выкопать—отъ людей укрыться.

Идетъ крестникъ съ мѣшечкомъ и съ заступомъ; наѣзжаетъ на него разбойникъ. Испугался крестникъ, хотѣлъ бѣжать, да догналъ его разбойникъ.

— Куда идешь?—говорить.

Разскажалъ ему крестникъ, что хочетъ онъ отъ народа уйти въ такое мѣсто, чтобы никто къ нему не ходилъ. Удивился разбойникъ.

— Чѣмъ же ты теперь кормиться будешь, когда къ тебѣ люди ходить не будутъ?

И не подумалъ объ этомъ прежде крестникъ, а какъ спросилъ разбойникъ, вспомнилъ онъ и про пищу.

— А чѣмъ Богъ дастъ,—говорить.

Ничего не сказалъ разбойникъ, поѣхалъ дальше.

«Что-жъ», думаетъ крестникъ, «я ему ничего про его жизнь не сказалъ. Можетъ онъ теперь покается. Нынче онъ какъ будто помягче и не грозитъ убить». И прокричалъ крестникъ вслѣдъ разбойнику:

— А все жъ тебѣ покаяться надо. Отъ Бога не уйдешь.

Повернулъ лошадь разбойникъ. Выхватилъ ножъ изъ-за пояса, замахнулся на крестника. Испугался крестникъ, убѣжалъ въ лѣсъ.

Не сталъ его догонять разбойникъ, только сказалъ: «два раза простилъ тебя, старикъ, въ третій не попадайся, убью!» Сказалъ такъ и уѣхалъ. Пошелъ вечеромъ крестникъ головешки поливать, глядь, одна ростки пустила. Яблонька изъ нея растетъ.

12.

Скрылся отъ людей крестникъ и сталъ одинъ жить. Вышли у него сухари. «Ну», думаетъ «теперь корешковъ поищу». Только пошелъ искать, видитъ: на суку мѣшечекъ съ сухарями виситъ. Взялъ его крестникъ и сталъ кормиться.

Только вышли сухари, опять другой мѣшечекъ на томъ же суку нашелъ. И жилъ такъ крестникъ. Только одно у него горе было — разбойника боялся. Какъ слышитъ разбойника, такъ спрячется, думаетъ: «убьетъ онъ меня, такъ и не успѣшь грѣховъ выкупить».

Прожилъ такъ еще десять лѣтъ. Яблонька одна росла адвѣ головешки, какъ были головешками, такъ и оставались.

Всталъ разъ рано крестникъ, пошелъ свое дѣло исполнять,

смочилъ землю у головешекъ, уморился и присѣлъ отдохнуть. Сидитъ, отдыхаетъ и думаетъ: «согрѣшилъ я, сталъ смерти бояться. Захочетъ Богъ, такъ и смертью грѣхи выкуплю». Только подумалъ такъ, вдругъ слышитъ: ѣдетъ разбойникъ, ругается. Услыхалъ крестникъ и думаетъ: «кромѣ Бога, ни худого, ни добраго ни отъ кого мнѣ не будетъ», и пошелъ къ разбойнику на встрѣчу. Видитъ: ѣдетъ разбойникъ не одинъ, а везетъ за собой въ сѣдлѣ человѣка. А у человѣка и руки, и ротъ завязаны. Молчитъ человѣкъ, а разбойникъ на него ругается. Подошелъ крестникъ къ разбойнику, сталъ передъ лошадыю.

— Куда ты,—говоритъ,—этого человѣка везешь?

— А везу въ лѣсъ. Это купцовъ сынъ. Не сказываетъ онъ, гдѣ отцовскія деньги спрятаны. Буду я его до тѣхъ поръ протъ, пока онъ скажетъ.

И хотѣлъ разбойникъ проѣхать. Да не пустилъ крестникъ, схватилъ лошадь за узду. «Отпусти», говоритъ, «этого человѣка». Разсердился разбойникъ на крестника, замахнулся на него. «Иль», говоритъ, «и тебѣ того же хочется? Я тебѣ обѣщаль, что убью. Пусти!

Не испугался крестникъ.

— Не пущу,—говоритъ.—Не боюсь я тебя, я только Бога боюсь. А Богъ не велитъ пускать. Отпусти человѣка.

Нахмурился разбойникъ, выхватилъ ножъ, перерѣзалъ веревки, пустилъ купцова сына.

— Убирайтесь,—говоритъ,—вы оба, не попадайтесь въ другой разъ.

Соскочилъ купцовъ сынъ, побѣжалъ. Хотѣлъ разбойникъ проѣхать, да остановилъ его еще крестникъ; сталъ ему еще говорить, чтобъ бросилъ онъ свою дурную жизнь. Постоялъ разбойникъ, выслушалъ все, ничего не сказалъ и уѣхалъ.

На утро пошелъ крестникъ поливать головешки. Глядь и другая проросла,—тоже яблонька растеть.

13.

Прошло еще десять лѣтъ. Сидитъ разъ крестникъ, ничего ему не хочется, ничего не боится, и радуется въ немъ сердце.

И думаетъ себѣ крестникъ: «какая людямъ отъ Бога благодать! А мучаютъ они себя понапрасну. Жить бы да жить имъ въ радости». И вспомнилъ онъ про все зло людское, какъ они себя мучаютъ. И жалко ему стало людей. «Напрасно», думаетъ, «я такъ живу; пойти надо сказать людямъ, что я знаю».

Только подумалъ онъ и слышитъ: ѣдетъ разбойникъ. Пропустилъ онъ его и говорить: «съ этимъ что и говорить, не пойметъ».

Подумалъ сперва такъ, а потомъ передумалъ, вышелъ на дорогу. Ёдетъ разбойникъ пасмурный, въ землю смотритъ. Поглядѣлъ на него крестникъ, и жалко ему стало, подбѣжалъ къ нему, ухватилъ за колѣно.

— Братъ милый,—говоритъ,—пожалѣй свою душу! Вѣдь въ тебѣ духъ Божій. Мучаешься ты, и другихъ мучаешь, и еще хуже мучаться будешь. А Богъ тебя какъ любитъ, какую тебѣ благодать припасъ! Не губи ты себя, братецъ. Перемѣни свою жизнь!

Нахмурился разбойникъ, отвернулся. «Отстань», говоритъ.

Обхватилъ крестникъ еще крѣпче разбойника за колѣно и слезами заплакалъ.

Поднялъ глаза разбойникъ на крестника. Смотрѣлъ, смотрѣлъ, слѣзъ съ лошади и палъ передъ крестникомъ на колѣна.

— Побѣдилъ,—говоритъ,—ты меня, старикъ. Двадцать лѣтъ я съ тобой боролся. Осилилъ ты меня. Не властенъ я теперь надъ собой. Дѣлай со мной, что хочешь. Когда ты меня,—говоритъ,—въ первый разъ уговаривалъ, я только больше озлился. А задумался я,—говоритъ,—надъ твоими рѣчами только тогда, когда ты отъ людей уходилъ и узналъ, что тебѣ самому отъ людей ничего не нужно. И сталъ я съ тѣхъ поръ сухарей для тебя на сукъ вѣшать.

И вспомнилъ крестникъ, что тогда только баба столъ вымыла, когда ручникъ выполоскала. Пересталъ онъ о себѣ заботиться, очистилъ сердце и сталъ другія сердца очищать.

И сказалъ разбойникъ:

— А повернулось во мнѣ сердце тогда, когда ты смерти не побоялся.

И вспомнилъ крестникъ, что тогда только ободчики ободья загибать стали, когда стуло утвердили; пересталъ онъ смерти бояться, утвердилъ свою жизнь въ Богѣ, и покорилось непокорное сердце.

И сказалъ разбойникъ:

— А растаяло во мнѣ вовсе сердце, только когда ты пожалѣлъ меня и заплакалъ передо мною.

Обрадовался крестникъ, повелъ съ собою разбойника къ тому мѣсту, гдѣ головешки были. Подошли они—а изъ послѣдней головешки тоже яблоня выросла. И вспомнилъ крестникъ, что тогда загорѣлись сырыя дрова у пастуховъ, когда разжегся большой огонь: разгорѣлось въ немъ сердце и разожгло другое.

И обрадовался крестникъ тому, что онъ теперь грѣхи выкупилъ.

Сказалъ это все разбойнику и померъ. Похоронилъ его разбойникъ, сталъ жить, какъ велѣлъ ему крестникъ, и такъ людей учить.

Л. Толстой.

Отчаянный.

Изъ воспоминаній своихъ и чужихъ.

I.

... Насъ было человѣкъ восемь въ комнатѣ,—и мы разговаривали о современныхъ дѣлахъ и людяхъ.

— Не понимаю я этихъ господъ!—замѣтилъ А.;—они отчаянные какіе-то!.. Право, отчаянные... Ничего подобнаго еще никогда не бывало.

— Нѣтъ, бывало,—вмѣшался П., уже старый, сѣдолосый человѣкъ, родившійся около двадцатыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія;—отчаянные люди водились и прежде; только не походили они на нынѣшнихъ отчаянныхъ. Про поэта Языкова кто-то сказалъ, что у него былъ восторгъ, ни на что не обра-

щенный, безпредметный восторгъ; такъ и у тѣхъ людей—отчаянность была безпредметная. Да вотъ, если позволите, я вамъ расскажу исторію моего двоюроднаго племянника, Миши Полтева. Она можетъ служить образчикомъ тогдашней отчаянности.

Явился онъ на свѣтъ Божій, помнится, въ 1828 году, въ родовомъ помѣстьѣ своего отца, въ одномъ изъ самыхъ глухихъ уголковъ глухой степной губерніи. Мишина отца, Андрея Николаевича Полтева, я еще хорошо помню. Это былъ настоящій, старозавѣтный помѣщикъ, богобоязненный, степенный человѣкъ, достаточно—по тому времени—образованный, немного, правду сказать, придурковатый, да и къ тому же страдавшій падучей болѣзнью... Это тоже старозавѣтная, дворянская болѣзнь... Впрочемъ, припадки у Андрея Николаевича бывали тихіе, и разрѣшались они обыкновенно сномъ да уныlostью. — Сердца онъ былъ добраго, обращенія привѣтливаго, не безъ нѣкоторой величественности: я себѣ всегда такимъ воображалъ царя Михаила Ѳеодоровича. Вся жизнь Андрея Николаевича протекла въ неукоснительномъ исполненіи всѣхъ съ давнихъ временъ установившихся обрядовъ, въ строгомъ соотвѣтствіи со всѣми обычаями древне-православнаго, свято - русскаго быта. Онъ вставалъ и ложился, кушалъ и въ баню ходилъ, веселился и гнѣвался (то и другое, правда, рѣдко), даже трубку курилъ, даже въ карты игралъ (два большихъ новшества!) не такъ какъ бы ему вздумалось, не на свой манеръ,—а по завѣту и преданію отцовъ—истово и чинно. Самъ онъ былъ высокаго роста, осанистъ и мясистъ, голосъ имѣлъ тихій и нѣсколько хрипловатый, какъ оно часто бываетъ у русскихъ добродѣтельныхъ людей; соблюдалъ опрятность въ бѣльѣ и одеждѣ, носилъ бѣлые галстуки и табачнаго цвѣту длиннополые сюртуки, а дворянская кровь все-таки сказывалась; за поповича или купца никто бы его не принялъ! Всегда, при всѣхъ возможныхъ случаяхъ и встрѣчахъ, Андрей Николаевичъ несомнѣнно зналъ, какъ надо поступать, что надо говорить, и какія именно выраженія употреблять; зналъ, когда должно лѣчиться и чѣмъ именно, какимъ примѣтамъ должно вѣрить и какія можно оставлять безъ вни-

манія... словомъ, зналъ все, что слѣдуетъ дѣлать... Ибо, все, молъ, стариками предусмотрѣно и указано—своего только не придумывай... А главное: безъ Бога ни до порога!—Должно сознаться: скука смертельная царила въ его домѣ, въ этихъ низкихъ, теплыхъ и темныхъ комнатахъ, столь часто оглашаемыхъ пѣніемъ всенощныхъ и молебновъ, съ почти непережившимся запахомъ ладона и постныхъ кушаній!

Женился Андрей Николаевичъ, уже не въ первой молодости, на сосѣдней бѣдной барышнѣ, очень нервической и болѣзненной особѣ, бывшей институткѣ. Она не дурно играла на фортепиано, говорила по-французски на институтскій ладъ; охотно восторгалась и еще охотнѣе предавалась меланхоліи и даже слезамъ... Словомъ—характера была безпокойнаго. Считая жизнь свою загубленной, она не могла любить своего мужа, который «конечно» ея не понималъ; но она уважала... она сносила его; и будучи существомъ вполне честнымъ и вполне холоднымъ, ни разу даже не подумала о другомъ «предметѣ». Къ тому же ее постоянно поглощали заботы, во-первыхъ, о своемъ собственномъ, дѣйствительно слабомъ здоровьѣ; во-вторыхъ, о здоровьѣ мужа, припадки котораго ей всегда внушали нѣчто вродѣ суевѣрнаго ужаса, а, наконецъ, и о единственномъ своемъ сынѣ Мишѣ, котораго она воспитывала сама съ большимъ рвеніемъ. Андрей Николаевичъ не мѣшалъ женѣ заниматься Мишей,—но съ условіемъ: ни подъ какимъ видомъ не выступать изъ однажды навсегда назначенныхъ рамокъ, въ которыхъ все должно было вращаться у него въ домѣ! Такъ, напримѣръ: въ святки и подъ Новый годъ, въ Васильевъ вечеръ, Мишѣ позволялось наряжаться вмѣстѣ съ другими «хлопчиками», и, не только позволялось, но даже ставилось въ обязанность... Зато—сохрани Богъ въ другое время! и т. д., и т. д.

II.

Помню я этого Мишу лѣтъ тринадцати. — Это былъ очень миловидный мальчикъ съ розовыми щечками и мякенькими губками (да и весь онъ былъ маленькій да пухленькій), съ нѣ-

сколько выпуклыми, влажными глазами, тщательно приглаженный и причесанный, ласковый и стыдливый — настоящая дѣвочка!—Одно только въ немъ мнѣ не нравилось: смѣялся онъ рѣдко; но когда смѣялся—зубы его, крупные, бѣлые и по звѣриному заостренные, непріятно выставлялись,—и самый смѣхъ звучалъ чѣмъ-то рѣзкимъ и даже дикимъ—почти звѣрскимъ,—а въ глазахъ пробѣгали нехорошія искры. Мать все хвалила его за то, что онъ такой послушный и вѣжливый—и съ мальчиками шалунами не любитъ знаться, а все больше льнетъ къ женскому обществу.—«Матушкинъ сыночекъ, нѣженка»,—отзывался о немъ отецъ, Андрей Николаевичъ;—но за то въ храмъ Божій ходитъ охотно... И это меня радуетъ».—Одинъ только старикъ-сосѣдъ, бывшій исправникъ, сказалъ разъ при мнѣ о Мишѣ:—«Помилуйте, бунтовщикъ будетъ». И это слово меня, помнится, тогда очень удивило. Бывшій исправникъ, правда, всюду видѣлъ бунтовщиковъ.

Точно такимъ примѣрнымъ юношей оставался Миша до 18-лѣтняго возраста, до самой смерти родителей, которыхъ онъ лишился едва ли не въ одинъ и тотъ же день. Живя постоянно въ Москвѣ, я ничего не слышалъ о моемъ молодомъ родственникѣ. Правда, одинъ пріѣзжій изъ его губерніи увѣрялъ меня, будто бы Миша продалъ за безцѣнокъ свое родовое имѣніе; но это извѣстіе казалось мнѣ слишкомъ неправдоподобнымъ! — И вотъ вдругъ, въ одно осеннее утро, на дворъ моего дома влетаетъ коляска, запряженная парой превосходныхъ рысаковъ, съ чудовищнымъ кучеромъ на козлахъ, а въ коляскѣ — облеченный въ шинель военнаго покроя съ двухъ-аршиннымъ бобровымъ воротникомъ, съ фуражкой на бекрень *a la diable m'emporte*, сидить... Миша!—Увидавъ меня (я стоялъ у окна гостиной и съ изумленьемъ глядѣлъ на влетѣвшій экипажъ),—онъ захохоталъ своимъ рѣзкимъ хохотомъ, и лихо тряхнувъ обшлагомъ шинели, выпрыгнулъ изъ коляски и вбѣжалъ въ домъ.

— Миша! Михайлъ Андреевичъ!—началъ было я...—Вы ли это?

— Говорите мнѣ: «ты» и «Миша»—перебилъ онъ меня.—

Я... это я, собственной персоной... явился въ Москву... на людей посмотреть... и себя показать. Вотъ и къ вамъ заѣхалъ.—Какъ вы рысачки?.. А?—Онъ опять захохоталъ.

Хотя лѣтъ семь прошло съ тѣхъ поръ, какъ я въ послѣдній разъ видѣлъ Мишу, но узналъ я его тотчасъ. — Лицо у него осталось совсѣмъ молодымъ и по прежнему миловиднымъ,—даже усь не пробился; только подъ глазами на щекахъ появилась одутловатость—и изо рта пахло виномъ.

— Да давно ли ты въ Москвѣ?—спросилъ я.—Я полагалъ, что ты тамъ въ деревнѣ хозяйничаешь...

— Э! Деревню то я тотчасъ по боку!—Какъ только родители, царство имъ небесное, скончались—(Миша перекрестился истово, безъ малѣйшаго кощунства)—я сейчасъ, ни мало не медля... эйнтъ, цвей, дрей! ха-ха! Дешево спустилъ; канальство! Такой подвернулся шельмецъ.—Ну, да все равно! По крайней мѣрѣ поживу въ свое удовольствіе—и другихъ потѣшу.—Да что вы на меня такъ уставились?—Неужто же въ самомъ дѣлѣ мнѣ было тянуть да тянуть эту канитель?.. Голубчикъ, родной, нельзя ли чарочку?

Миша говорилъ ужасно скоро, торопливо, и въ то же время, какъ бы съ просонья.

— Миша, помилуй!—возопилъ я,—побойся ты Бога! на кого ты похожъ, въ какомъ ты видѣ? А еще чарочку! И продать такое хорошее имѣніе за безцѣнокъ...

— Бога я всегда боюсь и помню,—подхватилъ онъ.—Да вѣдь онъ добрый—Богъ-то... простить! И я тоже добрый... никого еще въ жизни не обидѣлъ. И чарочка тоже добрая; и обижать... тоже никого не обижаетъ. А видъ у меня самый настоящій... Дяденька, желаете, стрункой по половицѣ пройду? Или попляшу немного?

— Ахъ, пожалуйста, избавь!—Какой тутъ плясъ? Ты лучше сядь.

— Сѣсть то я сяду... Да что вы мнѣ ничего не скажете о моихъ сѣрыхъ? Вы посмотрите, вѣдь львы! пока я ихъ нанимаю, но куплю непременно... вмѣстѣ съ кучеромъ.—Свои лошади не въ примѣръ выгоднѣе. И деньги вѣдь были, да спустилъ

ихъ вчера въ банчишко.—Ничего, завтра навестаемъ. Дяденька... а что же чарочку?

Я все еще не могъ опомниться.—Помилуй, Миша, сколько тебѣ лѣтъ? Не лошадыми, не карточной игрой тебѣ заниматься слѣдуетъ... а въ университетъ поступить, или на службу.

Миша сперва опять захохоталъ, потомъ свиснулъ протяжно.

— Ну, дяденька, я вижу, вы теперь въ меланхолическомъ настроеніи. Заверну въ другой разъ. — А вы вотъ что: заѣзжайте-ка вечеркомъ въ Сокольники. Тамъ у меня палатка разбита. Цыгане поють... Фу ты! ну ты! держись только! А на палаткѣ вымпелъ, а на вымпелѣ ба-альшими буквами написано: «Хоръ Пѣлтевскихъ цыганъ». Змѣемъ вымпелъ-то вьется, буквы золотыя, всякому прочесть лестно. Угощеніе—кто только пожелаетъ!.. Отказу нѣтъ. Пыль по всей Москвѣ пошла... мое почтеніе!.. Чтожъ? Заѣдете? Ужъ какая тамъ у меня есть одна... аспидъ! Черна какъ сапогъ, злюща какъ собака, а глаза... уголья! Никакъ не возможно узнать: что она—поцѣлуетъ или укуситъ?.. Заѣдете, дяденька?.. Ну, до свиданія!

И внезапно обнявъ и чмокнувъ меня въ плечо, Миша выскочилъ на дворъ, въ коляску, махнулъ надъ головой фуражкой, гикнулъ,—чудовищный кучеръ покосился на него черезъ бороду, рысаки рванулись, и все исчезло!

На другой день я, грѣшный человѣкъ, поѣхалъ-таки въ Сокольники, и дѣйствительно увидалъ палатку съ вымпеломъ и надписью. Пѣлы палатки были приподняты: шумъ, трескъ, визгъ неслись оттуда. Народъ толпился кругомъ. На землѣ, на разостланномъ коврѣ сидѣли цыгане, цыганки, пѣли, били въ бубны; а посреди ихъ, съ гитарой въ рукахъ, въ шелковой красной рубахѣ и бархатныхъ шароварахъ, юлою вертѣлся Миша.—«Господа! почтенные! милости просимъ! сейчасъ представленіе начнется! Даровое!» — кричалъ онъ надтреснутымъ голосомъ.—«Эй! шампанскаго! хлопъ! въ лобъ! въ потолокъ! ахъ, ты шельма, Поль-де-Кокъ!»—Къ счастью, онъ не увидалъ меня, и я поспѣшилъ удалиться.

Не буду, господа, я распространяться о моемъ изумленіи при видѣ такой перемѣны. И въ самомъ дѣлѣ, какъ могъ этотъ

смирный и скромный мальчикъ превратиться вдругъ въ пьянаго шалопаю?! Неужто же это все въ немъ таилось съ дѣтства, и тотчасъ выступило наружу, какъ только соскочилъ съ него гнетъ родительской власти?—А что пыль пошла отъ него по Москвѣ, какъ онъ выражался,—въ этомъ уже точно не было никакого сомнѣнія. Видалъ я кутилъ на своемъ вѣку; но тутъ проявлялось нѣчто неистовое, какое-то бѣшенство самоистребленія, какое то отчаяніе!

III.

Мѣсяца два продолжалась эта потѣха... И вотъ, стою я опять у окна въ гостиной и наблюдаю на дворъ... Вдругъ — чтѣ за притча!?. входитъ въ ворота тихой поступью послушникъ... Шапонька гречникомъ надвинута на лобъ, волосики изъ подъ ней расчесаны направо и налево... длинный подрясникъ, кожаный поясъ... Неужели Миша? Онъ и есть!

Вышелъ я къ нему на крыльцо...—Это что за маскарадъ?—спрашиваю я.

— Не маскарадъ, дяденька,—отвѣчаетъ мнѣ Миша съ глубокимъ вздохомъ, — а такъ какъ я всё мое имущество до послѣдней копѣечки разтранилъ—да и раскаяніе мною овладѣло сильное,—то я рѣшился отправиться въ Троицкую Сергіеву Лавру грѣхи свои отмаливать. — Ибо какой мнѣ теперь пріютъ остался?.. И вотъ пришелъ я къ вамъ проститься, дяденька, какъ блудный сынъ...

Я посмотрѣлъ въ упоръ на Мишу. Лицо все такое же, розовое да свѣжее (впрочемъ, оно такъ и не измѣнилось у него до конца),—и глаза влажные да ласковые съ поволокой — и ручки бѣленькія... А виномъ отдаетъ.

— Что-жъ!—промолвилъ я наконецъ,—дѣло хорошее—коли другого исхода нѣтъ. Но зачѣмъ же отъ тебя виномъ-то пахнетъ?

— Старая закваска,—отвѣтилъ Миша, и вдругъ засмѣялся—да тотчасъ спохватился, и поклонившись прямымъ и низкимъ, монашескимъ поклономъ, прибавилъ:—Не пожалуете ли чтѣ на путь-дороженьку? Вѣдь въ монастырь иду я пѣшкомъ...

— Когда?

— Сегодня... сейчас.

— Къ чему же такъ спѣшить?

— Дяденька! мой девизъ всегда былъ: скорѣй! скорѣй!

— А теперь какой у тебя девизъ?

— И теперь тотъ же... Только—къ *добру* скорѣй!

Такъ Миша и ушелъ, предоставивъ мнѣ размышлять о превратностяхъ судебъ человѣческихъ.

Но онъ скоро напомнилъ мнѣ о своемъ существованіи. Мѣсяца два спустя послѣ его посѣщенія, я получилъ отъ него письмо, первое изъ тѣхъ писемъ, которыми онъ впоследствии надѣлялъ меня. И замѣьте странность: я рѣдко видывалъ болѣе опрятный и четкій почеркъ, чѣмъ у этого безалабернаго человека. И слогъ его писемъ былъ очень правильный, слегка витиеватый. Неизмѣнныя просьбы о помощи всегда чередовались съ обѣщаніями исправиться, честными словами и клятвами... Все это казалось—а, можетъ, и было—искреннимъ. Росчеркъ Миши подъ письмомъ постоянно сопровождался особенными закрутасами, черточками и точками,—и много употреблялъ онъ восклицательныхъ знаковъ. Въ томъ первомъ письмѣ Миша извѣщалъ меня о новомъ «оборотѣ своей фортуны». (Впоследствии онъ называлъ эти обороты—нырками... и нырялъ онъ часто). Онъ отправился на Кавказъ служить «грудью» царю и отечеству, въ качествѣ юнкера! И хотя нѣкая добродѣтельная тетка вошла въ его бѣдственное положеніе и прислала ему незначительную сумму, — онъ однако все-таки просилъ и меня помочь ему экипироваться. Я исполнилъ его просьбу и въ теченіе двухъ лѣтъ опять ничего не слышалъ о немъ.

Признаться, я сильно сомнѣвался въ томъ, поѣхалъ ли онъ на Кавказъ? Но оказалось, что онъ точно поѣхалъ туда, по протекціи поступилъ въ Т...ій полкъ юнкеромъ и прослужилъ въ немъ эти два года. Цѣлыя легенды составились тамъ о немъ.

IV.

Опять прошло нѣсколько времени, и я ничего не слышалъ о Мишѣ... Богъ его знаетъ, гдѣ онъ пропадалъ.—Вотъ, однажды, сидя за самоваромъ на станціи Т...го шоссе, въ ожиданіи

лошадей, я вдругъ услышалъ подъ раскрытымъ окномъ станціонной комнаты сильный голосъ, произносившій по французски:—«*Monsieur... monsieur... prenez pitié d'un pauvre gentil-homme guiné*»... Я поднялъ голову, взглянулъ... Облѣзлая папахъ, поломанные патроны на разорванной черкескѣ, кинжалъ въ потресканныхъ ножнахъ, опухшее, но все еще розовое лицо, растрепанные, но все еще густые волосы... Боже мой! Миша!—Онъ уже началъ просить милостыню по большимъ дорогамъ!—Я невольно вскрикнулъ. Онъ узналъ меня, дрогнулъ, отвернулся, и хотѣлъ было отойти отъ окна.—Я остановилъ его... но что было ему сказать? — Не правоученіе же читать?!. Молча протянулъ я ему пятирублевую ассигнацію,—онъ такъ же молча схватилъ ее своей все еще бѣлой и пухлой, хоть и дрожавшей и неопрятной ручкой — и исчезъ за угломъ дома. — Мнѣ не скоро подали лошадей,—и я успѣлъ предаться невеселымъ размышленіямъ по поводу неожиданной встрѣчи съ Мишей; совѣстно мнѣ стало, что я его такъ безучастно отпустилъ.—Наконецъ, я отправился дальше—и, отѣхавъ съ полверсты отъ станціи, замѣтилъ впереди на дорогѣ толпу людей, подвигавшуюся странной, словно размѣренной поступью. Я нагналъ эту толпу—и что же я увидѣлъ?—Человѣкъ двѣнадцать нищихъ, съ сумами черезъ плечо, шли по два въ рядъ, подпѣвая и подскакивая,—а впереди ихъ отплясывалъ Миша, топая въ ладъ и приговаривая: «Нѣчики чикалды, чукъ - чукъ - чукъ! Нѣчики чикалды, чукъ-чукъ-чукъ!»—Какъ только моя коляска поравнялась съ нимъ, и онъ увидалъ меня, — онъ тотчасъ закричалъ: «Ура! Стой-равняйся! во фронтъ, гвардія придорожная!»—Нищіе подхватили его крикъ и остановились, — а онъ, съ обычнымъ своимъ хохотомъ, вскочилъ на подножку коляски и опять крикнулъ: ура!—Это что же такое?—спросилъ я съ невольнымъ изумленіемъ.—Это?—Это моя команда, армія моя—все нищенки, Божіи люди, друзья - пріятеля! Каждый изъ нихъ, по вашей милости, чарочку пропустилъ,—и вотъ теперь мы всѣ радуемся и веселимся!.. Дяденька! Вѣдь только съ нищими, съ Божьими людьми и можно жить на свѣтѣ... ей Богу!—Я ничего ему не отвѣтилъ... но онъ мнѣ въ этотъ разъ показался такимъ добра-

комъ, лицо его выражало такое дѣтское простодушіе... Меня вдругъ что то какъ будто позарило, и въ сердцѣ кольнуло...— Садись ко мнѣ въ коляску,—сказалъ я ему.—Онъ изумился...— Какъ? въ коляску?—Садись, садись,—повторилъ я, — я хочу сдѣлать тебѣ предложеніе. Садись!.. Поѣдемъ со мной.

— Ну, какъ прикажете.—Онъ сѣлъ.—Ну, а вы, друзья любезные, товарищи почтенные,—прибавилъ онъ, обращаясь къ нищимъ,—прощайте! до свиданья!—Миша снялъ папаху и поклонился низко. Нищіе всѣ словно опѣшили... я велѣлъ кучеру погнать лошадей, и коляска покатилаь.

Вотъ что я хотѣлъ предложить Мишѣ: мнѣ вдругъ пришла мысль взять его ко мнѣ, въ деревенскій мой домъ, отстоявшій верстъ тридцать отъ той станціи,—спасти его, или, по крайней мѣрѣ, попытаться спасти его.—Слушай, Миша,—сказалъ я,—хочешь ты поселиться у меня?.. Будешь ты жить на всемъ на готовомъ, платье тебѣ сошьютъ, бѣлье: экипируютъ тебя какъ слѣдуетъ, и деньги тебѣ будутъ выдаваться на табакъ и на прочее, подъ однимъ только условіемъ: не пить вина!.. Согласенъ ты?—Миша даже испугался отъ радости; вытаращилъ глаза, побагровѣлъ и вдругъ, припавъ къ моему плечу, началъ цѣловать меня и повторять прерывистымъ голосомъ:—Дяденька... благодѣтель... Дай вамъ Богъ!.. Онъ расплакался наконецъ и, снявъ папаху, принялся утирать ею глаза, носъ и губы.—Смотри же,—замѣтилъ я ему,—помни условіе—вина не пить!—Да будь оно проклято! — воскликнулъ онъ, взмахнувъ обѣими руками, и, вслѣдствіе этого порывистаго движенія, еще сильнѣе обдалъ меня тѣмъ спиртнымъ запахомъ, которымъ онъ весь былъ пропитанъ... — Вѣдь, дяденька, еслибъ вы знали жизнь мою... Вѣдь еслибы не горе, судьба жестокая... За то теперь, клянусь, клянусь, я исправлюсь, я докажу... Дяденька, я никогда не лгалъ—спросите хоть кого... Я честный, но я несчастный человѣкъ, дяденька; ласки ни отъ кого не видѣлъ...

Тутъ онъ окончательно разрыдался. Я постарался его успокоить и успѣлъ въ томъ, потому что когда мы подѣхали къ моему дому, Миша уже давно спалъ мертвымъ сномъ, уронивъ голову ко мнѣ на колѣни.

V.

Ему тотчасъ опредѣлили особую комнату и тотчасъ же, первымъ дѣломъ, свели въ баню, что было совершенно необходимо. Всю его одежду, и кинжалъ, и папаху, и дырявые сапоги бережно сложили въ чуланъ, надѣли на него чистое бѣлье, туфли и кой-какое мое платье, которое, какъ это всегда бываетъ съ бѣдняками, какъ разъ пришлось по его сложенію и росту. Когда онъ пришелъ къ столу, вымытый, опрятный, свѣжій--- онъ казался до того умиленнымъ и счастливымъ, онъ весь сіялъ такою радостной благодарностью, что и я почувствовалъ умиленіе и радость... Его лицо совсѣмъ преобразилось... У двѣнадцатилѣтнихъ мальчиковъ бываютъ такія лица въ Свѣтлое Воскресенье, послѣ причастія, когда они, густо намаженные, въ новыхъ курточкахъ и накрахмаленныхъ воротничкахъ, идутъ христосоваться съ своими родителями. Миша, то и дѣло, осторожно и недоувѣрчиво ощупывалъ себя и все повторялъ:—Что это?.. Не на небесахъ ли я?—А на другой день объявилъ, что спать всю ночь не могъ отъ восхищенія! У меня въ домѣ жила тогда старушка тетка съ своей племянницей; обѣ онѣ чрезвычайно смутились, когда узнали о прибытіи Миши; онѣ не понимали, какъ я могъ пригласить его къ себѣ въ домъ! Очень уже худая шла о немъ слава. Но, во-первыхъ, я зналъ, что онъ всегда былъ очень вѣжливъ съ дамами; а во-вторыхъ, я надѣялся на его обѣщаніе исправиться. И дѣйствительно: въ первые два дня своего пребыванія подъ моимъ кровомъ Миша не только оправдалъ мои ожиданія, но превзошелъ ихъ; а дамъ моихъ онъ просто очаровалъ. Со старушкой онъ игралъ въ пикетъ, помогалъ ей разматывать гарусъ, показавъ ей два новыхъ пасіанса; племянницѣ, у которой былъ небольшой голосокъ, онъ аккомпанировалъ на фортепьяно, читалъ ей русскіе, французскіе стихи: рассказывалъ обѣимъ дамамъ веселые, но приличные анекдоты; словомъ, услуживалъ имъ всячески, такъ что онѣ неоднократно выражали мнѣ свое удивленіе, а старушка даже замѣтила, что вотъ какъ люди бываютъ иногда несправедливы... Чего, чего о немъ не говорили... а онъ та-

кой смирный да вѣжливый... бѣдный Миша! Правда, за столомъ «бѣдный Миша» какъ-то особенно торопливо облизывался всякій разъ, какъ только взглядывалъ на бутылку. Но стоило мнѣ погрозить пальцемъ, и онъ поднималъ глаза къверху и прижималъ руку къ сердцу... «Я молъ, клялся»... — Я теперь переродился! — увѣрялъ онъ меня. — Чтожъ, дай Богъ! — думалось мнѣ... Однако это перерожденіе продолжалось недолго.

Первые два дня онъ былъ очень разговорчивъ и веселъ. Но уже начиная съ третьяго дня, онъ какъ-то затихъ, хотя по прежнему держался возлѣ дамъ и занималъ ихъ. Не то грустное, не то задумчивое выраженіе стало пробѣгать по его лицу, да и самое лицо поблѣднѣло и будто похудѣло. — Тебѣ нездоровится? — спросилъ я его. — Да, — отвѣтилъ онъ; — голова немного болить. — На четвертый день онъ уже совсѣмъ умолкъ; все больше сидѣлъ въ уголку, сиротливо склонивъ голову, и своимъ унылымъ видомъ возбуждая чувство жалости въ обѣихъ дамахъ, которыя теперь, въ свою очередь, старались занимать его. За столомъ онъ ничего не ѣлъ, глядѣлъ въ тарелку и каталъ шарики. На пятый день чувство жалости въ дамахъ стало смѣняться другимъ: недовѣрчивостью и даже страхомъ. Миша одичалъ, сторонился отъ людей и все ходилъ вдоль стѣнъ, какъ бы крадучись и внезапно озираясь, точно кто его звалъ. И куда дѣвался розовый цвѣтъ его лица? Оно словно землю перекрылось. — Тебѣ все нездоровится? — спросилъ я его. — Нѣтъ, я здоровъ, — отвѣтилъ онъ отрывисто. — Скучно тебѣ? — Съ чего скучать! — А самъ отворачивается и въ глаза не глядитъ. — Иль опять затосковалъ? — На это онъ ничего не отвѣтилъ. Такъ прошли еще сутки. На слѣдующій день тетка прибѣжала ко мнѣ въ кабинетъ въ большомъ волненіи и объявила, что выѣдетъ съ племянницей изъ моего дома, если Миша долженъ въ немъ остаться. — Отчего такъ? — Да ужъ очень намъ жутко съ нимъ... Не человѣкъ, волкъ, какъ есть волкъ. Ходить, ходить, молчить — да смотреть такъ дико... Только что зубами не ляскаетъ. Катя, ты знаешь, у меня такая нервическая... Она же въ первый день очень имъ заинтересовалась... Мнѣ за нее страшно, да и за

себя...—Я не зналъ, что отвѣчать теткѣ. Не могъ я, однако, выгнать Мишу, котораго я же пригласилъ.

Онъ самъ вывелъ меня изъ затруднительнаго положенія.

Въ тотъ же день, — я еще не выходилъ изъ кабинета, — вдругъ слышу за собою глухой и злобный голосъ: — Николай Николаичъ, а Николай Николаичъ! — Я оглянулся: у двери стоялъ Миша, съ страшнымъ, потемнѣвшимъ, искаженнымъ лицомъ. — Николай Николаичъ! — повторилъ онъ... (уже не «дяденька»). — Чего тебѣ? — Отпустите меня... сейчасъ! — Что? — Отпустите меня, а то я бѣдъ надѣлаю, домъ подожгу, или кого зарѣжу. — Миша вдругъ затрясся. — Велите мнѣ мою одѣжу возвратить, да телѣгу дайте до шоссе довести, и денегъ какую ни на есть малость дайте! — Да развѣ ты чѣмъ недоволенъ? — началъ было я. — Не могу я такъ жить! — закричалъ онъ во всю голову. — Не могу я жить въ вашемъ барскомъ, треклятомъ домѣ! Мнѣ гадко, мнѣ совѣстно такъ спокойно жить!.. Какъ это только вы выносите! — То-есть, — перебилъ я въ свою очередь, — ты хочешь сказать — безъ вина жить ты не можешь... — Ну, да! ну, да! — закричалъ онъ опять, — только отпустите вы меня къ моимъ братьямъ, къ моимъ друзьямъ, къ нищимъ!.. Прочь отъ вашей дворянской приличной, противной породы! — Я хотѣлъ было напомнить ему объ его клятвенныхъ обѣщаніяхъ, но изступленное выраженіе Мишина лица, его сорвавшійся голосъ, судорожный трепетъ всѣхъ его членовъ, — все это было такъ ужасно, что я поспѣшилъ отдѣлаться отъ него; объявилъ ему, что ему сейчасъ выдадутъ его платье, заложатъ ему телѣгу, и, вынувъ изъ ящика двадцатицати-рублевую бумажку, положилъ ее на столъ. Миша начиналъ уже съ угрозой наступать на меня, — но тутъ вдругъ уперся, лицо его мгновенно перекошилось, вспыхнуло, онъ ударилъ себя въ грудь, слезы брызнули изъ глазъ, и пробормотавъ: — дяденька! ангелъ! вѣдь я погибшій человекъ! — спасибо! спасибо! — онъ схватилъ ассигнацію и выбѣжалъ вонъ.

Часъ спустя, онъ уже сидѣлъ въ телѣгѣ, снова одѣтый черкесомъ, снова розовый и веселый, и когда лошади тронулись съ мѣста, онъ гикнулъ, сорвалъ папаху съ головы и, размахивая ею надъ головою, отвѣшивалъ поклонъ за поклономъ. Передъ

самымъ отъѣздомъ онъ долго и крѣпко обнималъ меня и лепеталъ:—Благодѣтель, благодѣтель... спасти меня нельзя! -- Онъ даже къ дамамъ сбѣгалъ и ручки у нихъ перецѣловалъ, на колѣни становился, взывалъ къ Богу и прощенья просилъ! Катю я потомъ засталъ въ слезахъ.

А кучеръ, съ которымъ отправился Миша, вернувшись, доложилъ мнѣ, что довезъ его до перваго кабака на шоссе — и что тамъ «они и застряли, стали угощать всѣхъ безъ разбору — и скоро пришли въ безчувствіе».

Съ тѣхъ поръ я уже не встрѣчался съ Мишей, но окончательную судьбу его я узналъ слѣдующимъ образомъ.

VI.

Года три спустя, я опять находился у себя въ деревнѣ, вдругъ входитъ человѣкъ и докладываетъ, что меня спрашиваетъ госпожа Полтева. Я никакой госпожи Полтевой не зналъ, да и человѣкъ, докладывавшій мнѣ, почему то саркастически улыбнулся. На вопросительный мой взглядъ онъ отвѣчалъ, что барыня меня спрашиваетъ молодая, бѣдно одѣтая, и что пріѣхала она въ крестьянской телѣгѣ въ одну лошадь и сама правила! Я велѣлъ попросить госпожу Полтеву пожаловать ко мнѣ въ кабинетъ.

Я увидалъ женщину лѣтъ двадцати-пяти, въ одеждѣ мѣщанки, съ большимъ платкомъ на головѣ. Лицо простое, кругловатое, не лишенное пріятности; взглядъ понурый и немного печальный, движенія застѣнчивыя. — Вы госпожа Полтева? — спросилъ я, — и попросилъ ее сѣсть.

— Точно такъ-съ, — отвѣтила она тихимъ голосомъ и не садясь. — Я вдова вашего племянника Михаила Андреевича Полтева.

— Михаилъ Андреевичъ скончался? Давно ли? — Да сядьте, прошу васъ.

Она опустилась на стулъ.

— Второй мѣсяцъ пошелъ.

— И давно вы за него замужъ вышли?

— Я съ нимъ всего годъ пожила.

— Вы теперь откуда?

— Я изъ подъ Тулы... Село тамъ есть Знаменское-Глушково— можетъ быть, изволите знать. Я тамошняго дьячка дочь. Мы съ Михайломъ Андреичемъ тамъ и жили... Онъ у моего батюшки поселился. Всего годъ мы съ нимъ пожили.

У молодой женщины слегка задержались губы,—и она поднесла къ нимъ руку. Казалось, она собиралась заплакать—однако одолѣла себя, откашлянулась.

— Мнѣ Михайлъ Андреичъ покойный,—продолжала она,—передъ смертью наказалъ къ вамъ съѣздить; безпремѣнно, говорить, съѣзди! И сказалъ онъ мнѣ, чтобы я поблагодарила васъ за всю вашу доброту, и чтобы передала вамъ... вотъ эту... эту самую вещь (она достала изъ кармана небольшой свертокъ), которую онъ всегда при себѣ имѣлъ... И Михайлъ Андреичъ сказалъ—если вамъ угодно будетъ принять это на память—такъ чтобы вы не побрезговали... Другимъ, говорить, я ничѣмъ отдарить ихъ... то-есть, васъ... не могу...

Въ сверточкѣ находилась небольшая серебряная чашечка съ вензелемъ Мишиной матери. Эту чашечку я часто видалъ въ Мишиныхъ рукахъ,—и разъ онъ даже сказалъ мнѣ, говоря про одного бѣдняка, что, стало-быть, онъ голъ—коли у него ни чашечки, ни плошечки—а у меня вотъ хоть эта есть.

Я поблагодарилъ, взялъ чашечку и спросилъ: какой болѣзнью умеръ Миша?—Вѣроятно...

Тутъ я прикусилъ языкъ... но молодая женщина поняла мою недомолвку... Она быстро взглянула на меня, потомъ потупилась, печально улыбнулась и тотчасъ же промолвила: — Ахъ, нѣтъ! это ужъ онъ совсѣмъ бросилъ, съ тѣхъ поръ какъ со мной спознался... Только здоровье его было какое? Потерянное совсѣмъ. Какъ бросилъ пить, такъ сейчасъ болѣзнь его и обнаружилась. Такой онъ сталъ степенный; все отцу подсоблять хотѣлъ, по хозяйству аль въ огородѣ... или какая другая случалась работа... даромъ, что дворянскаго былъ роду. Только гдѣ силъ взять?.. Тоже по письменной части хотѣлъ было заниматься — часть эту, вамъ извѣстно, онъ зналъ прекрасно; но

руки у него тряслись—и перо держать онъ не могъ, какъ слѣдуетъ... Все себя упрекалъ, бѣлоручка, молъ я, никому добра не дѣлалъ, не помогаль, не трудился! Убивался онъ очень объ этомъ о самомъ... Говорилъ, что народъ, молъ, нашъ трудится—а мы что?.. Ахъ, Николай Николаичъ, хорошій онъ былъ человекъ—и меня любилъ... и я... Ахъ, извините...

Тутъ молодая женщина впрямъ заплакала. Хотѣлось бы мнѣ ее утѣшить—да не зналъ я, какъ.

— Остался ли у васъ ребѣночекъ? — спросилъ я наконецъ.

Она вздохнула.—Нѣтъ, не остался... Да гдѣ ужъ тутъ?—И слезы полились еще сильнѣе.

Такъ вотъ чѣмъ разрѣшились Мишины скитанья по мытарствамъ, завершилъ старикъ П. свой рассказъ. — Вы, господа, конечно, согласитесь со мною, что я имѣлъ право назвать его отчаяннымъ; но, вѣроятно, согласитесь также и въ томъ, что онъ не походилъ на нынѣшнихъ отчаянныхъ, хотя, полагать надо, иной философъ и нашелъ бы родственныя черты между имъ и ими.—И тамъ, и тутъ, жажда самоистребленія, тоска, неудовлетворенность... А съ чего это все берется, предоставляю судить—именно, философу.

Ив. Тургеневъ.

Буживаль.—Ноябрь. 1881.

Неграмотный.

Изъ Владислава Сырокомли.

I.

Не завидую на свѣтѣ никому и никогда,
Только мнѣ на васъ завидно, грамотей-господа!
Деревенскому сироткѣ, сжалась, сдѣлайте добро,
Дайте листъ бумаги бѣлой да гусиное перо,
И писать меня учите хорошенько, поскорѣй,

Чтобъ перо мое летало яркой молніи быстрѣй,
 Чтобы могъ я на бумагѣ разсказать вамъ обо всемъ:
 Какъ трудимся, какъ страдаемъ, какъ тяжелый крестъ несемъ.
 Всѣ мечты мои, всѣ думы описалъ бы на листѣ,
 Цѣлый міръ изобразилъ бы въ безпредѣльной красотѣ.
 Но теперь мои мечтанья исчезаютъ безъ слѣда:
 Я — неграмотный, я — неучъ. Поучите, господа!

II.

Описалъ бы я сначала, что мнѣ снится. Эти сны
 Такъ роскошны, такъ чудесны! — Вотъ, прекраснѣе весны,
 Молодая поселянка жнетъ безъ устали серпомъ;
 На нее взираетъ ангелъ въ небѣ ярко-голубомъ.
 Вѣрно, жницу онъ жалѣетъ? И, забывъ гнѣздо свое,
 Вѣрно, жаворонокъ звонко распѣваетъ для нее?..
 Описалъ бы я, какъ зорька въ ночь лѣтнюю горитъ,
 Какъ, шумя между камнями, что-то рѣчка говоритъ,
 Какъ на нивѣ рожь, волнуясь, съ вѣтромъ шепчется тайкомъ,
 Какъ нашъ колоколъ церковный ударяетъ языкомъ, —
 Онъ молиться заставляетъ. Я молюсь, но вотъ бѣда:
 Я — неграмотный, я — неучъ. Поучите, господа!

III.

Благородное искусство — записать свои слова,
 Все, что думаетъ-гадаетъ, замышляетъ голова, —
 Все, что въ сердцѣ наболѣло, — и при помощи пера
 Возвѣщать святую правду и величіе добра.
 Хорошо, отрадно также на язвительную рѣчь
 Отвѣчать перомъ: сдумѣетъ поразить оно какъ мечъ.
 Часто слышу я насмѣшки, но ученому врагу,
 Хоть кипитъ мое сердечко, отвѣчать я не могу.
 И напрасно я волнуюсь, и страдаю, и дрожу,
 И, перомъ скрипя, зигзаги безъ сознанья вывожу.
 Надо мной смѣются люди. Я краснѣю отъ стыда:
 Я — неграмотный, я — неучъ. Поучите, господа!

IV.

Хорошо быть грамотеемъ! Грамотеи — всѣ жида,
 Грамотеи — людѣ чиновный, наполняющій суды.
 Вотъ они и пишутъ дружно, на землѣ имъ — свѣтлый рай,
 А отъ этого писанья ты ложись и умирай!
 Дайте мнѣ перо скорѣе, научите имъ владѣть,—
 За народъ писать я буду, для него хочу радѣть;
 Онъ найдетъ во мнѣ защиту отъ злодѣя и глупца,
 И Евангеліе спишу я съ первой буквы до конца...
 Охъ ты, гусь мой бѣлокрылый! Я тебѣ не дѣлалъ зла,
 Я кормилъ тебя: за это дай перо мнѣ изъ крыла,
 Дай мнѣ крылья — оба, оба! Полечу на нихъ туда,
 Гдѣ всѣ люди — грамотеи: и народъ, и господа.

Л. Трефолевъ.

Родіонъ радѣтель.

I.

Вспомнимъ, что можемъ, о нашихъ простыхъ, истинныхъ, добрыхъ, искреннихъ радѣтеляхъ о чистотѣ народной совѣсти, борцахъ съ народнымъ невѣжествомъ и дикостью, о людяхъ, вносившихъ въ темную народную среду хотя крошечный, но несомнѣнно истинный свѣтъ.

Сижу я во время одной изъ моихъ поѣздокъ въ пустомъ номерѣ какой-то гостиницы, въ какомъ-то городѣ,—не то на Камѣ, не то на Волгѣ, не то на Оби, и ожидаю утра, чтобы ѣхать куда-то, а куда именно,—хорошенько уже не помню. Въ рукахъ у меня старый номеръ «Губернскихъ Вѣдомостей», такъ какъ никакой иной газеты въ гостиницѣ не оказалось. Въ неофициальномъ отдѣлѣ читаю я сказаніе объ одной древней, чудотворной иконѣ, и въ моемъ воображеніи рисуется такая картина.

II.

Дѣло это было «въ лѣто отъ міробытія 7393, а по Р. Христовомъ 1685 года маія въ 22 день, при державѣ благовѣрныхъ государей и великихъ князей Іоанна и Петра Алексѣвичей, и при патріархѣ Адріанѣ». Въ эти далекія отъ насъ времена, въ тѣхъ мѣстахъ, которыя въ настоящее время лежатъ въ Сольвычегодскомъ уѣздѣ, были дремучіе, темные лѣса, съ разбросанными тамъ и сямъ поселками. Въ дикихъ мѣстахъ проживалъ дикій народъ, сохранившій множество языческихъ преданій и обычаевъ. Если и въ наши времена въ Вятской губерніи сохранился обычай весеннихъ игрищъ «между селъ», такъ въ такой глуши, да притомъ двѣсти слишкомъ лѣтъ назадъ, дикіе языческіе обычаи держались еще въ полной силѣ, а постоянныя связи съ дремучимъ лѣсомъ, съ дикимъ и немилосерднымъ звѣрьемъ, не способствовали смятенію нравовъ, внося во всѣ бытовыя отношенія ничѣмъ несмиряемую грубость проявленія животныхъ инстинктовъ. Кое-гдѣ были бѣдныя деревянныя церковки, съ священниками, жившими почти такимъ же крестьянскимъ обычаемъ, какъ и само дикое лѣсное стадо, которое они пасли. Но что могли значить эти кое-гдѣ разбросанныя церковки, когда «кабакъ» уже пробрался и въ эти глухія мѣста, пробрался со всѣми своими антихристовыми вліяніями, и не только кабакъ пробрался, но и «чортово зелье—табакъ» уже знакомо было еще полудикому человѣку. Можно представить, какое вліяніе эти новшества—чортово зелье и кабакъ—могли имѣть на людей, въ жизни которыхъ господствовали еще въ самой сильной степени только одни инстинктивныя побужденія? Очевидно, напорошничко спивался и безобразничалъ и отъ новшескихъ гнусностей, и отъ языческихъ привычекъ, и вообще «утопалъ во грѣхахъ». Болѣзни, смерти, скотскіе падежи и всякое разстройство шли параллельно успѣхамъ кабака, не разъединяемаго съ чортовымъ зельемъ. Житіе было темное, пьяное, распутное; непристойное слово гудѣло и въ кабакахъ, и въ семьяхъ, и все шло въ этой жизни въ рознь, къ худу и ко грѣху.

Но былъ среди всѣхъ этихъ погрязшихъ во грѣхѣ «мужиченковъ» умный-преумный крестьянинъ, по имени Родіонъ. Онъ всею душой страдалъ и печалился обо всѣхъ своихъ гибнущихъ братіяхъ, тосковалъ, явственно видѣлъ, какъ они всѣ гнѣвять Бога, что Богъ грозитъ на нихъ большимъ наказаніемъ за всѣ ихъ животныя безобразія, — зналъ, что нельзя оставить всѣ эти гибнущія, христіанскія души безъ помощи, что надобно спасать эти души, если видишь, что онѣ погибаютъ, что нельзя молчать и быть равнодушнымъ ко всему этому, что не даромъ какой-то «невидимый гласъ» укоряетъ его и дни и ночи во грѣхахъ людей, среди которыхъ онъ живетъ. Надобно спасать ихъ отъ гибели. Ему дана эта печаль отъ Бога, онъ не можетъ ее отогнать отъ себя, и вотъ впечатлительный «Родіонъ-земледѣлецъ» неотразимо чувствуетъ, что ему пришло время исполнить Божіе повелѣніе.

Раннимъ майскимъ утромъ, на зорькѣ, межъ кустовъ и высокихъ деревьевъ, по лѣснымъ тропинкамъ, шла въ разбродъ, возвращаясь въ деревню, нагулявшаяся за ночь «между селъ» дикообразная толпа мужиковъ и бабъ. По тамошнимъ мѣстамъ май мѣсяцъ — начало весны, первые дни весенняго тепла, самое время разыграться нечестивымъ мужиченкамъ. И вотъ шли растрепанные, иногда въ разорванныхъ платкахъ, съ изорванными сарафанами бабы; шли онѣ кустами, словно стыдились мужиковъ, хотя поминутно и выглядывали оттуда, и голосами бабьими пищали, а у иной безстыжей даже еще охота не пропала и пѣсни пѣтъ: вдругъ захлопаетъ въ ладоши, заведетъ голосомъ, только прочія изъ всѣхъ кустовъ, изъ разныхъ глухихъ мѣстъ загалдятъ на нее, осмѣютъ. Мужики плелись съ одурѣлыми лицами, хотъ и изъ нихъ были неугомонные и сильно еще одурманенные сивухой. Солнце начало всходить; яркій, по низу, межъ кустовъ и деревьевъ промелькнувшій лучъ говорилъ, что начинается бѣлый день, и какъ бы стыдилъ распутную толпу.

— Братцы! — воскликнулъ одинъ изъ распутниковъ, еле волочившій ноги, — а вѣдь, это Родіонъ лежитъ! Никакъ померъ!

Родіонъ, бездыханный, со сложенными на груди руками, недвижимо, какъ покойникъ, лежалъ при дорогѣ. Лежалъ на спинѣ, съ вытянутыми ногами, обутыми въ лапти; шапка валялась въ сторонѣ. Какъ вкопанный, остановился около Родіона одинъ изъ распутниковъ и стоялъ, какъ пень, а за нимъ стали останавливаться и другіе, и изъ лѣсу стали выходить и приближаться къ мужикамъ разгульные звѣрки — бабенки и дѣвки. Все это сходилось и скапливалось около бездыханнаго Родіона, и стояла толпа, пораженная его смертью. Одна уже смерть Родіона отшибла у толпы всѣ ея нечестивыя мысли. Родіонъ не похожъ былъ на нихъ ни въ чемъ: давно онъ имъ грозился, сулилъ что-то, твердилъ о Богѣ, да не слушала его звѣрообразная толпа. И вотъ онъ скончался и лежитъ съ такимъ праведнымъ лицомъ... Навѣрное, ангеловъ Божіихъ видить!

— По-ме-ръ! — шепотомъ, на какой способны медвѣди, передавалось изъ устъ въ уста, и толпа продолжала стоять, заражаясь совсѣмъ иными мыслями, чѣмъ тѣ, съ которыми шла домой послѣ игрища.

И вдругъ бездыханный Родіонъ, оставаясь бездыханнымъ, медленно поднялъ мертвую руку, вытянулъ ее вверхъ и медленно опустилъ на лобъ, потомъ на грудь, словомъ, осѣнилъ себя большимъ крестомъ, и продолжалъ лежать бездыханно. Эта неожиданность совсѣмъ преобразила настроеніе толпы: передъ ней совершается что-то чудесное, невиданное, что-то имѣющее связь съ небесами, которыя Родіонъ, очевидно, видитъ: душа у него тамъ, на небесахъ, у Бога, а здѣсь, на землѣ, лежитъ только тѣло. Говорено было объ этомъ звѣрообразнымъ дуботолкамъ, что есть тутъ большая разница, не хотѣли вникнуть, а теперь вотъ явное дѣло — ушла душа на небо, она у Бога, въ раю, а здѣсь только тѣло и, стало быть, надобно за душу-то побаиваться! Всѣ распутныя мысли исчезли въ толпѣ, какъ дымъ, и у всѣхъ въ воображеніи были небеса, ангелы, Богъ, сіяніе и золотыя ризы угодниковъ. Орда звѣрообразнаго народа затихла, «перепужалась» близости суровыхъ взглядовъ Бога, которые она теперь явственно ощу-

щала на своей шкурѣ, даже прямо на самомъ темени, и каждый ясно слышалъ, какъ у каждого и во всей толпѣ мужиковъ и бабъ колотить, какъ молоткомъ, испуганное сердце.

Въ эту минуту Родіонъ открылъ глаза, и хотя происшествіе происходило 200 лѣтъ тому назадъ, но я, сидя съ газетой въ гостиницѣ уже въ наши дни, во второй половинѣ девятнадцатаго вѣка, не смотря на огромное разстояніе времени, раздѣлявшее меня отъ Родіона, какъ будто мелькомъ примѣтилъ, что Родіонъ былъ все время не совсѣмъ бездыханенъ, и что у него какъ будто бы по временамъ шевелилось что-то въ глазу, точно онъ хотѣлъ посмотрѣть, каково-то настроеніе распутной орды людей, и лежалъ, ожидая, пока орда окончательно преобразится въ своемъ распутномъ настроеніи, испугается грѣха, почувствуетъ страхъ наказанія и, вообще, когда у этихъ истукановъ начнутъ, наконецъ, трястись даже поджилки. Очень можетъ быть, что я дѣлаю на Родіона недобросовѣстный поклепъ, и каюсь въ этомъ; но несомнѣнно то, что Родіонъ открылъ глаза именно въ ту самую минуту, не пропустивъ лишняго мгновенія, когда волки, разбредавшіеся съ игрища, превратились душевно въ самое кроткое стадо овецъ.

— Живъ!—не медвѣжьимъ шепотомъ, а шелестомъ листьевъ прошелестѣла эта вѣсть по всей толпѣ изъ конца въ конецъ, не разъ и не два.

Родіонъ хоть и ожилъ, но продолжалъ лежать, крестился широкимъ, медленнымъ крестомъ и шепталъ такъ, что всѣ слышали: «Пресвятая Владычица Богородица, спаси насъ! Спаси насъ, Пресвятая Богородица!...» Толпа съ каждою минутой становилась чувствительнѣй, нѣжнѣй, предчувствуя, что съ Родіономъ совершилось что-то чудесное; иные стали бережно подходить къ нему, помогая оправиться, встать на ноги, подняли и надѣли шапку, и все время Родіонъ, какъ бы пораженный чѣмъ-то необычайнымъ, ни на кого не глядя и весь поглощенный какою-то страшною мыслью, не переставалъ креститься и шептать: «Пресвятая Богородица, спаси насъ!» Наконецъ онъ какъ будто что-то вспомнилъ, оживился, взгляды

его прояснѣлъ, засверкалъ какимъ-то гнѣвнымъ выраженіемъ и онъ твердо сказалъ толпѣ:

— Всѣ идите за мной! Несу вамъ повелѣнія Пресвятыя Богородицы! Всѣ за мной идите!

Толпа, которая разбрелась бы по разнымъ мелкимъ поселкамъ, хлынула за нимъ, какъ одинъ человѣкъ. Родіонъ шелъ безъ шапки, впередъ всѣхъ, постоянно крестился и громко говорилъ: «Пресвятая Богородица, спаси насъ!» А за нимъ стала также повторять этотъ возгласъ и вся масса народа. Чѣмъ дальше шли, тѣмъ шли скорѣе, тѣмъ болѣе всѣ возбуждались, и скоро вся масса народу ввалила въ село Рождественское, стоявшее невдалекѣ отъ мѣста воскресенія Родіона.

— Въ церковь Божію!—командовалъ Родіонъ.—Бей въ колоколь! Бѣги за священникомъ!

Ударъ въ колоколь, какъ набатъ, всполошилъ все полусонное село. Священникъ не успѣлъ расчесать свои спутанные волосы и бороду, хотя и взялся уже было за деревянную гребенку такихъ размѣровъ, о какихъ теперь не имѣютъ уже понятія, выскочилъ съ просонковъ въ чемъ былъ и безъ шапки въ лаптяхъ, бросился къ деревянной и бѣдной церковкѣ. Возбужденный чѣмъ-то неожиданнымъ и грознымъ, грѣховодникъ-парень дулъ въ колоколь безъ милосердія. Только-что поднявшееся солнце по низу широкими, ослѣпительными лучами освѣщало улицу, кишашую полураздѣтымъ, лохматымъ, босымъ народомъ. Все это въ испугѣ валило къ церкви, затѣмъ вломилось внутрь храма и съ біеніемъ сердца, въ мертвомъ молчаніи, ожидало, что будетъ. Священникъ въ тревогѣ облачился въ старую рясу, которая у него была въ алтарѣ, въ испугѣ вошелъ на амвонъ и въ испугѣ спросилъ толпу:

— Господи, помилуй насъ! Что приключилось? Не несчастіе ли какое?

— Отъ Пресвятыя Богородицы принесъ я, Родивонъ, объявленіе всему крестьянству! Сама Пречистая повелѣла мнѣ: «Иди въ Рождество и скажи священству и мірскимъ людямъ, что Я

тебѣ повелѣла!» Не свои слова говорю, а по повелѣнію Пречистой Божіей Матери!

Родіонъ сказалъ это такъ твердо и былъ въ такомъ восторженномъ состояніи, что никто не сомнѣвался ни въ одномъ его словѣ. Священникъ волновался, дрожалъ и едва могъ сказать Родіону:

— Поднимись на ступеньку повыше: слышишье будетъ!

И, блѣдный, крестился и шепталъ молитвы, да и вся церковь крестилась и шептала молитвы.

— Пошелъ я третьеводни въ лѣсъ, — понадобилось лѣску для работы, и шелъ такимъ родомъ долго и зашелъ въ нашъ большой дремучій лѣсъ, — началъ Родіонъ свой рассказъ. — Былъ я задумавшись о грѣхахъ нашихъ и крѣпко преогорчился нашими мірскими непотребствами! Забывши дѣло, иду въ чащѣ, ни на что не взираю. И вдругъ меня какъ лютымъ холодомъ обдало; содрогнулся я, опомнился и вижу: несутся на меня по тропинкѣ пренеобыкновенные изувѣры и звѣрь промежу нихъ. Несутся, какъ вихорь, двое истукановъ. Не то они люди, не то невѣдомо что, — длинные, какъ деревья, и лица страшенныя-престрашенныя. Были ли у нихъ ноги или руки, — не въ примѣту мнѣ было; а что огромные, глазастые и рты у нихъ огромные, — это видѣлъ; и видѣлъ еще, что волосищи у нихъ длинные, отъ маковки до земли и еще по земли хлещутся. Но только одинъ изъ истукановъ, красный весь отъ маковки до земли, а другой весь черный, и промежу нихъ «ниже звѣрь, ниже скотина, четвероногое». Какъ бурунь нанеслись на меня, и возопилъ я въ страхѣ: «Кто вы?» — а они ужъ обогнали меня, на мой окликъ обернули свои страшенныя хари, разинули рты и стали рычать: рыгнулъ черный — точно дубъ столѣтній переломилъ въ щепки, потомъ красный рыгнулъ — еще того страшнѣй; а потомъ четвероногое обернулось и по низу такое рычаніе пустило, что притиснулся я со страху къ дереву и не могу отойти. И слѣдъ ихъ простылъ, а рычали они еще долго, и такъ страшно, что какъ бы окаменѣлъ я и мертвъ сталъ. Прижался къ дереву и стою бездыханно.

Бездыханно стояла и вся толпа народа, наполнявшего церковь.

— Прижался я къ дереву и, будучи въ страхѣ и ужасѣ недвижимъ, замѣчаю въ дремучемъ лѣсу свѣтъ бѣлый, какъ снѣгъ, и вижу, что идетъ это бѣлое на меня, и все ближе, ближе... Пришелъ и сталъ насупроти неподалеку: не то женскъ полъ, не то мужескъ, не понять мнѣ было,—потому одѣтъ былъ тотъ человѣкъ, пресвѣтлаго лика, весь сверху до низу въ бѣлое, словно изъ пушистаго снѣга, одѣяніе, а на головѣ, какъ платокъ спущенъ, плащаница была. Затрепеталь я сего ангелоподобнаго видѣнія, но свѣтлообразный сказалъ мнѣ: «Миръ тебѣ, Родіоне!»—и потеплѣло мнѣ сразу отъ этого гласу ангельскаго и отъ слова ангельскаго: «Миръ тебѣ, Родіоне!» Стало быть, не на худое Господь посылаетъ мнѣ видѣніе ангелоподобное, ежели такъ ласково поздоровался. Обрадовался я, услышавши, что по имени меня свѣтлоангельскій образъ обозвалъ, и миръ посулилъ, и малость духомъ моимъ укрѣпился. И вопросы меня образъ ангельскій. «Что еси видѣлъ по пути семъ прежде меня?» Окрѣпши духомъ и безъ страха отвѣчалъ я образу ангельскому, какъ и что я видалъ и какихъ изувѣровъ встрѣтилъ и между ними четвероногое. И тогда свѣтлообразный съ сокрушеніемъ сердца изрекъ мнѣ тако...

Здѣсь Родіонъ остановился, выпрямился и въ сильномъ возбужденіи обратился одновременно къ толпѣ и къ священнику:

— Слушайте теперь, православные! Словечка не пророните изъ свѣтлоангельскихъ словъ! Все про насъ было сказано!

Родіонъ даже руку поднялъ надъ толпой и какъ бы грозилъ ей, находясь самъ въ величайшемъ возбужденіи.

— Двое сутокъ я бездыханнымъ отъ этихъ пречистыхъ словъ лежалъ! Слушайте всѣ, міряне! Съ небеси тѣ слова идутъ къ вамъ!

Глубокіе вздохи, какъ темныя тучи по небу, носились надъ удрученною грѣхами толпой, наполнявшею маленькую церковь.

— Съ сокрушеніемъ, съ прискорбіемъ и съ воздыханіемъ

свѣтлоангельскій образъ сказалъ мнѣ такія слова: про чернаго изувѣра-истукана сказалъ: «это немощь черная на людей вашихъ», а про огненно-краснаго: «это,—сказалъ,—немощь—«огневица» называемая, на васъ же, на людей, а четвероногое—немощь на скотину. И все это Господь попуститъ на васъ». Слушайте, міряне многогрѣшные! «Все это,—говорить,—на васъ, на всѣхъ васъ Господь попускаетъ за грѣхи ваши. За непотребную брань вашу ежеминутную, за жадность, за то, что и въ праздникъ идете на работу, лишь бы деньги получить и пропить, а не Богу отдать праздничный-то день. За братонелюбіе, за пьянство и за прелестное 'питіе табачное!» Все наше богомерзкое распутное житіе пересчиталъ свѣтлоангельскій образъ, даже до малости послѣдней, ни про единого изъ насъ не забыто. Міряне! Не забыто ни про единую душу, ни единого грѣха! Помните это, безумные! «Иди,—говорилъ мнѣ свѣтлоангельскій образъ,—иди ты и скажуй во всѣхъ вашихъ мѣстахъ, всему народу, чтобы духовнаго чина и мірскіе люди отнюдь непотребною бранью не бранились и великихъ грѣховъ не творили, въ праздники бы Господни и Богоматери не работали, другъ друга бы любили и табачнаго питія не употребляли, и молились бы Богу, съ любовію, другъ за друга, молились бы о своемъ благоденствіи и объ оставленіи грѣховъ». «Скажи,—говорить,—имъ всѣмъ вашимъ по всей округѣ: еще, говоритъ, послушаютъ гласу Божію, тогда Господь отвратитъ отъ нихъ гнѣвъ Свой праведный, и станутъ они жить въ благоденствіи и изобиліи плодовъ земныхъ! Еще же не послушаются и богомерзкихъ грѣховъ не оставляютъ...»

Родіонъ опять угрожающе поднялъ руку и громко, на всю церковку, воскликнулъ:

— Слушайте эти слова на оба уха! Со страхомъ и трепетомъ и всѣмъ сердцемъ припадите къ повелѣнію!

Тяжкимъ вздохомъ охнула толпа, сдвинулась плотною массой около Родіона и вперила въ него пронизанные трепетомъ взоры.

— «Аще же,—вопіялъ Родіонъ, не опуская руки,—не послу-

шають они меня и отъ богомерзкихъ грѣховъ не отстанутъ, тогда не изыдутъ отъ нихъ изувѣры истуканные, черныи, красно-огненный и четвероногое! Будутъ на нихъ моры великіе, на скотъ падежи, будутъ засухи и дожди безвременные, и хлѣба будетъ недородъ и голодъ непрерывный. Такожде яви мнѣ Господь!» Это мнѣ свѣтлозарный образъ, міряне, повелѣлъ! А кто онъ?

Родіонъ находился почти въ экстазѣ.

— Онъ здѣсь, во храмѣ! Образъ Пресвятыя Богородицы! Она, матушка, посланница, Сама отъ Господа свизошла къ намъ! Она, Она мнѣ повелѣла взять Ея праведный обликъ изъ этого храма: «Иди, Родіонъ, въ Рождествено, тамъ, въ притворѣ церковномъ, на десной сторонѣ, въ углу трапезной, въ забвеніи образъ честнаго Моего Успенія». Идите, глядите! Я не свои слова говорю вамъ!

Толпа хлынула въ притворъ, загалдѣла, заволновалась, а Родіонъ продолжалъ вопіять:

— И повелѣла: «возьми сей образъ...»

— Есть, есть! Вотъ Она, Царица небесная!

Трепетъ, рыданія, стонъ и вой кликушъ смѣшивались съ криками толпы, выламывавшейся изъ притвора съ высокоподнятою вверхъ запыленною иконою.

— Она, Она, Пресвятая!—гудѣла толпа.

— «И возьми, повелѣла,—вопіялъ Родіонъ среди необычайнаго всеобщаго волненія,—два ко-ло-кола...» Слушайте, міряне! «Два колокола возьми, всѣхъ убогихъ и сиротъ собери и иди!» Идите за мной, православные міряне!

Родіонъ самъ исчезнулъ въ толпѣ и быстро пошелъ изъ церкви; за нимъ, впопыхахъ, побѣжалъ священникъ и вся масса народа хлынула вонъ: нищіе и убогіе, калѣки, всѣ, конечно, собравшіеся тотчасъ послѣ набата,—все это тронулось за иконою. Колокола, обрубленные съ маленькой колокольни, двигались вмѣстѣ съ толпой, качаясь на чьихъ-то гигантскихъ спинахъ. Вся масса была въ глубокомъ потрясеніи, охала, стонала, плакала; блудныя бабы рвали на себѣ рубашки, падали на дорогу въ истерикѣ; ребятишки выли и мчались въ общемъ

бурномъ потокѣ людей. Все это двигалось за Родіономъ, впереди котораго несли икону. Самовольно выхвачены были изъ церкви хоругви, и здоровенные дѣтины мчались съ ними вслѣдъ за иконой, развѣвая ихъ длинныя кисти по вѣтру. Вся толпа стремительно неслась далеко за селомъ, по тропинкамъ дремучаго лѣса, пока не дошла до высокаго, обрывистаго берега между двухъ рѣчекъ.

— Здѣсь!—произнесъ Родіонъ и сталъ.—Здѣсь повелѣла Владычица часовню рубить, а первое-на-перво крестъ на лугахъ поставить, а послѣ часовни храмъ долженъ быть, а потомъ и монастырь будетъ! Ставь, ребята, крестъ! Ставь часовню! Повелѣла Сама Владычица-Богородица!

Трескъ пошелъ по лѣсу, застучали топоры, заскрипѣли телеги. «Собращеся,—сказано въ сказаніи,—все множество людское, овни лѣсъ сѣкуще, инѣи возяще, другіе же на мѣстѣ созидающе». И въ этой суматохѣ Родіонъ все еще доказывалъ о видѣніи: объяснилъ, что праздники будутъ три раза въ годъ, и, повѣдавъ все повелѣніе Божіе, повѣдалъ наконецъ и о себѣ нѣчто потрясающее.

— Ужаснулся я отъ тѣхъ страшныхъ наказаній Божіихъ! Ждутъ насъ великія истязанія, ежели хотя малостию забудемъ Божіе повелѣніе! Вѣдь какъ и меня-то грѣшнаго Господь наказалъ! Повелѣла мнѣ Царица небесная и вознеслась. Испужался я грѣховъ нашихъ, побѣждалъ народу объявить Божію грозу. Бѣгу, да и запнись за пень, за колоду запнулся «и паде и разби руку свою и избралися непотребнымъ словомъ, и абіе услыша шумъ и вѣтеръ ужасный и поднявши меня вверхъ, удари о землю, и отъ того ударенія лежалъ я впѣума два дни и двѣ ночи, и егда въ разумъ прииде, пойде въ село Рождественно...»

Въ этомъ бездыханномъ состояніи нашелъ Родіона народъ. Все теперь было для всѣхъ поразительно ясно. Глубокое сознаніе грѣховъ, страхъ жестокаго наказанія, обѣщаніе милосердія Божія,—все это подняло силы толпы до высшей степени. Работа кипѣла и все «множество людское *единымъ днемъ* поставило на лугу крестъ, а на горѣ *создаша часовню*», единымъ днемъ».

«И совершивши сіе, поставиша въ ней (часовнѣ) образъ и молировавшие довольно, съ радостью отъидоша въ дома своя, славяще Пречистую!...»

И домой воротились далеко уже не такими, какими были вчера. А Родіонъ, обрадованный всѣмъ этимъ, добравшись до своей хибарки, со слезами радости на глазахъ сталъ лицомъ къ темному лику образа и, весь трепещущій отъ счастья, прошепталъ:

— Слава Тебѣ, Господи! Образумились таки мои грѣководники! Запало имъ въ совѣсть чистое зерно! Пообдумаютъ они теперича и о своей чистотѣ, и о любви къ ближнему, и о сирыхъ и убогихъ. Слава тебѣ, Пречистая Богородице!

Потомъ онъ отворилъ окошко, выглянулъ на улицу и послушалъ. Тишина стояла надъ деревней небывалая. Попробовала было одна необузданная бабенка пѣсню запѣть, но тотчасъ-же получила отъ своего мужа такой тумакъ, что сразу образумилась и безъ слова, какъ мышь, шмыгнула съ крыльца въ домъ.

Только этотъ тумакъ и слышалъ Родіонъ въ тишинѣ этого вечера и радовался:

— Ишь какая благодать! Пущай образумятся, обдумаютъ! Пущай!

III.

«Видѣніе», изображенное въ этомъ отрывкѣ, написано вполне точно съ церковною записью. Начиная съ появленія двухъ изувѣровъ и кончая постройкой часовни, все, что касается собственно видѣнія, передано безъ всякихъ прибавленій; измѣненъ только языкъ, но въ рѣчахъ свѣтлоангельскаго образа ничего не прибавлено и не убавлено. Именно эти рѣчи—ихъ скорбящій и человѣколюбивый смыслъ и заслуживаютъ особеннаго вниманія. Родіонъ могъ воочию видѣть все то, что видѣлъ, и слышать все, что слышалъ; онъ могъ въ самомъ дѣлѣ лежать два дня въ обморокѣ, но чтобы всѣ эти видѣнія, всѣ эти галлюцинаціи могли имѣть такое опредѣленнѣйшее содержаніе, нужно было, чтобы самъ Родіонъ крѣпко

страдалъ о народномъ разстройствѣ, мучился бы этимъ, думалъ бы о томъ, какъ высвободить народъ изъ грѣха, думалъ до нервнаго разстройства, до галлюцинаціи.

Въ этомъ видѣніи нѣтъ ни одного слова и ни одной чудовищной неожиданности, которыя бы имѣли источникомъ просто разстроенное воображеніе. Ничего лишняго, ненужнаго, ничего такого, о чемъ бы не болѣла душа Родіонова: съ тщательностью перечислены всѣ пороки мірянъ, которые могъ понимать Родіонъ и могъ ими возмущаться, страдать отъ нихъ; тщательно обозначены пути къ исправленію, къ освѣтленію темныхъ душъ и порочныхъ сердецъ; указаны также съ поразительною ясностью всѣ тѣ наказанія, которыя и Родіонъ, и народъ считали самыми жестокими. Здѣсь нѣтъ капли фантазіи, а есть самое опредѣленное выраженіе скорби о ближнемъ, ясно очерченной во всѣхъ подробностяхъ.

Эта ясность, опредѣленность въ пониманіи своего дѣла по отношенію къ ближнему, составляютъ непремѣнную черту всѣхъ нашихъ истинныхъ радѣтелей и борцовъ съ народнымъ невѣжествомъ и горемъ. Впечатлительный къ житейскимъ неправдамъ человѣкъ, чуткая душа, разъ она охвачена понятою ею скорбью, не уходитъ отъ зла, но стремится выдѣлить себя изъ оскорбляющей его среды, а именно потому, что ему Богъ далъ понять чужое безобразіе и грѣхъ, идетъ прямо сюда, въ эту разстроенную, грѣшную, грязную среду и беретъ на себя всю черную работу высвобожденія этихъ людей отъ ихъ несчастія и горя. Человѣкъ, который не жалѣетъ своей плоти, ходитъ въ лютый морозъ босикомъ или заковываетъ себя въ вериги, съ тѣмъ, чтобъ, измодивъ плоть, сохранить собственную свою душу въ чистотѣ, это не святой, а юродивый, Божій человѣкъ. Святой тотъ, кто работаетъ неустанно для бѣдныхъ, темныхъ и несчастныхъ людей. Съ давнихъ временъ всякій чистый, умный, впечатлительный русскій человѣкъ, разъ его покорили мысли о своемъ душевномъ страданіи, непременно переноситъ эти мысли на общія народныя страданія, и находитъ выходъ своимъ силамъ и своимъ душевнымъ побужденіямъ непременно въ черной работѣ среди безпомощныхъ,

темныхъ и несчастныхъ людей. Даже и въ наше время, помимо проявленія свойствъ того же типа и въ высшихъ кругахъ интеллигенціи, и собственно въ народной средѣ, интеллигентный человѣкъ живетъ и дѣйствуетъ почти такъ же реально и практически на пользу ближнему, какъ дѣйствовалъ и Родіонъ двѣсти лѣтъ тому назадъ, дѣйствовалъ, конечно, сообразно окружавшей его обстановкѣ и средствамъ дѣйствія.

Въ моихъ замѣткахъ есть слѣдующая вырѣзка изъ одной провинціальной газеты, относящаяся къ 1885 г. Лѣтомъ въ Вятской губерніи была сильная засуха и суевѣрный народъ приписалъ это бѣдствіе тому обстоятельству, что полиція приостановила богослуженіе въ церкви отца Стефана. Отецъ же Стефанъ и поселился среди суевѣрнаго народа именно только потому, что народъ былъ суевѣрный. Когда-то этотъ отецъ Стефанъ былъ сельскимъ учителемъ, но, вѣроятно, взгляды его на свои нравственныя обязанности не могли быть удовлетворены вѣковѣчнымъ толкованіемъ четырехъ правилъ ариметики и чистописаніемъ. Родіонъ въ свое время могъ обличать и бороться противъ всѣхъ пороковъ людей своего времени. Современному сельскому учителю едва ли уже «дадутъ» окружающіе его люди нашего времени дѣлать что-нибудь подобное. Не чувствуя въ себѣ силы на борьбу хотя бы въ формѣ обличительной корреспонденціи, отецъ Стефанъ рѣшилъ уйти отъ грѣха и поступилъ въ монастырь. Но и здѣсь, вѣроятно, не нашлось возможности удовлетворить всѣмъ нравственнымъ требованіямъ, жившимъ въ сознаніи о. Стефана; онъ оставилъ монастырь въ санѣ іеромонаха, удалился въ лѣсъ, въ полуверстѣ отъ своей деревни построилъ себѣ избушку и мирно жилъ, занимаясь, между прочимъ, и поученіемъ навѣщавшихъ его. Мало-по-малу слухъ объ отцѣ Стефанѣ сталъ распространяться въ народѣ, и къ нему стало приходить множество людей всякаго званія: кто поговорить и найти утѣшеніе, «кто поскорбѣтъ о неизлѣчимомъ недугѣ». Жажущій утѣшенія словомъ всегда выслушивалъ такое отъ о. Стефана. Но, главное, онъ *сочинялъ книжки*: «ученіе, какъ усовершенствоваться въ добрѣ», «слово къ обидимымъ и обидящимъ», о вредѣ

пьянства и проч. Въ этихъ книжкахъ много говорится вообще «о миролюбивыхъ семейныхъ отношеніяхъ». Написаны книжки языкомъ, принаровленнымъ къ крестьянской рѣчи. Нерѣдко крестьяне получали отъ о. Стефана и денежную помощь на покупку лошади, на посѣвъ. Мало-по-малу около его жилища построились отдѣльные домики и церковь. Не мало труда положилъ о. Стефанъ на разработку избраннаго имъ мѣста жительства: крайне живописный лѣсъ, расположенный на скатѣ горы, весь расчищенъ; правильныя утрамбованныя дороги, гати во всѣхъ направленіяхъ пересекають лѣсъ; мѣстность, совершенно безводная до появленія здѣсь о. Стефана, теперь имѣетъ три пруда, для чего вода поднята на значительную высоту; всѣ ручьи обложены дерномъ (мѣстность своимъ видомъ напоминаетъ Желѣзноводскъ). Церковь еще не освящена, но о. Стефанъ служитъ въ ней молебны, причемъ поетъ сформированный имъ женскій хоръ. Постройка церкви была разрѣшена архіереемъ Аполлосомъ, но письменнаго разрѣшенія на это дано еще не было, вотъ почему церковь, какъ построенная безъ письменнаго разрѣшенія, и запечатана».

Корреспондентъ заканчиваетъ свое письмо желаніемъ, чтобы церковь была открыта и освящена, такъ какъ «несомнѣнно», что *для народонаселенія* о. Стефанъ своимъ *примѣромъ приноситъ большую пользу*. Не знаю, оправдаются ли ожиданія корреспондента. Вѣдь о. Стефанъ не *отшельникъ*, какъ поименовалъ его корреспондентъ, а,—странно сказать,—дѣятель общественный; вокругъ него образуется общество людей, соединяющихся, прежде всего, нравственными узами; въ обиходѣ жизни общины о. Стефана играютъ роль не одни только агрономическія усовершенствованія, и людъ собирается къ нему не во имя желанія имѣть картофель въ два фунта вѣсомъ, а во имя толковъ объ усовершенствованіи въ добрѣ, во имя разговоровъ и размышленій объ «обидимыхъ и обидящихъ», и, соединившись на такихъ нравственныхъ началахъ, только *во имя ихъ* и начинаетъ устраивать внѣшній обиходъ своей жизни. Не знаю, будетъ ли въ этой общинѣ дѣло для мирового судьи, для судебного пристава и окажется ли надобность

въ кутузкѣ. По существу созидающейся общины, именно тѣмъ-то она и привлекаетъ народъ, что ничего въ ней не должно быть подобнаго; она и основана и цвѣтетъ именно во имя наилучшихъ нравственныхъ побужденій. Кабатчикъ или рестораторъ, который пожелалъ бы открыть для губернской публички ресторанчикъ съ арфистками въ такомъ живописномъ мѣстѣ, гдѣ устроился о. Стефанъ, навѣрное, получить грозный отпоръ ото всей общины, а что изъ этого обыкновенно выходитъ, всѣмъ намъ очень хорошо извѣстно, хотя бы только изъ тѣхъ безчисленныхъ опытовъ не имѣть кабака, которые постоянно возникаютъ и не въ такихъ «особенныхъ» общечитіяхъ, какъ общечитіе о. Стефана, а прямо въ черныхъ, крестьянскихъ деревняхъ. Не смотря на мірскіе приговоры и всеобщее желаніе не пить, не пьянствовать, не пропиваться, кабакъ будетъ открытъ непременно, кабатчикъ дойдетъ, допечетъ мужиковъ. А въ общинѣ о. Стефана развѣ нѣтъ грѣховъ, которыми можно донять? Разстояніе между постройками неправильное,—по закону такъ, а на дѣлѣ не хватаетъ. Снести пять-шесть домишекъ, иначе снесутъ по распоряженію; обязательно станутъ выгонять народъ за тридцать верстъ для починки дороги. Да мало ли! И думать объ этомъ не стоитъ: такъ много случаевъ привести человѣка къ одному, со всѣми прочими, знаменателю. Однихъ мужицкихъ разговоровъ на тему: «Эхъ бы, и намъ такъ-то!»—вполнѣ достаточно для того, чтобы усомниться въ полезности существованія общины о. Стефана. Что такое значить: «Эхъ бы, и намъ *такъ-то*»? А вамъ развѣ теперь *не такъ*? Въ концѣ-концовъ, о. Стефанъ, если онъ человѣкъ жалостливый къ собравшимся около него людямъ, либо приметъ на душу грѣхъ, пойдетъ на компромиссъ и дозволить кабатчику торговать (только вонъ въ томъ, молъ, мѣстѣ, за горкой, а не здѣсь), либо, не желая принять грѣха, уйдетъ «въ странствіе».

Во время поѣздки по Западной Сибири мнѣ пришлось слышать и еще объ одномъ «радѣтелѣ» на благо простого сѣраго

человѣка, и хотя онъ также не понимаетъ блага безъ его реального осуществленія, но его исторія показываетъ, до какой степени времена стѣзили, со дней житія Родіона, размѣры этого радѣнія и его сущность.

Въ г. Т. мнѣ цѣлый день пришлось ждать тюменскаго парохода. Всякихъ разговоровъ и всякихъ сибирскихъ типовъ пришлось переслушать и перевидать множество. Между прочимъ, памятенъ мнѣ разговоръ одного священника съ однимъ городскимъ жителемъ. Священникъ былъ человѣкъ развязнаго обращенія и полагалъ, должно быть, что разъ онъ не при исполненіи своихъ обязанностей, то можетъ позволить себѣ, при всей публикѣ, почесаться огромной рукой такъ, что зрители непременно посоветуютъ ему идти въ баню. Огромный, хорошо закусившій, хохочущій и не стѣсняющійся въ жестахъ батя разговаривалъ такимъ развязнымъ тономъ, какимъ въ пору разговаривать хорошему торговцу на базарѣ.

— Ну, а что этотъ—«кляуза»?—грубо и громко спросилъ онъ у молодого человѣка.

— Кто такой?

— Да разстрига-то?

— А, Н—въ!.. Ничего...

— Все мудрить-мутить?

Неохотно отвѣтилъ ему молодой человѣкъ:

— Все попрежнему.

— Не покоряется? Который разъ съ него рясу-то въ участкѣ снимаютъ?

— Да ужъ раза три, кажется...

— И все претъ въ церковь? Все попомъ себя почитаетъ еще?

— Дѣйствительно, не признаетъ разстриженія... Прямо изъ участка, въ сѣромъ пиджакѣ, вошелъ въ церковь, въ алтарь, облачился и сталъ служить вторымъ...

— Такъ чего же его по шеѣ не огрѣютъ?

— Ну, вотъ! По шеѣ!

— И прямо по шеѣ! Чего тутъ?

— Ну, ужъ, право, не знаю...

Скоро священникъ уѣхалъ на другой берегъ рѣки на большой лодкѣ, мягко застланной соломой и ковромъ. Онъ растянулся, какъ турецкій султанъ обыкновенно «растягивается» на лубочныхъ картинахъ. Съ нимъ сѣли и два здоровенныхъ же, хорошо закусившихъ сына; одинъ изъ нихъ былъ въ фуражкѣ какого-то министерства. Этотъ юнецъ, едва появился на пароходной пристани, безъ всякой церемоніи подошелъ ко мнѣ, сказалъ: «Позвольте папироску!»—и ни съ того, ни съ сего заговорилъ о своихъ семейныхъ дѣлахъ, точно я былъ вѣкъ съ нимъ знакомъ. «...А старшая сестра, Марія, за ставнымъ... У насъ *рука* есть... большой богачъ». Обжорною жадностью плотоядныхъ существъ отдавало отъ этихъ верзильныхъ и грубыхъ людей, и я радъ былъ, что ихъ унесло куда-то. Радъ былъ и молодой человѣкъ, котораго донималъ разговоромъ грубый собесѣдникъ.

Мы заговорили другъ съ другомъ и я спросилъ его о томъ «разстригѣ», о которомъ только что шелъ разговоръ.

— Это замѣчательная личность!

— Можетъ быть, извѣстный нашъ недугъ... пьянство погубило его?—спросилъ я, такъ какъ разговоръ шелъ о немъ, какъ о забулдыгѣ.

— О, нѣтъ! Онъ не пьетъ ни капли! Это умный, энергическій, живой человѣкъ... даже писатель! У него выпущено въ свѣтъ очень много брошюръ, книжекъ...

— О чемъ же онъ пишетъ?

— Исключительно для народа и, главнымъ образомъ, хозяйственныя. Вообще, это человѣкъ до крайности дѣятельный.

— Однако, вотъ, что-то съ нимъ случилось?

— Да, случилось! И очень все вышло нелѣпо. Дѣло началось съ пустяковъ... Не довольствуясь книгами, сталъ онъ въ своемъ приходѣ вводить разныя хозяйственныя нововведенія: образчики хорошихъ сѣмянъ, разведеніе такихъ растений, которыхъ нѣтъ въ Сибири, но которыя могутъ въ ней произрастать... Словомъ, много работалъ въ смыслѣ улучшенія хозяйства. Но, можетъ быть, у него мало было земли или онъ просто увлекся своимъ дѣломъ и не обратилъ вниманія на на-

родное невѣжество, только плантаціи его вышли изъ предѣловъ собственно его двора: весь его огорождъ былъ уже разработанъ, и онъ, не думая сдѣлать худого, разгородилъ его и пошелъ дальше, разводя разныя растенія на томъ лоскутѣ земли, который былъ между его домомъ и церковью, и добрался до самаго алтаря, да съ чѣмъ? Съ табакомъ! Народъ возопіялъ, а невѣжество народа возмутило священника. Могъ ли, въ самомъ дѣлѣ, такой человѣкъ уступать такой непомерной тѣмѣ? Но и мужики не уступили,—пожаловались. Потребовали N—ва, внушили, приказали не раздражать народъ. Пустяки, кажется? Но для N—ва это были никакъ не пустяки. Именно на этомъ пустякѣ онъ долженъ былъ признать преимущество невѣжества и тѣмы, покориться чепухѣ мужицкой! А онъ вообще образованный, начитанный человѣкъ, именно образованный! Ко всему этому, онъ еще и нервный, впечатлительный, горячій, ни за что не хотѣлъ исполнить того, что ему приказывали. Я думаю, онъ даже не могъ бы пойти на такой компромиссъ, чтобы разводить табакъ въ другомъ мѣстѣ. Вѣдь дѣло въ томъ, чтобы не преклоняться предъ невѣжествомъ, голою глупостью; онъ и не преклонился. А затѣмъ не могъ уже избѣжать кары за неповиновеніе... И пошло: перевели въ отдаленнѣйшій приходъ,—не поѣхалъ, протестовалъ... Дальше, больше... Взяло его за живое, и ринулся онъ въ непрерывную борьбу... Ни семейное разстройство, ни недостатокъ, ничто его не остановило: по мѣрѣ того, какъ дѣло перешло совсѣмъ на иную почву и разыгрывалось уже не въ деревнѣ, а въ судахъ, въ канцеляріяхъ, онъ ни на одну секунду не усомнился въ томъ, что считалъ справедливымъ; онъ пробирался съ своимъ протестомъ въ Петербургъ, въ высшія мѣста, и такимъ образомъ дошелъ до «изверженія изъ сана».

— Но и этого не признаетъ?

— Да! До сихъ поръ считаетъ себя священникомъ... Недавно раздѣвался третій разъ въ участкѣ, а теперь онъ опять въ рясѣ. Замѣчательный человѣкъ, а измается, погибнетъ. И теперь онъ не перестаетъ протестовать и такъ же настойчиво...

Книжки его покупаются охотно,—вотъ единственное его средство. Прошелъ слухъ, что онъ хочетъ уйти въ расколъ... Но не знаю, вѣрно ли это.

Кстати сказать, этотъ же молодой человѣкъ разсказалъ мнѣ про другого мѣстнаго протоіерея Л—ва, недавно умершаго въ Самарѣ и перешедшаго за нѣсколько лѣтъ до смерти въ расколъ. Объ этой замѣчательной личности будетъ сказано особо въ одномъ изъ слѣдующихъ очерковъ *). Общественная дѣятельность этого образованнаго священника происходила не въ той средѣ, о которой идетъ у насъ рѣчь. Я говорю теперь только о «радѣтеляхъ» въ средѣ нашей темной крестьянской массы и поэтому опять возвращаюсь къ разговору объ г. N—вѣ, также желавшемъ быть радѣтелемъ въ темной крестьянской средѣ.

Такъ же, какъ Родіонъ, какъ о. Стефанъ, и священникъ N—въ не смогъ сбересть для собственнаго «удовольствія» своихъ знаній и своего пониманія о недостаткахъ и горестяхъ «темнаго народа», и сейчасъ же отдалъ ихъ этимъ самымъ темнымъ массамъ, нескладная, безтолковая жизнь которыхъ и возмутила его. Этотъ типъ, наиболѣе яркій образецъ котораго въ нашемъ разсказѣ представляетъ Родіонъ, постоянно примѣтенъ въ нашемъ обществѣ въ настоящее время. Наши учителя и учительницы въ огромномъ количествѣ дѣлали свое дѣло подвижнически, не ремесленнымъ образомъ и не изъ-за хлѣба, не изъ-за хлѣба только работали и работаютъ врачи, фельдшера, акуперки. Но не знаю, скажутъ ли они сами, что дѣятельность ихъ можетъ быть оживотворена сознаніемъ связи ея съ подъемомъ и просвѣтленіемъ личности, духовной жизни крестьянина.

Заглянемъ, для провѣрки разницы, опять въ тѣ глухія мѣста, гдѣ дѣйствовалъ когда-то Родіонъ.

Въ этихъ мѣстахъ теперь считается ревизскихъ душъ 2,589, тогда какъ наличныхъ уже 6,600 душъ. Крестьяне живутъ преимущественно земледѣліемъ, а въ зимнее время, кромѣ то-

*) *Деревенскіе раскольники*. Ниже, въ очеркахъ „изъ текущей жизни“.

го, небольшая часть населенія занимается кустарнымъ промысломъ, дѣлаетъ сани, коробья, берестяные бураки, телѣжныя колеса. Промыселъ этотъ поддерживаетъ какъ при отбываніи казенныхъ повинностей, такъ и въ хозяйственныхъ расходахъ; причина весьма незавиднаго положенія крестьянъ—малоземеліе, неимѣніе лѣсовъ, вслѣдствіе чего они арендуютъ очень много земли въ сосѣднихъ помѣщичьихъ дачахъ, уплачивая за арендованныя земли, отпускъ лѣса и выгонъ много денегъ. Положеніе родіоновскихъ потомковъ, какъ видите, изобилуетъ несравненно большимъ количествомъ скорбей, чѣмъ было ихъ у прародителей, но за то и радѣтелей у теперешнихъ потомковъ Родіона почти такое же количество, какъ и самыхъ скорбей: то, что у нихъ земли нѣтъ, это самымъ подробнымъ образомъ изслѣдовано и занесено въ статистическій сборникъ; то, что при тѣснотѣ пространства и утроившагося количества жителей могутъ въ село придти опять тѣ самые два изувѣра, одинъ красно-огненный, а другой черный и между ними «четвероногое», это также не составляетъ тайны для образованнаго общества и какъ только явится четвероногое, такъ явится и ветеринаръ; какъ только начнется эпидемія красно-огненнаго или чернаго качества, такъ явится и врачъ; священникъ будетъ хоронить мертвыхъ и крестить живыхъ; староста будетъ собирать подать; воровъ и пьяницъ берутъ кутузку и судъ; истощаютъ и развращаютъ народъ кабатчикъ и кулакъ, и такъ далѣе.

Не смотря на такое количество радѣтелей, никакихъ явно осязаемыхъ результатовъ, которые бы доказывали, что родіоновскій потомокъ въ чемъ бы то ни было превзошелъ своихъ предковъ, пока, кажется, не видать. Всѣ радѣтели и сами по себѣ изнурены и истомлены одиночествомъ однообразнѣйшаго труда, а тѣ, о которыхъ радѣютъ, не только не дожили до расширенія своихъ духовныхъ потребностей, до береженія своей души, но какъ бы и думать-то объ этой роскоши перестали. Съ ихъ личной совѣсти снята всякая отвѣтственность за общественное зло, тогда какъ радѣтель Родіонъ прямо соединилъ общественное зло—красно-огненную и черную болѣзнь

и всѣ бѣды и язвы, изъѣдавшія народъ,—съ личными грѣхами и пороками этого народа: «питіе табаку», «піянство», т. е. всякія личныя неопрятности онъ умѣлъ отразить въ общественныхъ бѣдствіяхъ деревни, привести въ связь личную опрятность или неопрятность съ проявленіемъ того и другого въ обществѣ. Способъ радѣнія нашего времени снимаетъ съ нашей совѣсти отвѣтъ рѣшительно за все то зло, которое творится кругомъ насъ. Кражи, самоубійства, всякаго рода несчастія, о которыхъ мы читаемъ ежедневно въ газетахъ, не касаются насъ, читателей, ни въ какомъ отношеніи. «Дознаніе производится»—и конецъ дѣлу, и слѣда не остается отъ кровавой драмы или отъ ужаснѣйшаго несчастія.

Родіонъ же требовалъ отъ человѣка отвѣта за всѣ эти общіе грѣхи. Эпидеміи и падежи, и прочія напасти онъ связывалъ съ неопрятностью личной нравственности обывателей. Расколоучитель, заманивая въ свою секту, прельщаетъ не матеріальными выгодами, а осмысливаетъ и осложняетъ личныя потребности вовлекаемаго въ секту. «Куда намъ, подлецамъ!»—говоритъ человѣкъ, убѣдившійся въ своемъ свинскомъ житіи. Расколоучитель доказываетъ ему противное, «вынетъ» изъ его сознанія это самопрезрѣніе, вдохнетъ бодрость и нѣкоторую гордость сознанія своей душевной цѣнности, освѣжитъ представленіе въ человѣкѣ «образа Божія», и вотъ человѣкъ уже не вернется туда, гдѣ «всѣ мы подлецы»,—не можетъ вернуться. Конечно, «личная» чистота раскольника весьма и весьма-таки частенько выражается въ замкнутости, въ отчужденіи и даже въ явной враждѣ къ людямъ, не осѣненнымъ тѣмъ просіяніемъ, которымъ осѣненъ просіявшій. Частенько этотъ просіявшій, для сохраненія собственной чистоты, не церемонится, для устроенія своего уютнаго, уединеннаго житія, опустошать и забирать въ лапы цѣлыя деревни и уѣзды сѣраго «церковнаго» народа. Иной разъѣдается на своей заимкѣ до размѣровъ мамонта и, такимъ образомъ, устраиваетъ для собственной своей души трехъэтажные апартаменты, но такими, изъ жира и сала созданными, капищами «для пребыванія свѣтлой души» проявленіе дѣятельности раскола не

исчерпывается; множество самыхъ прекрасныхъ и гуманныхъ учрежденій возникало подѣ вліяніемъ идеи бережливаго охраненія личности и совѣсти человѣческой въ обществѣ,—идеи, возникшей опять же изъ личнаго побужденія беречь свою душу.

Нашъ же «сѣрый» крестьянинъ матеріальныя заботы всякаго рода вынужденъ ставить неизмѣримо выше заботъ о собственномъ грѣхѣ. Несомнѣнно, «грѣхъ» томилъ его; между прочимъ, желаніе «уйти отъ грѣха» играетъ не послѣднее мѣсто и въ переселенческомъ движеніи. Но кому уйти нельзя и ждать ни откуда нечего, во имя отстраненія только матеріальной нужды, тотъ, не смотря на все обиліе радѣтелей, иногда вынужденъ прибѣгать также къ союзной жизни, но, примѣрно, вотъ какого рода:

«Я, вдова Н. С. Ш., съ согласія сына Мирона (13 лѣтъ), золовки Настасьи и тещи Ш., по случаю смерти мужа и *неимѣнія средствъ къ пропитанію малолѣтнихъ дѣтей и золовки, которая въ настоящее время находится калѣкою и даже сама ходить не можетъ*, а свекровь находится уже въ преклонныхъ лѣтахъ (80), изъ дѣтей же: сыну 13 лѣтъ, одной дочери 5 лѣтъ и другой 3 года,—почему я, Ш., *для пропитанія вышеупомянутаго семейства и содержанія хозяйства* вступаю въ законное супружество съ крестьяниномъ Р., котораго принимаю въ домъ, вмѣстѣ съ сыномъ его Кондратіемъ 6 лѣтъ»*).

Не знаю ничего ужаснѣе этого союза тамъ, гдѣ человѣкъ и подумать-то не смѣетъ о собственномъ благообразіи, чему училъ Родіонъ. Матеріальное горе чувствуется такъ неотразимо, что не трудно «прозакладывать» и послѣдніе остатки души. Вотъ и отецъ Н—въ, имѣя возможность, согласно общему направленію жизни, «радѣть» только въ какой-нибудь одной отрасли «улучшенія быта», живя въ деревнѣ, не имѣлъ уже ни права, ни возможности связать практику выгодъ травосѣянія и бранденбургскаго овса съ удовлетвореніемъ нравственнаго благообразія человѣка, какъ это могъ дѣлать Родіонъ, и, конечно, не могъ имѣть успѣха.

*) *Свердловскій Вѣстникъ* № 9. Ст. Щербинны: Договорныя семьи.

III.

Перебирая и припоминая вновь все пережитое и перечитанное, и углубляясь воображеніемъ въ самое отдаленное прошлое, я постоянно видѣлъ передъ собою облики радѣтелей, всегда близкихъ къ облику Родіона. Въ какомъ бы званіи и общественномъ положеніи они ни находились, въ какія бы времена не жили, разъ неотразимо возникнетъ въ совѣсти ихъ нравственная потребность «радѣть» о благѣ ближняго, — всегда радѣніе это выражалось по образу дѣйствій Родіона. И сейчасъ не оскудѣваетъ русская жизнь человѣкомъ съ сердцемъ чуткимъ и горячимъ въ стремленіи къ добру.

У. з н и к ъ.

Густая крапива
Шумитъ подъ окномъ;
Зеленая ива
Повисла шатромъ;
Веселыя лодки
Въ дали голубой;
Желѣзо рѣшетки
Визжитъ подъ пилою.
Бывалое горе
Уснуло въ груди;
Свобода и море
Горятъ впереди.
Прибавилось духа,
Затихла тоска, —
И слушаетъ ухо,
И пилить рука.

А. Фетъ.

Капля.

(Съ восточнаго).

Дождевая капля брызнула
 На желѣзо раскаленное, —
 Легкимъ паромъ задымилася
 И исчезла, опаленная.

На цвѣтокъ благоухающій
 Капля канула печальная, —
 И заискрилась росинкою
 Точно искорка хрустальная.

Въ добрый часъ упала капелька
 Въ горло раковины сѣуженной, —
 И на диво міру жадному
 Стала свѣтлою жемчужиной...

Такъ и ты, о дружба юная,
 Такъ и ты, любовь прекрасная,
 Такъ и ты, мечта волшебная,
 Такъ и ты, о сердце страстное!

Если канете на доброе, —
 Озаритесь, засіяете,
 А прельстившись злымъ, — до времени
 Вы увянете, растаете...

Н. Фофановъ.

* * *

Долго я Бога искалъ въ городахъ и селеніяхъ шумныхъ.
 Долго на небо глядѣлъ — не увижу ли Бога,
 Бога искалъ и въ дѣянняхъ природы разумныхъ,
 Въ бѣдности мрачной подвала, въ роскоши пышной чертога.
 Долго я Бога искалъ, переполненъ мучительной жажды
 Ликъ его свѣтлый увидѣть, царящій надъ міромъ,
 Долго я Бога искалъ — и провидѣлъ Его я однажды
 Въ сердцѣ своемъ, озаренномъ любовью къ несчастнымъ и сирымъ.

Н. Фофановъ.

* * *

Когда вечернею прохладой
 Повѣтъ съ дремлющихъ полей —
 И, неземной исполнена отрадой,
 Ты склонишься предъ тихою лампадой,
 Съ молитвой чистою своей. —
 Мой другъ, на мигъ продливъ свои моленья,
 Въ святую урну искупленья
 Ты лишнюю слезинку урони,
 И друга, брата бѣднаго, больного,
 Поникшаго среди пути земного,
 Въ своей молитвѣ помани.

* * *

Молись, чтобъ вѣрой гордой и свободной
 Господь согрѣлъ мою больную грудь,
 Что яркій факель мысли благородной
 Свѣтилъ звѣздою путеводной
 На мой печальный, трудный путь.
 Что я успѣлъ, съ судьбой тяжелой спора,
 Хотя одну слезу тоски и горя
 Стереть съ лица народа моего,
 Чтобъ хоть одинъ листокъ лавровый,
 Я могъ вплести въ вѣнецъ терновый,
 Вѣнецъ страдальческій его.

С. Фругъ.

В а н ь к а.

Ванька Жуковъ, девятилѣтній мальчикъ, отданный три мѣсяца тому назадъ въ ученіе къ сапожнику Аляхину, въ ночь подъ Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли къ заутрени, онъ досталъ изъ хозяйскаго шкафа пузырекъ съ чернилами, ручку съ заржавленнымъ перомъ и, разложивъ передъ собой помятый листъ бумаги, сталъ писать. Прежде, чѣмъ вывести первую букву, онъ нѣсколько разъ пугливо оглянулся на двери и окна, покосился

на темный образъ, по обѣ стороны котораго тянулись полки съ колодками, и прерывисто вздохнулъ. Бумага лежала на скамьѣ, а самъ онъ стоялъ передъ скамьей на колѣняхъ.

«Милый дѣдушка, Константинъ Макарычъ!—писалъ онъ. — И пишу тебѣ письмо. Проздравляю васъ съ рожествомъ и желаю тебѣ все отъ Господа Бога. Нѣту у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня одинъ остался».

Ванька перевелъ глаза на темное окно, въ которомъ мелькало отраженіе его свѣчки, и живо вообразилъ себѣ своего дѣда Константина Макарыча, служащаго ночнымъ сторожемъ у господъ Живаревыхъ. Это маленькій, тощенькій, но необыкновенно юркій и подвижной старикашка, лѣтъ 65-ти, съ вѣчно смѣющимся лицомъ и пьяными глазками. Днемъ онъ спитъ въ людской кухнѣ или балагуритъ съ кухарками, ночью же, окутанный въ просторный тулупъ, ходитъ вокругъ усадьбы и стучитъ въ свою колотушку. За нимъ, опустивъ головы, шагаютъ старая Каптанка и кобелекъ Вьюнъ, прозванный такъ за свой черный цвѣтъ и тѣло длинное, какъ у ласки. Этотъ Вьюнъ необыкновенно почителенъ и ласковъ, одинаково умильно смотритъ какъ на своихъ, такъ и на чужихъ, но кредитомъ не пользуется. Подъ его почительностью и смиреніемъ скрывается самое іезуитское ехидство. Никто лучше его не умѣетъ во-время подкрасться и цапнуть за ногу, забраться въ ледникъ или украсть у мужика курицу. Ему ужъ не разъ отбивали заднія ноги, раза два его вѣшали, каждую недѣлю пороли до полусмерти, но онъ всегда оживалъ.

Теперь, навѣрное, дѣдъ стоитъ у воротъ, щуритъ глаза на ярко-красныя окна деревенской церкви и, притоптывая валенками, балагуритъ съ дворней. Колотушка его подвязана къ поясу. Онъ всплескиваетъ руками, пожимается отъ холода и, старчески хихикая, щиплетъ то горничную, то кухарку.

— Табачку нешто вамъ понюхать?—говоритъ онъ, подставляя бабамъ свою табакерку.

Бабы нюхаютъ и чихаютъ. Дѣдъ приходитъ въ неописанный восторгъ, заливаясь веселымъ смѣхомъ и кричить:

— Отдирай, примерзало!

Даютъ понюхать табаку и собакамъ. Каптанка чихаетъ, крутить мордой и обиженная отходить въ сторону. Вьюнъ же изъ почтительности не чихаетъ и вертитъ хвостомъ. А погода великолѣпная. Воздухъ тихъ, прозраченъ и свѣжъ. Ночь темна, но видно всю деревню съ ея бѣлыми крышами и струйками дыма, идущими изъ трубъ, деревья, посеребренные инеемъ, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звѣздами, и млечный путь вырисовывается такъ ясно, какъ будто его передъ праздникомъ помыли и потеряли снѣгомъ...

Ванька вздохнулъ, обмакнулъ перо и продолжалъ писать:

«А вчерась мнѣ была выволочка. Хозяинъ выволокъ меня за волосы на дворъ и отчесалъ шпандыремъ за то, что я началъ ихняго ребятенка въ люлькѣ и по нечаянности заснулъ. А на недѣлѣ хозяйка велѣла почистить селедку, а я началъ съ хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня въ харю тыкать. Подмастерья надо мной насмѣхаются, посылаютъ въ кабакъ за водкой и велятъ красть у хозяевъ огурцы, а хозяинъ бьетъ чѣмъ попало, а ѣды нѣту никакой. Утромъ даютъ хлѣба, въ обѣдъ каши и въ вечеру тоже хлѣба, а чтобъ чаю или щей, то хозяева сами трескаютъ. А спать мнѣ велятъ въ сѣняхъ, а когда ребяенокъ ихній плачетъ, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дѣдушка! сдѣлай божественную милость, возьми меня отсюда домой, на деревню... Нѣту никакой моей возможности... Кланяюсь тебѣ въ ножки и буду вѣчно Бога молить, увези меня отсюда, а то помру».

Ванька покривилъ ротъ, потеръ своимъ чернымъ кулакомъ глаза и всхлипнулъ.

«Я буду тебѣ табакъ тереть,—продолжалъ онъ,—Богу молиться, а если что, то сѣки меня, какъ сидорову козу. А ежели думаешь, должности мнѣ нѣту, то я Христа-ради попрошусь къ прикащику сапоги чистить, али замѣсто Оедьки въ подпаски пойду. Дѣдушка милый! нѣту никакой возможности, просто смерть одна. Хотѣлъ было пѣшкомъ на деревню бѣжать, да сапоговъ нѣту, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и въ обиду никому не дамъ, а помрешь, стану за упокой души молить все равно, какъ за мамку Пелагею.

«А Москва городъ большой. Дома все господскіе, и лошадей много, а овецъ нѣту, и собаки не злыя. Со звѣздой тутъ ребята не ходять и на крилось пѣть никого не пуцають, а разъ я видалъ въ одной лавкѣ на окнѣ, крючки продаются прямо съ леской и на всякую рыбу, очень стоящіе, даже такой есть одинъ крючекъ, что пудоваго сома удержитъ. И видалъ которыя лавки, гдѣ ружья всякія на манеръ баринovýchъ, такъ что небось рублей сто каждое... А въ мясныхъ лавкахъ и тетерева, и рябцы, и зайцы, а въ которомъ мѣстѣ ихъ стрѣляютъ, по то сидѣльцы не сказываютъ.

«Милый дѣдушка, а когда у господъ будетъ елка съ гостинцами, возьми мнѣ золоченный орѣхъ и въ зеленый сундучекъ спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнулъ и опять устался на окно... Онъ вспомнилъ, что за елкой для господъ всегда ходилъ въ лѣсъ дѣдъ и бралъ съ собою внука. Веселое было время! И дѣдъ крикалъ, и морозъ крикалъ, а глядя на нихъ, и Ванька крикалъ... Бывало, прежде чѣмъ вырубить елку, дѣдъ выкуриваетъ трубку, долго нюхаетъ табакъ, посмѣивается надъ озябшимъ Ванюшкой... Молодые елки, окутанныя инеемъ, стоять неподвижно и ждутъ, которой изъ нихъ помирать? Откуда ни возмись, по сугробамъ летитъ стрѣлой заяцъ... Дѣдъ не можетъ, чтобъ не крикнуть:

— Держи, держи... держи! Ахъ, куцый дьяволъ!

Срубленную елку дѣдъ тащилъ въ господскій домъ, а тамъ принимались убирать ее... Больше всѣхъ хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать, Пелагея, и служила у господъ въ горничныхъ, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и отъ нечего дѣлать выучила его читать, писать, считать до ста и даже плясать кадрили. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили въ людскую кухню, къ дѣду, а изъ кухни въ Москву, къ сапожнику Аляхину...

«Пріѣзжай, милый дѣдушка, — продолжалъ Ванька, — Христомъ Богомъ тебя молю, возьми меня отседа. Пожалѣй ты меня, сироту несчастную, а то меня всѣ колотятъ и кушать

страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу. А наемный хозяин колодкой по головѣ ударилъ, такъ что упалъ и на силу очухался. Пропавшая моя жизнь, хуже собаки всякой... А еще кланяюсь Алентѣ, кривому Егоркѣ и кучеру, а гармонію мою никому не отдавай. Остаюсь твой внукъ, Иванъ Жуковъ, милый дѣдушка, пріѣзжай»...

Ванька свернулъ вчетверо исписанный листъ и вложилъ его въ конвертъ, купленный наканунѣ за копѣйку. Подумавъ немного, онъ обмакнулъ перо и написалъ адресъ:

На деревню дѣдушкѣ.

Потомъ почесался, подумалъ и прибавилъ: «Константину Макарычу». Довольный тѣмъ, что ему не помѣшали писать, онъ надѣлъ шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо въ рубахѣ выбѣжалъ на улицу...

Сидѣльцы изъ мясной лавки, которыхъ онъ спрашивалъ наканунѣ, сказали ему, что письма опускаются въ почтовые ящики, а изъ ящиковъ развозятся по всей землѣ на почтовыхъ тройкахъ съ пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добѣжалъ до перваго почтоваго ящика и сунулъ драгоценное письмо въ щель...

Убаюканный сладкими надеждами, онъ часъ спустя крѣпко спалъ... Ему снилась печка. На печи сидитъ дѣдъ, свѣсивъ босые ноги, и читаетъ письмо кухаркамъ... Около печи ходитъ Вьюнъ и вертитъ хвостомъ.

Чеховъ.

* * *

Пусть міромъ забыты
Святые уроки,
Камнями побиты
Вожди и пророки,—
Для честнаго дѣла
Отдавши всѣ силы,
Безстрашно и смѣло
Иди до могилы.

О. Чумина.

Рождественская сказка.

Прекраснѣйшую сегодня проповѣдь сказалъ для праздника нашъ сельскій батюшка.

«Много столѣтій тому назадъ,—сказалъ онъ,—въ этотъ самый день пришла въ міръ Правда.

«Правда извѣчна. Она прежде всѣхъ вѣкъ возсѣдала съ Христомъ Человѣколюбцемъ одесную Отца, вмѣстѣ съ Нимъ воплотилась и возглагола на землѣ свой свѣточъ. Она стояла у подножія креста и сораспиналась съ Христомъ; она возсѣдала, въ видѣ свѣтозарнаго ангела, у гроба Его и видѣла Его воскресеніе. И когда Человѣколюбецъ вознесся на небо, то оставилъ на землѣ Правду, какъ живое свидѣтельство Своего неизмѣннаго благоволенія къ роду человѣческому.

«Съ тѣхъ поръ нѣтъ уголка въ цѣломъ мірѣ, въ который не проникла бы Правда и не наполнила бы его собою. Правда воспитываетъ нашу совѣсть, согрѣваетъ наши сердца, оживляетъ нашъ трудъ, указываетъ цѣль, къ которой должна быть направлена наша жизнь. Огорченные сердца находятъ въ ней вѣрное и всегда открытое убѣжище, въ которомъ они могутъ успокоиться и утѣшиться отъ случайныхъ волненій жизни.

«Неправильно думаютъ тѣ, которые утверждаютъ, что Правда когда-либо скрывала лицо свое, или—что еще горше—была когда-либо побѣждена неправдою. Нѣтъ, даже и тѣ скорбныя минуты, когда недалёковиднымъ людямъ казалось, что торжествуетъ отецъ лжи, въ дѣйствительности торжествовала Правда. Она одна не имѣла временнаго характера, одна неизмѣнно шла впередъ, простирая надъ міромъ крылья свои и освѣщая его присносушимъ свѣтомъ своимъ. Мнимое торжество лжи разсѣвалось, какъ тяжкій сонъ, а Правда продолжала шествіе свое.

«Вмѣстѣ съ гонимыми и униженными Правда сходила въ подземелья и проникала въ горныя ущелья. Она восходила съ праведниками на костры и становилась рядомъ съ ними передъ лицомъ мучителей. Она воздвигала въ ихъ душахъ священный пламень, отгоняла отъ нихъ помыслы малодушія и измѣны; она

учила ихъ страдать всладцѣ. Тщетно служители отца лжи мнили торжествовать, видя это торжество въ тѣхъ вещественныхъ признакахъ, которые представляли собой казни и смерть. Самыя лютыя казни были безсильны сломить Правду, а, напротивъ, сообщали ей вящую притягивающую силу. При видѣ этихъ казней загорались простыя сердца, и въ нихъ Правда обрѣтала новую благодарную почву для сѣянiя. Костры пылали и пожирали тѣла праведниковъ, но отъ пламени этихъ костровъ возжигалось безчисленное множество свѣточей, подобно тому, какъ въ свѣтлую утреню отъ пламени одной возженной свѣчи внезапно освѣщается весь храмъ тысячами свѣчей.

«Въ чемъ же заключается Правда, о которой я бесѣдную съ вами?—На этотъ вопросъ отвѣчаетъ намъ евангельская заповѣдь. Прежде всего, люби Бога, и затѣмъ люби ближняго какъ самого себя. Заповѣдь эта, несмотря на свою краткость, заключаетъ въ себѣ всю мудрость, весь смыслъ человѣческой жизни.

«Люби Бога, ибо—Онъ Жизнодавецъ и Человѣколюбецъ, ибо въ Немъ источникъ добра, нравственной красоты и истины. Въ Немъ—Правда. Въ этомъ самомъ храмѣ, гдѣ приносится безкровная жертва Богу,—въ немъ же совершается и непрестанное служенiе Правдѣ. Всѣ стѣны его пропитаны Правдой, такъ что вы,—даже худшіе изъ васъ,—входя въ храмъ, чувствуете себя умиротворенными и просвѣтленными. Здѣсь, передъ лицомъ Распятаго, вы утоляете печали ваши; здѣсь обрѣтаете покой для смущенныхъ душъ вашихъ. Онъ былъ распятъ ради Правды, лучи которой излились отъ Него на весь міръ,—вы ли ослабнете духомъ передъ постигающими васъ испытанiями.

«Люби ближняго какъ самого себя—такова вторая половина Христовой заповѣди. Я не буду говорить о томъ, что безъ любви къ ближнему невозможно общежитіе—скажу прямо, безъ оговорокъ: любовь эта, сама по себѣ, помимо всякихъ стороннихъ соображеній, есть краса и ликованіе нашей жизни. Мы должны любить ближняго не ради взаимности, но ради самой любви. Должны любить непрестанно, самоотверженно, съ гото-

вностью положить душу, подобно тому, какъ добрый пастырь полагаетъ душу за овецъ своихъ.

«Мы должны стремиться къ ближнему на помощь, не считывая, возвратитъ онъ или не возвратитъ оказанную ему услугу; мы должны защитить его отъ невзгодъ, хотя бы невзгода угрожала поглотить насъ самихъ; мы должны представлять за него передъ сильными міра, должны идти за него въ бой. Чувство любви къ ближнему есть то высшее сокровище, которымъ обладаетъ только человѣкъ и которое отличаетъ его отъ прочихъ животныхъ. Безъ его оживотворяющаго духа всѣ дѣла человѣческія мертвы, безъ него тускнѣетъ и становится непонятною самая цѣль существованія. Только тѣ люди живутъ полною жизнью, которые пламенѣютъ любовью и самоотверженіемъ; только они одни знаютъ дѣйствительныя радованія жизни.

«И такъ, будемъ любить Бога и другъ друга—таковъ смыслъ человѣческой Правды. Будемъ искать ее и пойдемъ по стезѣ ея. Не убоимся козней лжи, но станемъ добре и противопоставимъ имъ обрѣтенную нами Правду. Ложь посрамится, а Правда останется и будетъ согрѣвать сердца людей.

«Теперь вы возвратитесь въ дома ваши и предадитесь веселію о праздникѣ Рождества Господа и Человѣколюбца. Но и среди веселія вашего не забывайте, что съ Нимъ пришла въ міръ Правда, что она во всѣ дни, часы и минуты присутствуетъ посреди васъ и что она представляетъ собою тотъ священный огонь, который освѣщаетъ и согрѣваетъ человѣческое существованіе».

Когда батюшка кончилъ и съ клироса раздалось: «Буди имя Господне благословенно», то по всей церкви пронесся глубокій вздохъ. Точно вся громада молящихся этимъ вздохомъ подтверждала: «да, буди благословенно!»

Но изъ присутствовавшихъ въ церкви всѣхъ внимательнѣе вслушивался въ слова отца Павла десятилѣтній сынъ мелкой землевладѣлицы, Сережа Русланцевъ. По временамъ онъ даже обнаруживалъ волненіе, глаза его наполнялись слезами, щеки горѣли и самъ онъ всѣмъ корпусомъ подавался впередъ, точно хотѣлъ о чемъ-то спросить.

Марья Сергѣевна Русланцева была молодая вдова и имѣла крохотную усадьбу въ самомъ селѣ. Во время крѣпостной зависимости въ селѣ было до семи помѣщичьихъ усадебъ, состоявшихъ въ недалекомъ другъ отъ друга разстояніи. Помѣщики были мелкопомѣстные, а Ѳедоръ Павлычъ Русланцевъ принадлежалъ къ числу самыхъ бѣдныхъ: у него всего было три крестьянскихъ двора да съ десятокъ дворовыхъ. Но такъ какъ его почти постоянно выбирали на разныя должности, то служба помогла ему составить небольшой капиталъ. Когда наступило освобожденіе, онъ получилъ, въ качествѣ мелкопомѣстнаго, льготный выкупъ и, продолжая полевое хозяйство на оставшемся за надѣломъ клочкѣ земли, могъ изо дня въ день существовать.

Марья Сергѣевна вышла за него замужъ значительное время спустя послѣ крестьянскаго освобожденія, а черезъ годъ уже была вдовой. Ѳедоръ Павлычъ осматривалъ верхомъ свой лѣсной участокъ, лошадь чего-то испугалась, вышибла его изъ сѣдла, и онъ расшибъ голову объ дерево. Черезъ два мѣсяца у молодой вдовы родился сынъ.

Жила Марья Сергѣевна болѣе, нежели скромно. Полеводство она нарушила, отдала землю въ кортому крестьянамъ, а за собой оставила усадьбу съ небольшимъ лоскуткомъ земли, на которомъ былъ разведенъ садикъ съ небольшимъ огородцемъ. Весь ея хозяйственный живой инвентаръ заключался въ одной лошади и трехъ коровахъ; вся прислуга — изъ одной семьи бывшихъ дворовыхъ, состоявшей изъ ея старой няньки съ дочерью и женатымъ сыномъ. Нянька присматривала за всѣмъ въ домѣ и пестовала маленькаго Сережу; дочь — кухарничала; сынъ съ женою ходили за скотомъ, за птицей, обрабатывали огородъ, садъ и проч. Жизнь потекла безшумно. Нужды не чувствовалось; дрова и главные предметы продовольствія были не купленные, а на покупное почти совсѣмъ запроса не существовало. Домочадцы говорили: «точно въ раю живемъ!» Сама Марья Сергѣевна тоже забыла, что существуетъ на свѣтъ иная жизнь (она мелькомъ видѣла ее изъ оконъ института, въ которомъ воспитывалась). Только Сережа по временамъ тревожилъ ее. Сначала онъ росъ хорошо, но, приближаясь къ

семи годамъ, началъ обнаруживать признаки какой-то болѣзненной впечатлительности.

Это былъ мальчикъ понятливый, тихій, но въ то же время слабый и болѣзненный. Съ семи лѣтъ Марья Сергѣевна засадила его за грамоту; сначала учила сама, но потомъ, когда мальчикъ сталъ приближаться къ десяти годамъ, въ ученьи принялъ участіе и отецъ Павелъ. Предполагалось отдать Сережу въ гимназію, а слѣдовательно требовалось познакомить его хоть съ первыми основаніями древнихъ языковъ. Время близилось, и Марья Сергѣевна въ большомъ смущеніи помышляла о предстоящей разлукѣ съ сыномъ. Только цѣною этой разлуки можно было достигнуть воспитательныхъ цѣлей. Губернскій городъ отстоялъ далеко, и переселиться туда при шести-семи стахъ годового дохода не представлялось возможности. Она уже вела о Сережѣ переписку съ своимъ роднымъ братомъ, который жилъ въ губернскомъ городѣ, занимая невидную должность, и надняхъ получила письмо, въ которомъ братъ соглашался принять Сережу въ свою семью.

По возвращеніи изъ церкви, за чаемъ, Сережа продолжалъ волноваться.

— Я, мамочка, по правдѣ жить хочу!—повторилъ онъ.

— Да, голубчикъ, въ жизни главное—правда,—успокоивала его мать: — только твоя жизнь еще впереди. Дѣти иначе не живутъ, да и жить не могутъ, какъ по правдѣ.

— Нѣтъ, я не такъ хочу жить; батюшка говорилъ, что тотъ, кто по правдѣ живетъ, долженъ ближняго отъ обидъ защищать. Вотъ какъ нужно жить, а я развѣ такъ живу? Вотъ, намеднись, у Ивана Бѣднаго корову продали—развѣ я заступился за него? Я только смотрѣлъ и плакалъ.

— Вотъ въ этихъ слезахъ—и правда твоя дѣтская. Ты и сдѣлать ничего другого не могъ. Продали у Ивана Бѣднаго корову — по закону, за долгъ. Законъ такой есть, что всякій долги свои уплачивать обязанъ.

— Иванъ, мама, не могъ заплатить. Онъ и хотѣлъ бы, да не могъ. И няня говоритъ: бѣднѣ его во всемъ селѣ мужика нѣтъ. Какая же это правда?

— Повторяю тебѣ,—законъ такой есть, и всѣ должны законъ исполнять. Ежели люди живутъ въ обществѣ, то и обязанностями своими не имѣютъ права пренебрегать. Ты лучше обь ученьи думай — вотъ твоя правда. Поступишь въ гимназію, будь прилеженъ, веди себя тихо — и это будетъ значить, что ты по правдѣ живешь. Не люблю я, когда ты такъ волнуешься. Чтò ни увидишь, чтò ни услышишь—все какъ-то въ сердце тебѣ западаетъ. Батюшка говорилъ вообще; въ церкви и говорить иначе нельзя, а ты ужъ къ себѣ примѣняешь. Молился за ближнихъ—больше этого и Богъ съ тебя не спросить.

Но Сережа не унялся. Онъ побѣжалъ въ кухню, гдѣ въ это время собрались челядинцы и пили, ради праздника, чай. Кухарка Степанида хлопотала около печки съ ухватомъ и тои-дѣло вытаскивала горшокъ съ закипающими жирными щами. Запахъ прѣлой убоины и праздничнаго пирога пропиталъ весь воздухъ.

— Я, няня, по правдѣ жить буду!—объявилъ Сережа.

— Ишь съ коихъ поръ собрался!—пошутила старуха.

— Нѣтъ, няня, я вѣрное слово себѣ далъ! Умру за правду, а ужъ неправдѣ не покорюсь!

— Ахъ, бѣлѣзный мой! ишь вѣдь чтò тебѣ въ головку пришло!

— Развѣ ты не слыхала, чтò въ церкви батюшка говорилъ? За правду жизнь полагать надо—вотъ чтò! въ бой за правду идти всякій долженъ!

— Извѣстно, чтò же въ церкви говорить! На то и церковь дана, чтобъ въ ней о праведныхъ дѣлахъ слушать. Только ты, миленькій, слушать—слушай, а умомъ тоже раскидывай!

— Съ правдой-то жить оглядываючися надо,—резонно молвилъ работникъ Григорій.

— Отчего, напримѣръ, мы съ мамой въ столовой чай пьемъ, а вы въ кухнѣ? развѣ это правда?—горячился Сережа.

— Правда не правда, а такъ испоконъ вѣка идетъ. Мы люди простецкіе, намъ и на кухнѣ хорошо. Какъ бы всѣ-то въ столовую пошли, такъ комнать не наготовиться бы.

— Ты, Сергѣй Ѳеодорычъ, вотъ чтò!—вновь вступился Гри-

горій: — когда будешь большой, — гдѣ хочешь сиди: хошь въ столовой, хошь въ кухнѣ. А покедова малъ, сиди съ мамашенькой — лучше этой правды по своимъ годамъ не сыщешь! Придетъ ужъ батюшка обѣдать, и онъ тебѣ то же скажетъ. Мы мало ли что дѣлаемъ: и за скотиной ходимъ, и въ землѣ роемся, а господамъ этого не приходится. Такъ-то!

— Да вѣдь это же неправда и есть!

— А по нашему такъ: коли господа добрые, жалостливые — это ихъ правда. А коли мы, рабочіе, усердно господамъ служимъ, не обманываемъ, стараемся, — это наша правда. Спасибо и на томъ, ежели всякій свою правду наблюдаетъ.

Наступило минутное молчаніе. Сережа, видимо, хотѣлъ что-то возразить, но доводы Григорія были такъ добродушны, что онъ поколебался.

— Въ нашей сторонѣ, — первая прервала молчаніе няня, — откуда мы съ маменькой твоей пріѣхали, жилъ помѣщикъ Разсошниковъ. Сначала жилъ какъ и прочіе, и вдругъ захотѣлъ по правдѣ жить. И что-жъ онъ подъ конецъ сдѣлалъ? — Продавъ имѣніе, деньги нищимъ роздалъ, а самъ ушелъ въ странствіе... Съ тѣхъ поръ его и не видѣли.

— Ахъ, няня! вотъ это какой человѣкъ!

— А между прочимъ у него сынъ въ Петербургѣ въ полку служилъ! — прибавила няня.

— Отецъ имѣніе роздалъ, а сынъ не причемъ остался... Сына-то бы спросить, хороша ли отцовская правда? — разсудилъ Григорій.

— А сынъ развѣ не понялъ, что отецъ по правдѣ поступилъ? — вступился Сережа.

— То-то, что не слишкомъ онъ это понялъ, а тоже пыталъ хлопотать. Зачѣмъ же, говорить, онъ въ полкъ меня опредѣлилъ, коли мнѣ теперь содержать себя нечѣмъ?

— Въ полкъ опредѣлили... содержать себя нечѣмъ... — машинально повторялъ за Григоріемъ Сережа, запутываясь среди этихъ сопоставленій.

— И у меня одинъ случай на памяти есть, — продолжалъ Григорій: — занялся отъ этого самаго Роскошниковъ у насъ на

селѣ мужичекъ одинъ — Мартыномъ прозывался. Тоже всѣ деньги, какія были, роздалъ нищимъ, оставилъ только хатку для семьи, а самъ надѣлъ черезъ плечо суму, да и ушелъ крадучись ночью куда глаза глядятъ. Только, слышь, пачпортъ позабылъ выправить—его черезъ мѣсяцъ и выслали по этапу домой.

— За что? развѣ онъ худое что-нибудь сдѣлалъ?—возразилъ Сережа.

— Худое не худое, я не объ этомъ говорю, а объ томъ, что по правдѣ жить оглядываючись надо. Безъ пачпорта ходить не позволяется—вотъ и вся недолга. Этакъ всѣ разбредутся, работу бросять — и отбою отъ нихъ, отъ бродягъ, не будетъ..

Чай кончился. Всѣ встали изъ-за стола и помолились.

— Ну, теперь мы обѣдать будемъ,—сказала няня:—ступай, голубчикъ, къ маменькѣ, посиди съ ней; скоро, поди, и батюшка съ матушкой придутъ.

Дѣйствительно, около двухъ часовъ пришелъ отецъ Павелъ съ женою.

— Я, батюшка, по правдѣ жить буду! Я за правду на бой пойду!—привѣтствовалъ гостей Сережа.

— Вотъ такъ вояка выискался! отъ земли не видать, а ужъ на бой собрался!—пошутилъ батюшка.

— Надоѣлъ онъ мнѣ. Съ утра все объ одномъ и томъ же говорить,—сказала Марья Сергѣевна.

— Ничего, сударыня. Поговорить и забудеть.

— Нѣтъ, не забуду!—настаивалъ Сережа:—вы сами давеча говорили, что нужно по правдѣ жить... въ церкви говорили!

— На то и церковь установлена, чтобы въ ней о правдѣ возвѣщать. Ежели я, пастырь, своей обязанности не исполню, такъ церковь сама о правдѣ напомнить. И помимо меня, всякое слово, которое въ ней произносится, — правда; одни ожесточенныя сердца могутъ оставаться глухими къ ней...

— А жить какъ?..

— И жить по правдѣ слѣдуетъ. Вотъ когда ты въ мѣру возраста придешь, тогда и правду въ полномъ объемѣ поймешь,

а покуда достаточно съ тебя и той правды, которая твоему возрасту свойственна. Люби маменьку, къ старшимъ почтеніе имѣй, учись прилежно, веди себя скромно—вотъ твоя правда.

— Да вѣдь мученики... вы сами давеча говорили...

— Были и мученики. За правду и поношеніе слѣдуетъ принять. Только время для тебя думать объ этомъ не приспѣло.

— Мученики... костры...—лепеталъ Сережа въ смущеніи.

— Довольно! — нетерпѣливо прикрикнула на него Марья Сергѣевна.

Сережа умолкъ, но весь обѣдъ оставался задумчивъ. За обѣдомъ велись обыденные разговоры о деревенскихъ дѣлахъ. Разсказы шли за разсказами, и не всегда изъ нихъ явствовало, чтобы правда торжествовала. Собственно говоря, не было ни правды, ни неправды, а была обыкновенная жизнь, въ тѣхъ формахъ и съ тою подкладкою, къ которымъ всѣ искони привыкли. Сережа безчисленное множество разъ слыхалъ эти разговоры и никогда особенно не волновался ими. Но въ этотъ день въ его существо проникло что-то новое, что подстрекало и возбуждало его.

— Кушай! — заставляла его мать, видя, что онъ почти всѣмъ не ѣстъ.

— *In согроре sano mens sana*, — съ своей стороны прибавилъ батюшка.—Слушайся маменьки—этимъ лучше всего свою любовь къ правдѣ докажешь. Любить правду должно, но мученикомъ себя безъ причины воображать—это уже тщеславіе, суетность.

Новое упоминаніе о правдѣ встревожило Сережу: онъ наклонился къ тарелкѣ и старался ѣсть, но вдругъ зарыдалъ. Всѣ всхлопотались и окружили его.

— Головка болить?—допытывалась Марья Сергѣевна.

— Болить,—отвѣтилъ онъ слабымъ голосомъ.

— Ну, поди, лягъ въ постельку. Няня, уложи его!

Его увели. Обѣдъ на нѣсколько минутъ прервался, потому что Марья Сергѣевна не выдержала и ушла вслѣдъ за няней. Наконецъ обѣ возвратились и объявили, что Сережа заснулъ.

— Ничего, уснетъ и пройдетъ! — успокоивалъ Марью Сергѣевну отецъ Павелъ.

Къ вечеру однакожь головная боль не только не унялась, но открылся жаръ. Сережа тревожно вставалъ ночью въ постели и все шарилъ руками около себя, точно чего-то искалъ.

— Мартынь... по этапу, за правду... что такое? — лепеталъ онъ безсвязно.

— Какого онъ Мартына поминаетъ? — недоумѣвая, обращалась Марья Сергѣевна къ нянѣ.

— А помните, у насъ на селѣ мужичокъ былъ, ушелъ изъ дому Христовымъ именемъ... Давеча Григорій при Сережѣ рассказывалъ.

— Все-то вы глупости рассказываете! — разсердилась Марья Сергѣевна: — совсѣмъ нельзя къ вамъ мальчика пускать.

На другой день, послѣ ранней обѣдни, батюшка вызвался съѣздить въ городъ за лѣкаремъ. Городъ отстоялъ въ сорока верстахъ, такъ что нельзя было ждать пріѣзда лѣкаря раньше какъ къ ночи. Да и лѣкаръ, признаться, былъ старенькій, плохой, никакихъ другихъ средствъ не употреблялъ, кромѣ оподельдока, который онъ прописывалъ и снаружи, и внутрь. Въ городѣ о немъ говорили: «въ медицину не вѣрять, а въ оподельдокъ вѣрять».

Ночью около одиннадцати часовъ лекаръ пріѣхалъ. Осмотрѣлъ больного, пощупалъ пульсъ и объявилъ, что есть «жарокъ». Затѣмъ приказалъ натереть паціента оподельдокомъ и заставилъ его два катышка проглотить.

— Жарокъ есть, но вотъ увидите, что отъ оподельдока все какъ рукой сниметъ! — солидно объявилъ онъ.

Лекаря накормили и уложили спать, а Сережа всю ночь метался и пылалъ какъ въ огнѣ.

Нѣсколько разъ будили лекаря, но онъ повторялъ приемы оподельдока и продолжалъ увѣрять, что къ утру все какъ рукой сниметъ.

Сережа бредилъ; въ бреду онъ повторялъ: «Христось... Правда... Разсошниковъ... Мартынь»... и продолжалъ шарить

вокругъ себя, произнося: «гдѣ? гдѣ?»... Къ утру однакожъ успокоился и заснулъ.

Лекарь уѣхалъ, сказавъ: «вотъ видите!» — и ссылаясь, что въ городѣ его ждутъ другіе пациенты.

Цѣлый день прошелъ между страхомъ и надеждой. Покуда на дворѣ было свѣтло, больной чувствовалъ себя лучше, но упадокъ силъ былъ на столько великъ, что онъ почти не говорилъ. Съ наступленіемъ сумерокъ опять открылся «жарокъ» и пульсъ сталъ биться учащеннѣе. Марья Сергѣевна стояла у его постели въ безмолвномъ ужасѣ, усиливаясь что-то понять и не понимая.

Опodelьдокъ бросили; няня прикладывала къ головѣ Сережи укусные компрессы, ставила горчичники, поила липовымъ цвѣтомъ, словомъ сказать, впопадъ и невпопадъ употребляла всѣ средства, о которыхъ слыхала и какія были подъ рукою.

Къ ночи началась агонія. Въ восемь часовъ вечера взмошелъ полный мѣсяцъ, и такъ какъ гардины на окнахъ по оплошности не были спущены, то на стѣнѣ образовалось большое свѣтлое пятно. Сережа приподнялся и потянулъ къ нему руки.

— Мама! — лепеталъ онъ: — смотри! весь въ бѣломъ... это Христось... это Правда... За Нимъ... къ Нему...

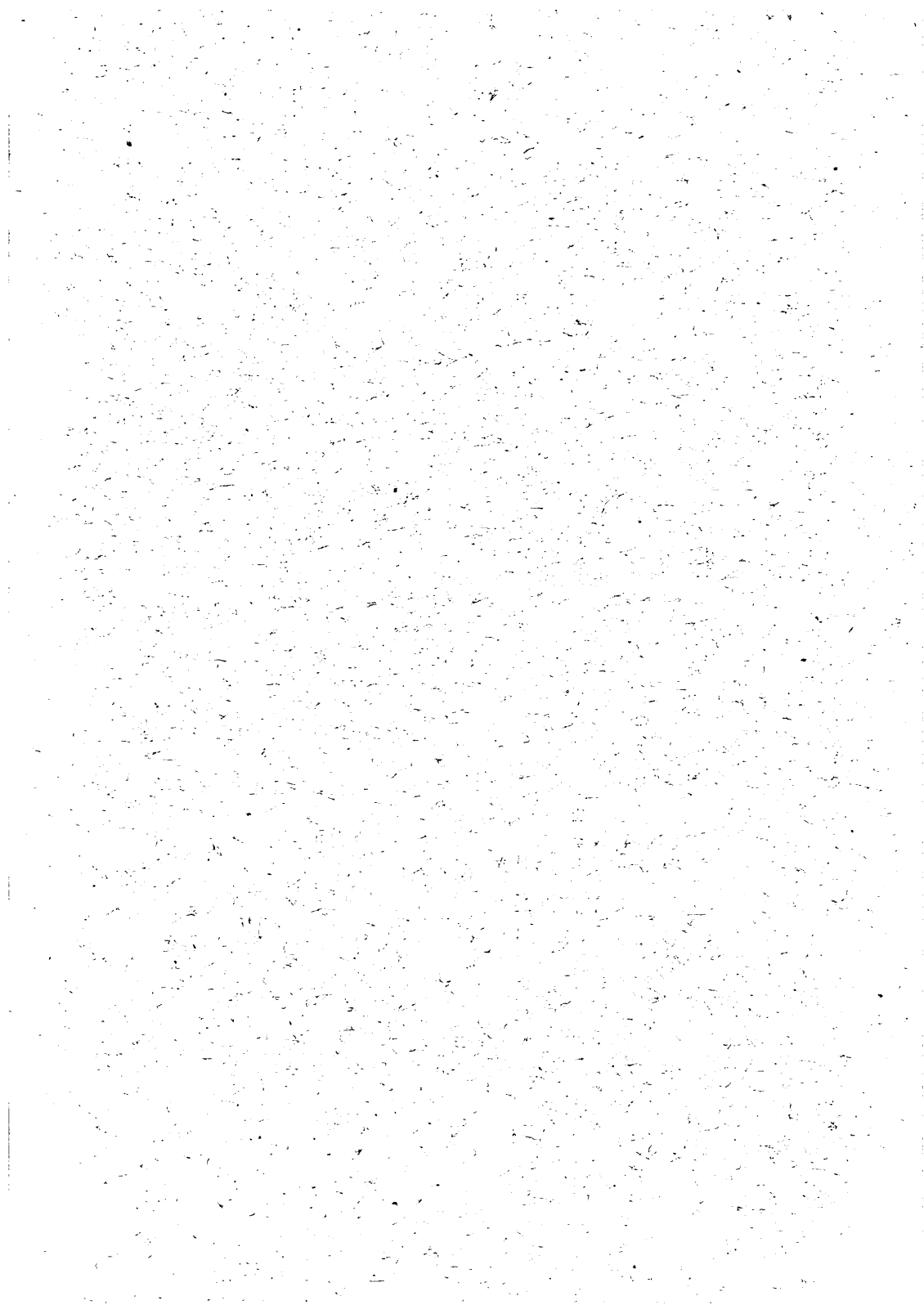
Онъ опрокинулся на подушку, по-дѣтски всхлипнулъ и умеръ.

Правда мелькнула передъ нимъ и напоила его существо блаженствомъ; но неокрѣпшее сердце отрока не выдержало наплыва и разорвалось.

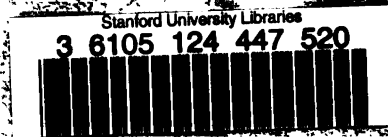
Н. Щедринъ.



pos 1.25







PG
3226
N-5

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

--	--	--

